ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

[5] 2013

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД «ПРЕРАФАЭЛИТЫ: МОЗАИКА ЖАНРОВ»

/ ДОКУРОМАН ДЖОБИ УОРРИКА «ТРОЙНОЙ АГЕНТ»

/ НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ «СКАЗИТЕЛЬ» МО ЯНЯ

Основан в 1955 году

[5]
2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Джоби Уоррик *Тройной агент.* Журналистское расследование. Перевод с английского Н. Н.

77 Ласло Краснахоркаи *“Если и есть язык, на который стоит меня переводить, так это русский”.* Запись беседы, перевод с венгерского и вступление Оксаны Якименко. *Рождение убийцы.* Рассказ. Перевод Оксаны Якименко

Они должны выжить?

116 Марианна Грубер *Скажи им: они должны выжить.* Рассказ. Перевод с немецкого Марка Белорусца

129 Магдалена Тулли *Бронек.* Рассказ. Перевод с польского Ирины Адельгейм

140 Дионисио Гарсиа Сапико *Испанец в России.* Из воспоминаний. Под редакцией Натальи Малиновской

189 Марина Бородицкая *Вступление*

Литературный гид “Прерафаэлиты: мозаика жанров”

190 Уильям Майкл Россетти *Братство прерафаэлитов.* Эссе. Перевод Марии Фаликман

195 Уильям Холман Хант *Прерафаэлитизм и Братство прерафаэлитов* Фрагменты книги. Перевод Светланы Лихачевой

206 Чарльз Диккенс *Старые лампы взамен новых.* Эссе. Перевод Алексея Круглова

212 Джон Рёскин *Художники-прерафаэлиты.* Письмо редактору “Таймс”. Перевод Валентины Сергеевой

216 Данте Габриэль Россетти *Колдовской сад.* Рассказ. Перевод Валентины Сергеевой. *Стихи.* Переводы Светланы Лихачевой, Елены Третьяковой, Екатерины Савельевой

222 Уильям Моррис *Как я стал социалистом.* Эссе. Перевод Валентины Сергеевой. Стихи. Переводы Михаила Липкина, Владимира Окуня, Екатерины Савельевой

Fiction или non-fiction?

230 Кшиштоф Конколевский *Из книги “Документальные сказки”.* Вступление Павла Голобурды. Перевод с польского Л. Бухова

Нобелевская премия

254 Мо Янь *Сказитель.* Нобелевская лекция. Перевод с китайского Игоря Егорова

Трибуна переводчика

267 Вера Калмыкова *Что остается от автора, или Русский Рильке*

БиблиофИЛ

274 *Среди книг* с Ниной Павловой

278 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

281

© “Иностранная литература”, 2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Б. В. Дубин

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

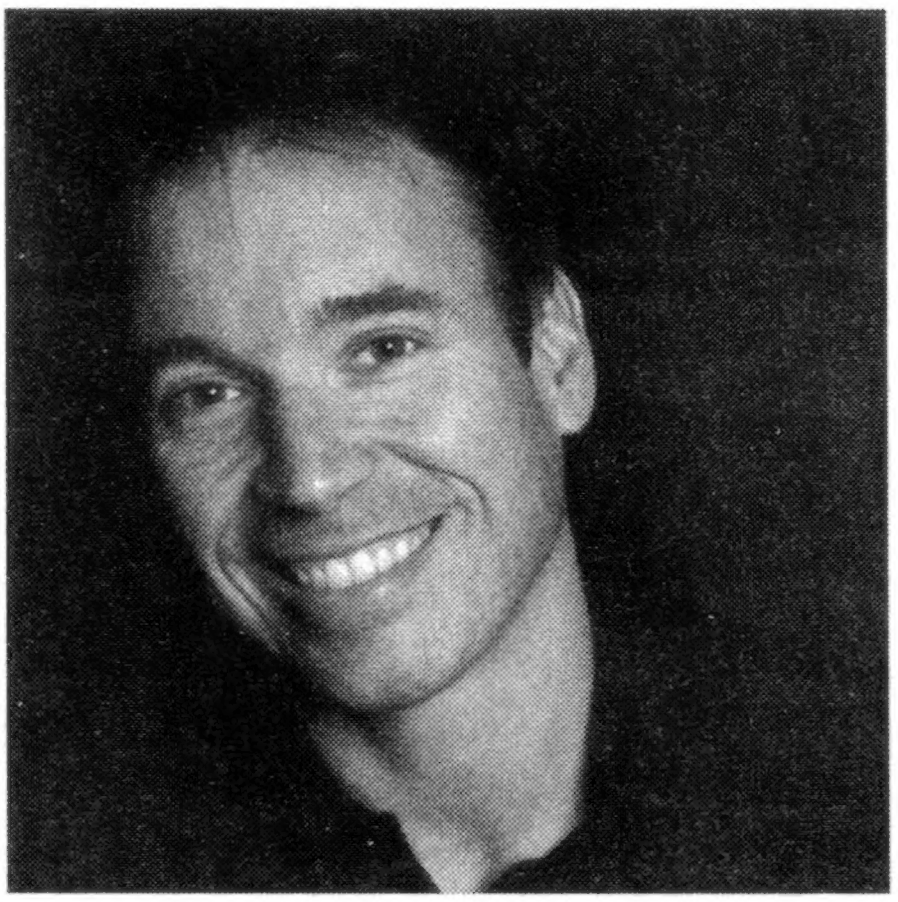
Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Джоби Уоррик



Тройной агент

Журналистское расследование

Перевод с английского Н. Н.

Родным и близким павших посвящается.

Война это путь обмана.

Сунь Цзы

От автора

Курсив в этой книге использован в тех случаях, когда источник информации не ручался за буквальное воспроизведение прямой речи либо передавал слова или мысли, которыми с ним делились участники описанных событий.

© 2011 by Joby Warrick.
Published by arrangement with Doubleday, an imprint of The Knopf Doubleday Publishing Group, a division of Random House, Inc.
© "Иностранная литература". Перевод, 2013

Пролог

Афганистан, Хост – 30 декабря 2009 г.

ДЕСЯТЫЙ день команда специалистов ЦРУ ждала, когда же наконец объявится загадочный иорданец. Уныло протащилась середина декабря, потом невесело потянулись праздники, сотрудники дрожали под одеялами, пересказывали друг другу бородатые анекдоты, галлонами цедили из одноразовых стаканчиков дрянной кофе. Считали отдаленные минометные удары, мусолили отчеты о подрывах и слушали гул вертолетов "Сикорски UH-60 блэк хоук", приспособленных для эвакуации раненых. И ждали.

Вот уже из сырости и ветра проступило рождественское утро, а прикомандированные все еще тут. Сидят, отщипывая от присланных из дома праздничных коврижек по кусочку и глядя на керамические фигурки кукольного вертепчика, поставленного кем-то из сотрудников вместо елки. Настало тридцатое число, истекали последние капли уходящего года и десятого дня их совместной вахты, и вот, наконец, пришла весть о том, что иорданский агент объявился. Он уже на подходе, его везут в машине по горам, суровой островерхой цепью окаймляющим северо-западную границу Пакистана. Одетый так, как принято у местных пуштунов плюс темные очки, он мчится, избегая талибов, заставами которых так и обсажено предательское шоссе, ведущее к афганской границе.

До сего дня ни один американский разведчик ни разу его не видел — этого особо ценного информатора, агента по кличке Волк, чье настоящее имя, говорят, знает менее десятка человек; а он такой молодец, такой ловкий двойной агент, что проник прямо в "Аль-Каиду" и посылает оттуда шифрованные донесения, от которых главное здание ЦРУ так озаряется, будто туда влетела шаровая молния. Но в 15.00 по афганскому времени этот Хумам Халиль аль-Балави уже наконец появится из мрака неизвестности, ступив на упрочненный бетон двора секретной базы ЦРУ, известной как "база в Хосте[1]".

Узнав, что он вот-вот прибудет, специалисты забегали, заканчивая приготовления. Недавно присланная новая начальница базы Дженнифер Мэтьюс, всего три месяца назад заступившая на свой первый афганский пост и все последние дни

1. Хост — столица одноименной провинции Афганистана. (*Здесь и далее - прим. перев.*)

лихорадочно раздумывавшая над деталями ответственного мероприятия, разослала подчиненных проверить видеооборудование, срочно оповестить начальство и еще раз отрепетировать процедуру опроса, который, надо думать, продлится за полночь.

Сама же наблюдала за их работой — нервная, но уверенная в себе шатенка с коротко стриженными и по-деловому приглаженными волосами. В свои сорок пять Мэтьюс была ветераном антитеррора и понимала "Аль-Каиду" с ее сонмами фанатических смертепоклонников так, как, может быть, никто во всем ЦРУ, — во всяком случае, действия "Аль-Каиды" она понимала лучше, чем начинания родительского комитета школы во Фредериксбурге (Виргиния), где учились ее дети. Упрямая и серьезная, Мэтьюс была одной из восходящих звезд Управления и у начальства ходила в большом фаворе. Когда открылась возможность поехать в Хост, она так и просияла, не обращая внимания на недоуменные взгляды добрых друзей, по мнению которых надо спятить, чтобы бросить семью и комфортабельную загородную жизнь ради столь опасного назначения. Все верно, ей многому надо будет научиться — она ведь никогда еще не служила в зоне военных действий, не руководила оперативными сотрудниками и не курировала даже самых обычных осведомителей, не говоря уже о таком сложном случае, как с этим иорданским агентом. Но Мэтьюс умна, изобретательна, да и начальство ее всемерно поддержит: они ведь там, в Лэнгли[1], пристально следят за развитием событий. Пока что наказ таков: устроить этому Балави прием как высокому гостю.

От обычных предосторожностей Мэтьюс велела отказаться, пусть ради этого ей и пришлось проигнорировать брюзжание некоторых ветеранов-спецназовцев из подразделения охраны. Главной ее заботой была не столько физическая безопасность агента (уж за этим-то вооруженные мужчины как-нибудь проследят), сколько сохранение его анонимности. ЦРУ не может себе позволить, чтобы агента видел хоть кто-нибудь из афганцев, работающих на базе, — кроме, разве что, особо доверенного шофера, который как раз и выехал его встречать. Даже охранникам у въездных ворот приказали отвернуться, а то, мало ли, вдруг кто-нибудь из них бросит взгляд на его лицо.

Место для встречи Мэтьюс выбрала самое безопасное — у серого бетонного здания в той части базы, которая представляет собой как бы внутреннее убежище, окруженное высоки-

1. Лэнгли — комплекс зданий штаб-квартиры ЦРУ, расположенный в восьми милях от Вашингтона.

ми стенами и защищаемое контрактниками из частного охранного предприятия, вооруженными автоматическим оружием. К этому зданию, как раз и предназначенному для встреч с осведомителями, со стороны входа был пристроен широкий навес, чтобы еще труднее было разглядеть лица входящих и выходящих оперативников и тайных агентов. Здесь иорданца, которого уже не надо будет беречь от глаз шпионов "Аль-Каиды", окружат сотрудники ЦРУ, обыщут — нет ли оружия или подслушки — и изучат на предмет обнаружения каких-либо намеков на двурушничество. А потом он добавит к своим неправдоподобным сообщениям недостающие детали, без которых его история выглядит настолько фантастично, что мало кто ей бы поверил, не подкрепи он ее совершенно железным доказательством: изображением его самого, Хумама аль-Балави, рядом с неуловимым лидером номер два всей "Аль-Каиды", египетским врачом Айманом аз-Завахири, тем самым, чей извращенный мозг стоит за десятками заговоров и терактов, в числе которых и 11 сентября 2001 года. Но уж теперь-то Балави приведет ЦРУ прямо в логово Завахири, доставит его им, как говорится, на блюдечке.

По окончании опроса фельдшер из медчасти проверит у Балави основные физиологические параметры, и команда техников приступит к оснащению его всем тем, что понадобится для следующего опасного задания. Потом все смогут расслабиться, перекусить, а может быть, даже и выпить.

Затем ему преподнесут сюрприз — специально испеченный ко дню его рождения торт: в Рождество иорданцу как раз стукнет тридцать два, и, когда Мэтьюс наткнулась на эту деталь, у нее потеплело на сердце.

Между прочим, из-за особой даты его рождения ему чуть не дали имя Иса (то есть Иисус по-арабски), но потом родители передумали и назвали его Хумам, что значит "храбрый". И вот теперь, стало быть, этот храбрец мчит к Хосту, готовый вручить Управлению такой рождественский подарок, каких тут не получали много лет, везет такой новогодний мешок разведданных, что даже президент Соединенных Штатов о новом агенте уже наслышан и ждет.

Ожидающую иорданца Мэтьюс разбирало любопытство. Кто этот человек? Как вообще кому-то удалось подобраться вплотную к Завахири, одному из самых скрытных и тщательно охраняемых людей на планете? Все-таки много странного в этой возне с Балави. Но Мэтьюс подчиняется приказам и уж она-то не подведет, в ответственный момент не дрогнет.

Встретят Балави как подобает. Правда, свечек для именинного торта на дальнем форпосте ЦРУ, передовой базе в

воюющем Восточном Афганистане, при всем желании не нашли. Но уж торт иорданцу испекут, за этим дело не станет.

Если, конечно, он вообще тут когда-нибудь появится.

В 15.30 вся принимающая команда была готова и ждала у предназначенного для работы со шпионами здания. Не имея известий об иорданце, сотрудники проваландались там еще тридцать минут, потом еще час, и вот уже солнце стало закатываться за одну из горных вершин, что к западу от Хоста. Температура упала, и адреналин азарта стал застывать, отчего их состояние понемногу превращалось в банальную нервозность.

Неужели что-то случилось? Уж не передумал ли этот Балави? Ответов не было, какого-либо дела тоже, оставалось только ждать.

Группа мужчин и женщин под металлическим навесом выросла до четырнадцати человек, такой гурьбой даже как-то странно встречать осведомителя. Обычно ради сохранения анонимности шпиона круг лиц, которым разрешено с ним видеться, ограничивают двумя или тремя сотрудниками. Однако в случае с Балави — это очень быстро стало всем понятно — все было не так, как обычно. Во всем ощущение судьбы, чувство творимой на твоих глазах истории, как вспоминал позднее один из принимавших в этом участие цеэрушников. “В этом деле, — рассказывал сотрудник, — непременно хотелось поучаствовать всем”.

Постепенно толпа принимающих распалась на несколько групп помельче. У ворот расположился наряд безопасности, состоявший из двоих сотрудников ЦРУ и пары охранников, официально числящихся за военизированным частным предприятием “Зи-Сервисиз Эл-эл-си”[1], более известным как “Блэкуотер”; мужчины тихо переговаривались, забросив свои “м-четвертые”[2] за спину. Трое из них были ветеранами военных действий, и все четверо давно покорешились. С трубкой в зубах — Дэн Парези, бывший “зеленый берет”[3], в свои сорок шесть он по возрасту старший в группе, в “Блэкуотер” нанял-

1. Крупнейшее в мире частное военизированное формирование “Academi”, до января 2010 г. называвшееся “Xe Services LLC”, а до февраля 2009 — “Blackwater”. Основано в 1997 г.
2. “M4” — облегченный и укороченный, удобный в ближнем бою вариант автомата “M16”. Поскольку в элитных частях спецвойск США в 2004 г. началось перевооружение, в конце 2009 г. охрана передовой базы ЦРУ не могла быть вооружена ничем иным, кроме новейших автоматов (штурмовых винтовок) “хеклер & кох HK416”.
3. “Зеленые береты” — спецназ армии США.

ся после военной службы, в ходе которой ему пришлось хлебнуть лиха во многих горячих точках — последней стал Афганистан, где под огнем он держался так, что это принесло ему "Бронзовую звезду"[1]. Тот, что так заразительно смеется — иракский ветеран Джереми Уайз, ему тридцать пять лет, бывший "морской котик"[2]; в охранники пошел, чтобы хоть как-то платить по счетам после ухода с военной службы; отчаянно пытается придумать, куда приткнуться в мирной жизни. За старшего у них сегодня Гарольд Э. Браун-младший — тридцать семь лет, бывший армейский разведчик, примерный семьянин и преподаватель католических курсов катехизации, а у себя в Виргинии ко всему прочему еще и вожатый скаутов младшего возраста. Четвертый в их компании, тридцативосьмилетний Скотт Робертсон, в прежней жизни боролся с наркотиками в Атланте, а теперь (совсем скоро, может быть, через месяц) собирается стать молодым отцом. А вот поближе к зданию непринужденно, словно давнишние друзья, болтают двое мужчин в цивильных джинсах и куртках хаки. Оба на базе гости, прилетели в Афганистан из Иордании, чтобы присутствовать, когда Балави будут опрашивать. Грузный мужчина с черными как смоль волосами — капитан иорданской разведки Али бен Зеид, двоюродный брат короля Иордании Абдаллы II и единственный из собравшихся, кто видел Балави воочию. С ним Даррен Лабонте, бывший армейский рейнджер[3]: спортивная фигура, коротенькая бородка, на голове бейсболка. Лабонте — сотрудник ЦРУ, приписанный к опорному пункту Управления в Аммане. С Али бен Зеидом они близкие друзья, часто на пару выполняют задания и вчетвером, вместе с женами, отдыхают. По поводу встречи с Балави оба в тревоге, которую чуть не весь предыдущий день пытались развеять, катаясь по окрестностям на квадроцикле и щелкая фотоаппаратом все подряд. Компания побольше собралась вокруг Мэтьюс. Здесь и эффектная блондинка с глазами небесной голубизны; тем, что ее вызвали на эту встречу с опорного пункта ЦРУ в Кабуле, она обязана некоторым своим непревзойденным навыкам. Элизабет Хэнсон — одна из са-

1. Военная медаль, четвертая по значимости награда в вооруженных силах США. Вручается за выдающиеся достижения или за храбрость.
2. "Морские котики" — спецназ ВМС США.
3. Полк рейнджеров (75-й полк армии США) — элитное подразделение спецназа, подготовленное к воздушному десантированию и операциям в любой точке земного шара и любых климатических условиях. Исторически название "рейнджер" (обходчик, страж) отсылает к специальным военным формированиям конца XVII в., предназначавшимся для приведения к покорности коренного населения освоенной европейцами местности.

мых прославленных в ведомстве наводчиц на цель, то есть экспертов по обнаружению террористов в их убежищах и слежению за ними до тех пор, пока на место не подоспеет ударное подразделение. Ей тридцать, но выглядит еще моложе; декабрьский холод заставляет ее кутаться в не по размеру просторную фланелевую рубаху и куртку.

Зашебаршился ветер, по асфальту ползучими плетями протянулись предвечерние тени. Воцарилось разочарование и скука, в руках у сотрудников появились сотовые телефоны.

Положив автомат наземь, Парези набрал на телефоне письмо жене и отослал его электронной почтой. Минди Лу Парези находилась в это время в воздухе, возвращаясь с их младшей дочкой в Огайо из Сиэтла, куда летала на праздники навестить родных. Как он частенько делал и раньше, Парези послал жене записку, чтобы она получила ее, едва приземлится, — просто чтоб знала, что с ним все о'кей.

"Когда придешь домой, сбрось мне на имейл сообщение, — написал он. — Люблю вас обеих очень-очень".

Джереми Уайз отошел от своей группы чуть в сторону, чтобы поговорить по телефону. Этот уроженец Арканзаса чувствовал странное беспокойство, такое сильное, что ему даже подумалось, уж не собрался ли он заболеть. Набрал номер матери, и, когда на том конце оказался всего лишь автоответчик, в голосе бывшего "морского котика" явно прозвучало разочарование. "Я что-то не очень хорошо себя чувствую, — сказал он, медленно выговаривая слова. Подумал. — И передай Итану, что я его люблю".

Единственный, у кого имелся телефонный контакт с Балави, был бен Зеид, но его телефон упорно и мучительно молчал. Щекастый грузный мужчина сидел тихо, сжимая мобильник в толстых пальцах. Именно бен Зеид достиг договоренности с агентом (он же когда-то и завербовал Балави), и теперь возможная неудача нависала над ним свинцовой тучей. Ко всему прочему, они с партнером из ЦРУ рвались поскорее выбраться из Афганистана — оба по причинам личного характера. Семья Лабонте в полном составе, в том числе жена и маленькая дочурка, ждала его в Италии, на вилле, которую они сняли на праздники, а все эти задержки уже и так оттяпали здоровенный кусок отпуска. А бен Зеид, недавно женившийся, планировал провести канун Нового года с женой дома в Аммане.

Когда его телефон в конце концов зачирикал, причиной тому оказалась всего лишь эсэмэска от его темноволосой красавицы Фиды, которая спрашивала мужа, точно ли он завтра к вечеру будет дома. Ответ бен Зеида был до грубоватости краток: "Не точно".

В 16.40 телефон бен Зеида наконец ожил. Номер звонившего соответствовал сим-карте Аргавана, афганского водителя, которого послали встретить агента на пограничный пункт. Но голос принадлежал Балави.

Агент извинялся. Произошел несчастный случай, он повредил себе ногу и поэтому задержался, объяснил он. А вообще-то ему очень не терпится поскорее первый раз встретиться с американцами, и он вновь стал спрашивать о процедуре досмотра в воротах. *Я не хочу, чтобы меня щупали*, — повторял он вновь и вновь. — *Ведь вы там примете меня как друга, правда же?*

И вот уже хвост пыли, которую вздымал красный "субару Аутбэк" Аргавана, заметили со сторожевой вышки. Машина бешено неслась: водитель старался не позволить снайперу, у которого тот или иной участок дороги мог быть заранее пристрелян, вовремя заметить гражданскую машину, без охраны едущую к американской базе. В соответствии с полученными от ЦРУ инструкциями, очень к месту совпавшими с пожеланиями Балави, ни обыска, ни какой-либо проверки документов у въездных ворот не планировалось. Получив условный сигнал, приставленные к охране поста солдаты афганской армии откатили створку ровно настолько, чтобы дать машине Аргавана пронестись мимо. Затем водитель-афганец круто свернул влево и покатил по ленте асфальта, проложенной вдоль края летного поля ко вторым воротам, поменьше, где ему снова махнули — дескать, давай проезжай.

Теперь и Мэтьюс видела, как красный универсал въезжает в особо охраняемую зону, где она с группой подчиненных его ждала. По просьбе Мэтьюс с первыми приветами к Балави должны были выйти бен Зеид и Лабонте, тогда как она и остальные сотрудники будут пока держаться на расстоянии, почтительно стоя рядком под навесом — этакая шеренга мелких служащих, построенных для встречи высокого начальства. Но тут их предводительница вдруг двинулась и, отстраняя других, пошла вперед, на ходу одергивая на себе одежду.

Начальник охраны базы Скотт Робертсон и двое блэкуотеровских охранников, сняв с плеча автоматы, вышли на мощенную гравием площадку, но прибывший универсал, проскочив мимо, остановился между ними и группой ожидающих. Автомобиль встал так, что водительская дверь оказалась прямо перед тем местом, куда вышла Мэтьюс. На переднем сидении Аргаван был один, маячил, еле различимый за слоем пыли, покрывавшей окна. Человек, чей силуэт угадывался прямо за ним, сидел, подавшись чуть вперед и сгорбившись; Мэтьюс тщетно пыталась разглядеть его лицо. Двигатель смолк, и через миг Робертсон уже открывал дверцу со стороны Балави.

Пассажир машины поколебался, как бы разглядывая вооружение охранника. Потом очень медленно заскользил по сидению от американца прочь и вылез из противоположной дверцы.

Вот он уже стоит — небольшого роста, жилистый мужичонка лет тридцати, с темными глазами и несколькими слипшимися завитками волос, торчащими из-под тюрбана. На нем бежевая свободная рубаха навыпуск типа "камиз", какие носят в пакистанской глубинке, и утепленный шерстяной жилет, из-за которого фигура кажется посередине слегка раздавшейся. На плечах широкий серый платок *дупата*, прикрывающий бороду и нижнюю часть лица. Не успев выбраться, мужчина опять полез в машину, достал металлический костыль, а пока снова вылезал, платок съехал, открыв взглядам клочковатую бороду и лицо, начисто лишенное всякого выражения, пустое, как мраморная плита.

Собравшиеся с молчаливым недоумением наблюдали, как мужчина начал обходить машину спереди: неловкий и согбенный, он еле шел, словно влача тяжкую ношу. Идет и все что-то себе под нос бормочет.

Бен Зеид махнул ему рукой, но, не получив отклика, громко позвал:

— *Салям, акхойя.* Привет, брат. Все о'кей!

Но это было не так. Когда Балави проявил нежелание вылезать из машины в их сторону, блэкуотеровские охранники Парези и Уайз рефлекторно направили на него автоматы. Парези, бывший "зеленый берет", с нарастающей тревогой смотрел, как Балави заковылял вокруг машины, одной рукой сжимая костыль, в то время как другая зловеще спряталась под платком. Парези, переживший множество передряг и такие вещи чуявший нутром, напрягся, положил палец на спусковой крючок и впился в этот платок глазами. Один выстрел, и мужика бы не стало. Но если он неправ, если бомбы не окажется, это будет худшей ошибкой в его жизни. И Парези пошел вокруг машины, держа ковыляющую фигуру на мушке. Спокойно. Ждем. Но где у него рука?

Держа автоматы наизготовку, Парези и Уайз выкрикнули в один голос:

— Руки вверх! Руку из-под одежды!

Бормотание Балави стало громче. Он нараспев что-то повторял по-арабски.

— *Ашхаду Алла илляха илля Лаху!* - возглашал он.

Свидетельствую: нет бога кроме Бога.

Едва это услышав, бен Зеид все понял — уж кто-кто, а он-то знал, что́ значат эти слова.

1. Наваждение

Маклин, Виргиния – годом раньше

Уже почти три года генерала авиации Майкла Винсента Хейдена изо дня в день мучила одна проблема. Она преследовала его как мигрень, готовая навалиться в любой момент, что днем, что ночью. Этой проблемой, этим наваждением было местопребывание Усамы бен Ладена и его главных генералов. Однако в первые дни последнего месяца пребывания Хейдена на посту директора ЦРУ бессонница одолевала генерала хотя и тоже из-за Усамы, но немножко другого. Прямо сегодня же, пока не подошел к концу праздничный день Нового года, Хейден должен был решить, жить человеку или умереть.

Звали этого человека Усама аль-Кини[1], и был он объектом все более настойчивого розыска. На вид чуть не мальчишка (еще недавно в Кении играл в футбол за некую заштатную команду), он быстро продвигался в иерархии "Аль-Каиды": начал шофером и изготовителем взрывных устройств, а стал разработчиком операций, известным своим умением придать акции особую театральность. Он как раз готовил список целей для серии ударов по Западной Европе, когда ЦРУ наконец повезло. В конце декабря в Северо-Западном Пакистане на чем-то прокололся пусть не сам этот аль-Кини, но один из его подручных, и теперь по земле его сопровождали агенты наружки, а по воздуху над ним тихо кружили в вышине роботы-беспилотники. Жужжа видеокамерами, сопровождали по пятам всю дорогу, не выпуская из виду ни когда он протискивался сквозь толпу на базаре, ни когда заходил в чайхану, ни когда взбирался вверх по крутой улочке, ведущей к заброшенному зданию женской школы, где иногда коротал ночь. Слежка за ним продолжалась час за часом и день за днем – все ждали, кто же выйдет к нему на встречу. И когда наблюдатели в главном здании ЦРУ в Лэнгли (Виргиния) заступили на "собачью вахту" – то есть едва стрелка часов пошла перебирать первые минуты 2009 года, – у дежурных появилось чувство, что сейчас наконец что-то будет.

Новогодним праздником Хейден собирался насладиться от души: выходные выпадали редко. Хотел отдохнуть в кругу

1. Усама аль-Кини (Кениец), он же Фахид Мухаммад Али Мсалам (1976–2009), находился в розыске с 1998 г. после взрыва американских посольств в Кении и Танзании.

семьи или даже погонять пару часиков в футбол, но телефон вернул его к процессу охоты. Пришлось засесть на первом этаже в кабинете (круглосуточно охраняемом и снабженном спецсвязью с главным зданием) и там разбираться с последними донесениями из Пакистана. "Продолжать наблюдение", — приказал он. Потом, когда наступил поздний вечер, а новостей больше не поступало, Хейден решил, что можно готовиться ко сну. Включил телевизор и сел на кровать. Из Майами передавали розыгрыш "Апельсинового кубка" по футболу: виргинские "Технари" вовсю громили команду из Цинцинната. Генерал прилег и попытался сосредоточиться на игре.

В шестьдесят три года Хейден, с какого боку на него ни глянь, на убийцу не походил. Всю жизнь до выхода в отставку этот четырехзвездный генерал[1] делал карьеру в разведке ВВС, затем поднялся выше, став главой Агентства национальной безопасности (АНБ)[2] — спецслужбы, надзирающей за обширной сетью государственной подслушки по всему миру. А в 2006 году, по выбору президента Джорджа Уокера Буша, сделался третьим за два года директором ЦРУ, унаследовав это деморализованное шпионское гнездо, которому в то время был очень нужен мудрый и надежный дядька, который всех бы ото всего отмазал и разобрался в завалах. Задачей Хейдена было, попросту говоря, восстановить стабильность, вернув ЦРУ кое-какую бюрократическую респектабельность после множества скандальных обвинений в похищении людей и пытках подозреваемых террористов. Одной из им самим заявленных целей было убрать ЦРУ из заголовков. "Наша организация не должна быть ни источником, ни темой новостных выпусков", — сказал он в своем интервью газете "Вашингтон пост".

Хейден родился в семье ирландских католиков в Питтсбурге и на всю жизнь сохранил связь с этим пролетарским городом: осенью приезжал домой на выходные поболеть либо за питтсбургских "Сталеваров", либо за футбольную команду своей альма матер — Дюкеновского университета Святого Духа. В разговор любил вворачивать спортивные аналогии и, будучи уже директором ЦРУ, находил удовольствие в том, чтобы в служебном кафетерии затесаться в толпу молодых

1. Высшее офицерское звание в США, между генерал-лейтенантом и генералом армии, но последнее звание присваивается Конгрессом лишь в военное время.
2. Крупнейшее агентство по сбору разведывательной информации; решая задачи получения информации техническим путем, отвечает за все виды электронной разведки.

аналитиков, лысиной и иронической усмешкой стараясь младших сотрудников не отпугнуть, а наоборот, как бы даже поощряя. Что до механики физического обнаружения и уничтожения террористических угроз, то она, казалось, лучше подходила к облику первого зама Хейдена, Стивена Р. Кэпса, легендарного оперативника, прославившегося тем, как ловко он мерился хитростью с советским КГБ в Москве.

Но то было когда-то, а теперь, на третий год директорствования, именно Хейден был в ответе за самую жестокую схватку в истории конторы. Сразу после террористических атак 11 сентября 2001 года ЦРУ, посвятив себя охоте на бен Ладена и его последователей, своей задачей ставило их захват, арест и допрос. Затем установка сменилась: террористов и их пособников следует ликвидировать, где бы их ни обнаружили. Контора понемногу стала обрастать флотом беспилотных летающих устройств (первый такой проект назывался "Предатор", то есть "Хищник"), да таких, что, получив из-за океана приказ, они способны наносить по цели ракетно-бомбовые удары[1].

В середине 2008 года, как раз когда администрация Буша доживала последние месяцы, ЦРУ начало эти беспилотники (в просторечии именуемые дронами, то есть жужжалками) пускать в дело, вступив тем самым в тотальную войну с "Аль-Каидой". Разного рода снаряды с этих дронов неделю за неделей взрывали убежища террористов и их тренировочные лагеря, а палец на спусковом крючке держал кто? Да кто же, как не Хейден!

Но до этого годами шло перевооружение. А пока суд да дело, в середине десятилетия, в то время, когда администрация Буша наводняла войсками и ресурсами Ирак, в горах Северо-Западного Пакистана "Аль-Каида" праздновала возвращение. Деморализованные банды арабских боевиков, хлынувших из Афганистана в конце 2001 года, были ею радостно встречены и перегруппированы ее старыми генералами — Усамой бен Ладеном и Айманом аз-Завахири (главным организатором операций и правой рукой бен Ладена), причем место коман-

1. Проект "Хищник" ("MQ-1 Predator") в ВВС США описывают так: "Система состоит из четырех многоразовых средневысотных беспилотных устройств, снабженных сенсорами и сообщающихся с наземной станцией управления посредством спутниковой связи. Движителем устройства является пропеллер; радиус действия до 740 км; время нахождения над целью до 14 часов". Первоначально "предатор" предназначался для разведки и рекогносцировки. Основное вооружение "предатора" состоит из двух сверхзвуковых противотанковых ракет АГМ-114 "хеллфайр" (калибр ракеты 50 кг). Вдобавок к ракетам "предатор" несет еще 400 кг дополнительного вооружения.

диров, которые к тому времени погибли или попали в плен, заняло новое поколение матерых и агрессивных бойцов. Из новых убежищ, спрятанных среди утесов и круч на практически ничейной территории между этими двумя странами, они как ни в чем не бывало руководили открытием тренировочных лагерей, сбором средств и планированием новых нападений на Соединенные Штаты и Западную Европу. Перехваченные телефонные переговоры просто пестрели зловещими намеками: упоминалась как предварительная подготовка, так и проведение практических учений по захвату самолетов, торговых центров и туристских гостиниц; то были угрозы для большинства американцев совершенно неслыханные.

К 2007 году возможности "Аль-Каиды" сеять страх и хаос почти сравнялись с теми, что имелись у этой организации до 2002-го, то есть в ее лучшие времена. В некотором смысле угроза теперь была еще и пострашней: "Аль-Каида" с пользой для себя поглотила некоторые пакистанские экстремистские группировки, одновременно разродившись новыми филиалами в Северной Африке, Ираке и на Аравийском полуострове. А главное, пропагандисты "Аль-Каиды" подчинили себе грозные возможности интернета и с его помощью — через веб-сайты и чат-румы — донесли злобную проповедь "Аль-Каиды" до миллионов мусульман. И потекли в Северо-Западный Пакистан новые потоки денег и новобранцев, расплескиваясь по региональным филиалам от Йемена до Юго-Восточной Азии. У многих из записавшихся на джихад новичков имелись на руках паспорта западных стран, так что они могли мимо всякого контроля проникать в американские и европейские столицы. Некоторые были светлокожи и белобрысы.

Изучив состояние дел в мире на начало 2008 года, Хейден прямо-таки ужаснулся. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, еще в январе, во время одной из еженедельных встреч президента с представителями разведки, попытался обратить на это внимание Джорджа Буша.

— Я в этом вижу самую серьезную угрозу стране, — сказал Хейден президенту в ходе их беседы в Овальном кабинете. В продолжение чего сообщил, что следующий удар в духе событий 11 сентября ему представляется совершенно неизбежным, причем исходить он будет, вероятнее всего, из пакистанского горного захолустья, так называемой Территории племен.

Чтобы предотвратить такое нападение, Соединенные Штаты должны с этим врагом сразиться, настаивал Хейден. А это означает необходимость атаковать "Аль-Каиду" на ее земле, то есть в Пакистане, поставив себе задачу всячески нару-

шать систему ее коммуникаций, убивать ее генералов и полевых командиров и лишать ее безопасных убежищ. Только ЦРУ уполномочено поражать цели в глубине Пакистана, а теперь у этой спецслужбы есть и совершенное оружие — тот самый "проект 'Предатор'". Настало время пустить наконец в дело наших хищников — армаду беспилотных летающих роботов-убийц, сказал он.

Буш и его советники слушали сочувственно. То, что проблема коренится в Пакистане, всем было ясно и так. Исламабад чрезвычайно ценный союзник, но официально он возражает против иностранных авиаударов по своей территории, не важно по каким целям. По мнению пакистанских властей, удары, наносимые американцами с воздуха, только усугубляют проблему террора, радикализируя простых пакистанцев и толкая многих из них в объятия экстремистов, причем эту точку зрения разделяют некоторые эксперты по терроризму и в Штатах. В частных беседах офицеры пакистанской разведки не единожды пеняли американцам на то, что им представляется опасным наваждением: во-первых, американцы отводят слишком большую роль дорогостоящей технике, а во-вторых, как одержимые зациклились персонально на Усаме бен Ладене. "'Аль-Каида' не так уж и сильна, вы сами превратили ее в этакого трехметрового великана, — вспоминает важный пакистанский правительственный чиновник, как убеждал когда-то прибывших с делегацией представителей администрации Буша. — Как могут эти пресловутые главари 'Аль-Каиды' — их ведь горстка! — как могут они угрожать величайшей империи в мире?"

В конце концов, в правительстве Пакистана все же согласились закрыть глаза на некоторое (ограниченное!) количество ударов с беспилотников. И месяцами потом Вашингтон с Исламабадом исполняли косолапый ритуальный танец согласования сроков их нанесения. Если бы ЦРУ обнаружило потенциальную цель, нажать на спусковой крючок можно было бы лишь после того, как с этим согласятся оба правительства. Да только вряд ли такое возможно на практике.

"Когда приходилось испрашивать разрешение, то ответов могло быть три: либо 'Нет', либо 'Мы подумаем', либо 'Твою мать, куда же цель-то подевалась?'", — высказался по этому поводу некий американец, бывший служащий Агентства национальной безопасности, как раз в то время вовлеченный в это дело. Целый год прошел, а никаких успехов в борьбе с "Аль-Каидой" на ее территории достигнуто не было.

"Стоим на месте, — жаловался Хейден в Белом доме. — На уровне седьмого года, и ни с места".

Наконец, после многомесячных споров, в июле 2008-го Буш решил дать ведомству то, чего оно так упорно добивалось. В газетных комментариях тогдашнюю перемену политики приписывали полученному от Пакистана неформальному согласию на большее количество ударов с воздуха — да и о чем собственно речь: ведь США наносят их по приграничной Территории племен, которая Исламабаду все равно толком не подвластна. В действительности причина подвижки была гораздо проще: ЦРУ перестало просить позволения. По новым правилам, о которых в тот же месяц во время официальной встречи сообщили пакистанским властям, теперь от ЦРУ требуется лишь "немедленное уведомление" о том, что удары нанесены.

За следующие шесть месяцев "предаторы" били по целям в Пакистане тридцать раз, что в три с лишним раза больше, чем в сумме за все предыдущие четыре года.

В США ноябрьские выборы 2008 года ознаменовали собой близящийся конец правления в Белом доме республиканцев, да и пребывания Хейдена у руля ЦРУ тоже. Но в последние недели, когда дни президентства Буша были сочтены, удары "предаторов" многократно умножились, что порождало внутри самого Управления слухи о том, будто Хейден надеется все же выкурить Усаму бен Ладена из подполья, тем самым дав возможность команде Буша напоследок расплатиться с ним за 11 сентября. И вот в один из последних дней 2008 года среди хитросплетения намеков на другие важные цели в одном из перехваченных телефонных разговоров прозвучало знакомое имя.

Оно принадлежало выходцу из Восточной Африки, небезызвестному шейху Ахмеду Салиму Суэдану, руководителю среднего звена "Аль-Каиды", который был замешан в нескольких террористических подрывах. Но важнее было другое: непосредственным начальником Суэдана был бывший футболист, известный под именем Усама аль-Кини, ставший теперь главнокомандующим "Аль-Каидой" в Пакистане. Эти двое бесчинствовали в Пакистане уже два года, устраивая в разных городах все более эффектные и кровопролитные теракты. Но 1 января 2009 года им предстояло изведать, что такое массовое убийство, уже на собственной шкуре.

Даже и сам по себе Суэдан был вполне стоящей мишенью. На тот момент, когда он угодил в сеть прослушки ЦРУ, Суэдан состоял уже в списке наиболее разыскиваемых преступников не только по линии ЦРУ, но и ФБР, а в штате Нью-Йорк над ним висело обвинение в соучастии во взрывах посольств США в Кении и Танзании. В конце 2008 года его убежище обнаружили. Им оказалось брошенное здание женской школы в окрестностях поселения под названием Карикот, — и оно то-

же привлекло к себе пристальное внимание. Информаторы ЦРУ сообщили, что в этом здании расположены учебные мастерские, в которых "Аль-Каида" готовит специалистов по изготовлению взрывных устройств.

Хейден поразмыслил, взвесил и решил ждать. При всей своей важности Суэдан всего лишь подчиненный, да и он никуда не денется. С утра 1 января его взяли под постоянное наблюдение, причем не только со стороны агентов ЦРУ, так сказать, земного типа, но и парочки "предаторов", парящих над поселком. Раньше или позже Суэдану придется со своим боссом встретиться, и тогда Хейдену обломится куда более лакомый приз.

Такого случая в ЦРУ ждали больше десятка лет. Подобно своему заместителю, Усама аль-Кини также был связан со взрывами 1998 года в Африке, и за его голову была даже обещана награда в пять миллионов долларов. Кучерявый, коротко стриженный поджарый атлет, аль-Кини чуть ли не с первых дней был неизменным спутником бен Ладена, а теперь вырос до разработчика масштабных операций. К 2007 году он стал верховным командующим "Аль-Каиды" по всему Пакистану и дело свое делал крепко. Его организация подсобила пакистанскому движению "Талибан" с убийством бывшего премьер-министра Беназир Бхутто, устраивала бомбардировки и атаки смертников на полицейские участки и армейские лагеря, взорвала здание суда и даже военно-морскую академию. Затем, в сентябре 2008-го, он добился кое-чего покруче: подогнал огромный грузовик со взрывчаткой и разнес с его помощью роскошный отель американской сети "Мариотт" в Исламабаде. Взрывом убило больше полусотни работников отеля и гостей, ранило еще человек двести, и заголовки прессы тогда кричали об этом на весь мир.

Таким образом аль-Кини пробивал себе путь в высшие круги "Аль-Каиды", на акциях которой во многом и теперь уже стоял явный отпечаток его личности. Агрессивный и харизматичный, он был популярен среди молодого поколения боевиков и начинал представлять собой угрозу более опытным главарям, особенно некоему командиру по имени шейх Саид аль-Масри — славящемуся своим жестоким нравом египтянину, который, мало того что распоряжался мошной организации, так еще и считал себя вторым человеком после Завахири. Самое опасное, что аль-Кини вот-вот готов был выйти на международный уровень, направив лучших из своих выучеников в Западную Европу. Аналитики ЦРУ пришли к выводу, что кениец вознамерился заложить в Европе фундамент сети террористических ячеек, которые возьмут в разработку крупней-

шие отели и другие важные объекты, планируя в будущем нанести по ним удар.

Именно эта угроза и лежала главной тяжестью на душе у Майка Хейдена 1 января, когда он с нетерпением ждал новостей из Северо-Западного Пакистана. Не успел директор ЦРУ заснуть, как телефон зазвонил: в половине одиннадцатого ночи с охоты пришли свежие вести. Хейден заставил себя встать с кровати и потащился на первый этаж в кабинет, чтобы подключиться к защищенной линии спецсвязи.

В Пакистане был уже ясный день, и, когда Суэдан вышел из женской школы, направившись по какому-то первому в этот день своему делу, один из цеэрушных "предаторов" уже кружил поблизости. Под наблюдением ЦРУ Суэдан встретился с человеком, который был ему, видимо, знаком, после чего вдвоем они вернулись в женскую школу. Лица второго мужчины разглядеть не удавалось, но в его облике все совпадало с описанием предводителя террористов, которого ЦРУ как раз и искало. Дежурный сотрудник Центра антитеррора, сперва доложив, согласно инструкции, непосредственному начальству, позвонил Хейдену. "Разрешите нанести удар?"

У Хейдена для таких случаев был стандартный набор вопросов, и он привычно пошел по списку.

Как давно вы ведете наблюдение конкретно за этим объектом?

Какова предыстория этого объекта, сколько раз вам приходилось устанавливать за ним наблюдение?

Видели ли вы на его территории женщин и детей? Хотя бы раз видели?

Находясь на выгодной наблюдательной позиции в полумиле над поселком, ведущий "предатор", преследуя двоих мужчин, уже зацепился системой видеозаписи за здание женской школы и ждал дальнейших распоряжений. Раскинувший длинные крылья странного вида бесхвостый самолетик с узким фюзеляжем и чем-то вроде еще одной пары крылышек поменьше, косо свисающих вниз, стрекоча как газонокосилка, лениво нарезал круги в небе над деревней, двигаясь со скоростью едва ли большей, чем машина на хорошем шоссе. С полным баком и штатным боекомплектом ракет он может так парить четырнадцать часов без передышки. При этом крошечным поворотом заслонки в системе управления можно добиться совпадения осевой линии фюзеляжа с направлением на здание внизу. В Лэнгли видеокартинка с установленной на носу дрона камеры в режиме реального времени мерцала на паре плоских телеэкранов оперативного штаба, в то время как команда беспилотника, состоящая из двух операторов, сидя в отдельном помещении, при помощи джойстиков и кли-

ков компьютерной мышкой производила тонкую подстройку маневров.

Хейден на секунду задумался. Суэдан сейчас внутри строения, это очевидно. Мужчина, который зашел с ним вместе, вне всякого сомнения сообщник и, весьма возможно, сам аль-Кини. Про здание школы известно, что в нем расположен учебный центр "Аль-Каиды". Вероятно, там имеются взрывчатые вещества, но от поселка оно достаточно далеко, так что из посторонних никто не пострадает. Три в одном, три по цене одного, подумал Хейден.

Одной или двух ракет "хеллфайр" с беспилотника, скорее всего, будет достаточно, но Хейдену нужна была железная уверенность.

Воспользуйтесь GBU, — приказал он.

Получив этот приказ, команда "предатора" отменила запуск четырнадцатифунтовых ракет "хеллфайр", переключившись на хранящееся в бомбовом отсеке дрона гораздо более мощное оружие — пятисотфунтовую бомбу с лазерным наведением "GBU-12 пэйвуэй". Специалист по вооружению проверил систему наведения, что-то в последний раз подправил и нажал кнопку. Тотчас же начав обратный отсчет, длившийся пока бомба неслась к поселку со скоростью, несколько превышающей скорость звука... Три, два, один, считал оператор. Затем: "Контакт".

Здание на черно-белом экране внезапно исчезло, превратившись в огромный огненный шар.

Дрон продолжал кружить еще не один час: следовало заснять, как из развалин извлекут два исковерканных трупа. Тем временем местный представитель "Талибана" подтвердил гибель двоих мужчин, которых он назвал зарубежными борцами и близкими друзьями.

Но к этому моменту у операторов дрона смена кончилась, они пересели из рабочих кресел в свои машины и покатили домой. Следует отметить, что дорога из Лэнгли в город в тот день по случаю праздника была по вашингтонским меркам настолько беспроблемной, что это, можно сказать, и не езда была, а сплошной отдых.

Хейден сел на кровать, стал досматривать последние минуты футбольного матча и не заметил, как уснул мирным сном. Наутро перехват телефонного разговора в Пакистане подтвердил гибель Усамы аль-Кини — последнего из высокопоставленных предводителей "Аль-Каиды", убитых по приказу, исходившему от администрации Буша.

Местонахождение другого Усамы оставалось по-прежнему неизвестным.

Официально уволили Майка Хейдена месяцем позже. Только что избранный президент Барак Обама решил начать все с чистого листа, для чего первым делом назначил главой ЦРУ старого вашингтонского лиса Леона Панетту. У Панетты не было сколько-нибудь серьезного опыта работы в разведке, но он проявил себя как ловкий менеджер, когда еще при Клинтоне был руководителем аппарата Белого дома. Одним из первых его решений было сохранить любимого заместителя Хейдена Стива Кэппса на должности замдиректора, да и вообще — команду, занятую антитеррором, не трогать.

Встреча Хейдена со своим преемником, несмотря на вполне понятную при таких обстоятельствах неловкость, прошла в обстановке, можно сказать, даже сердечной. Впрочем, Панетта с первых же шагов умудрился уронить себя в глазах сотрудников, публично осудив жесткое обращение с пленными боевиками "Аль-Каиды", которых зачастую держали в секретных тюрьмах и подвергали "вотербордингу" — технике допроса, при которой клиент чувствует себя так, будто его топят. В речи, произнесенной в Сенате по ходу своего утверждения в должности, Панетта заявил, что с его точки зрения такие методы не что иное, как пытка, то есть уголовно наказуемы.

Возражение Хейдена свелось к краткой реплике. "Не следует в одном абзаце употреблять слова 'пытка' и 'ЦРУ'", — сухо посоветовал он. После чего уволенный в отставку генерал счел более интересной другую тему. Перебирая тезисы, заранее записанные на карточки, он предостерег Панетту, посоветовав не слушать тех, кто недооценивает "Аль-Каиду". Хотя террористов этой организации в Северо-Западном Пакистане "предаторы" сейчас вовсю утюжат бомбежками, каковые Обама к тому времени уже горячо одобрил, "Аль-Каида" все еще способна наносить американцам удары столь же неожиданные, сколь и потенциально сокрушительные. Всего три месяца назад, напомнил он, вооруженная автоматами и гранатами и связанная с "Талибаном" группа террористов из Пакистана устроила несколько нападений в Мумбаи, в чисто спецназовской манере круша отели, железнодорожные вокзалы и другие объекты и убив больше ста семидесяти человек.

Сделав паузу, Хейден бросил прямой долгий взгляд на Панетту. Дескать, вот: сейчас самое важное.

— Не знаю, дошло уже до вас это или нет, но вы — полевой командир Америки в ее войне против терроризма, — сказал он.

Не Пентагон, не ФБР, не кто-либо еще, продолжил Хейден, а именно ЦРУ отвечает за зарубежную охоту на террористов, за то, чтобы останавливать их прежде, чем они смогут

ударить. В прошлом перед другими директорами ЦРУ стояли задачи, хотя и похожие, но не такие, теперь же обстановка диктует: впервые в истории конторы "останавливать" плохих парней — значит убивать их.

— Вы будете принимать решения, — сказал Хейден, — которые вас же будут до глубины души удивлять.

Панетта слушал вежливо, однако последнее утверждение Хейдена покоробило его немного чрезмерной пафосностью. Но тут уж — что с него взять: генерал. На воинских должностях смена командования почти всегда сопровождается напыщенным церемониалом: щелканьем каблуками, лихой отдачей чести и зычными возгласами. Лишь через несколько недель Панетта по-настоящему понял, что имел в виду Хейден.

Прежде чем выехать из города, Хейден остановил машину у Белого дома, чтобы в последний раз встретиться с недавно избранным президентом. Удостоенный короткого приема в Овальном кабинете, генерал помянул в разговоре парочку целей, которые — помните? — мониторило ЦРУ в Северо-Западном Пакистане. Так вот: Хейден уже дал добро по ним вдарить, и команда операторов теперь ждет, когда подвернется удобный случай, сказал он президенту.

Тем же утром чуть позже участники встречи переместились в "ситюэйшн-рум" — огромный конференц-зал на первом этаже западного крыла Белого дома. Как только там расположились, Хейдену был задан вопрос: да, так что там в Пакистане-то? Что за две цели?

Хейден снял трубку телефона спецсвязи и с кем-то коротко поговорил.

— Проверьте, — сказал он, — как следует проверьте.

Уже через несколько минут Хейден покинул конференц-зал, провожаемый понимающими улыбками и рукопожатиями.

Что ж, на них, пожалуй, можно положиться, подумал он, оглядывая президента и его охрану со сдержанным одобрением.

Ну вот, состоялась официальная передача эстафетной палочки. Дальше пусть побегают они. Их черед.

2 Вся *истерзалась*

Лондон – 19 января 2009 г.

По площади Гроувнор-сквер пронесся зимний шквал, взметывая в воздух газеты, разгоняя туристов и обдавая статую оде-

того в плащ Рузвельта струями дождя. Дженнифер Линн Мэтьюс вглядывалась в непогоду за окном своего рабочего кабинета, но вряд ли что-либо там видела.

То был ее очередной промозглый понедельник в Лондоне; еще неделей ближе стал конец почти четырехлетнего пребывания в должности менеджера, ответственного за связь между ЦРУ и британской службой антитеррора. Скоро она отсюда уедет — то ли назад в Виргинию, то ли в какое-нибудь совершенно иное место, может быть даже в Афганистан, и эта неизвестность раздражала. Вести, содержавшиеся в утренних телеграммах, были неутешительны. ФБР напало на след террористов из Сомали, которые, возможно, собираются устроить взрыв во время парада по случаю инаугурации новоизбранного президента Барака Обамы. Времени остается всего ничего, каких-нибудь двадцать четыре часа. В Афганистане повстанцы, применив необычайно хитрую тактику двойного самоубийства, попытались устроить взрыв в непосредственной близости от секретной базы ЦРУ в городе Хосте. Сперва у въездных ворот базы взорвался минивэн рядом с очередью матерей с детьми, ждавших приема у врача базы. Кого убило, кого ранило... Охранники и солдаты, естественно, бросились помогать раненым, и тут же с шоссе к ним устремился грузовик с просевшей под тяжестью мощной бомбы подвеской. Слава богу, какой-то афганский солдат несколькими меткими выстрелами убил водителя, предотвратив тем самым гораздо большее несчастье.

Отчет об этом она читала, по привычке приглаживая пальцами спадающую на лоб волну густых каштановых волос. То ли это место, где ей хотелось бы оказаться? Мэтьюс было сорок четыре, но выглядела она моложе: тело, тренированное годами ежедневных пробежек, оставалось стройным, на угловатом лице ни морщинки. До пенсии еще далеко, однако после двух десятилетий службы в ЦРУ выбор каждого шага в карьере делался все более важным. Кроме всего прочего, лишнее зарубежное назначение увеличит пенсию, когда подойдет время.

И все же. *Афганистан*!

Откинувшись в кресле, Мэтьюс неотрывно глядела во тьму за оконными стеклами. Офисные служащие, прикрываясь от ветра зонтами, брели по площади; многие нынче же ближе к вечеру заполонят пабы, празднуя окончание эпохи Джорджа Уокера Буша. Ну да, она и сама не без удовольствия наблюдала за тем, как некоторые сотрудники охраны Буша готовятся к отъезду, но праздновать не будет. Из ставленников Буша неприязнь, и очень острую, она чувствовала лишь к од-

ному человеку — бывшему министру обороны Дональду Рамсфилду, которого, наряду с полдюжиной других, винила в том, что именно они позволили Усаме бен Ладену ускользнуть, когда ЦРУ уже держало этого террориста на перекрестии прицела. Однако президентство Обамы для некоторых ее бывших товарищей по цеэрушному Центру антитеррора сулило перспективы еще менее радужные. Будучи кандидатом, Обама осудил использовавшуюся конторой в прошлом технику "вотербординга", даже назвал ее пыткой, намекнув, что на повестке дня расследование, публичные слушания, а там, глядишь, и уголовные дела.

О "вотербординге" Мэтьюс знала не понаслышке. Не одну неделю она провела в общении с Абу Зубайдой — человеком, прославившимся тем, что стал первым ценным пленником из "Аль-Каиды", подвергнутым этой процедуре в одной из тех секретных тюрем за рубежом, само существование которых не признавалось. В качестве одного из ведущих экспертов ЦРУ по "Аль-Каиде" она подсказывала дознавателям, работавшим с ним непосредственно, какие именно вопросы ему задавать. В то время она была беременна, и после увиденного ей бывало так тошно, что наблюдавшие ее врачи беспокоились о здоровье будущего ребенка.

Но глубинной причиной беспокойства, вызванного возможным расследованием вопроса о применении пыток, была еще одна тайна, совсем уже за семью печатями, знание которой терзало ее душу целых четыре года, — даже и в Лондоне, куда она получила назначение в 2005-м. За тысячи миль от штаб-квартиры ЦРУ, в сердце одного из величайших городов мира, она настолько органично вжилась в свою новую роль, что выкладывалась на работе и физически, и эмоционально, но, когда однажды к ней на огонек забежал знакомый адвокат из Службы общей юридической поддержки ЦРУ, ей стало ясно, что старая рана по-прежнему ноет.

— Не могу от этого отделаться, так и сидит в голове, — сказала она ему, стараясь удержаться от слез. Много раз Мэтьюс ту историю излагала, во всех деталях, и ему, и другим посвященным. Адвокат попытался было ее утешить, но вскоре понял, что дело это безнадежное. "Она просто вся истерзалась", — вспоминал он позже.

В ЦРУ причины мучений Мэтьюс были достаточно хорошо известны, там еще человек двадцать ведущих сотрудников страдали тем же. После террористических атак 11 сентября 2001 года отдел внутренней безопасности ЦРУ (он называется Офисом генерального инспектора) затеял широкомасштабную проверку, пытаясь выяснить, как разведслужба умудри-

лась проворонить план "Аль-Каиды" угнать четыре воздушных лайнера и обрушить их на здания. Конечно, ответственность за то, что в некоторых кругах называют провалом государственного масштаба, лежит и на других министерствах, но внутреннее расследование зашло в тупик из-за неверных шагов именно ЦРУ, которые позволили двоим из девятнадцати бандитов проникнуть незамеченными на территорию Соединенных Штатов.

Вел расследование профессионал, давнишний аналитик ЦРУ Джон Леонард Хелджерсон, ненавязчиво интеллигентный бывший преподаватель университета в Цинциннати, удививший даже собственное начальство превращением в одного из самых строгих и непримиримо независимых генеральных инспекторов в истории Управления. Хелджерсон установил, что Центр антитеррора ЦРУ в 2000 году не отреагировал на серию телеграмм, предупреждавших о прибытии двоих агентов "Аль-Каиды", которые позже вошли в состав банды, устроившей кошмар 11 сентября. Первое предупреждение поступило в январе, когда эти двое агентов, Наваф аль-Хазми и Халид аль-Мидхар, были замечены в Малайзии на совещании, которое созвали вероятные террористы. Вскоре в ЦРУ выяснили, что один из них получил визу на въезд в США, а другой, видимо, проник в Соединенные Штаты еще раньше. С этими телеграммами были ознакомлены, по меньшей мере, шестьдесят сотрудников ЦРУ, и тем не менее, имена этих агентов не были переданы ФБР, где, надо полагать, могли бы найтись свободные сотрудники, чтобы установить за ними слежку; не поделились именами подозрительной парочки и с Госдепом, где тоже могли внести их в какой-нибудь черный список. В теории арест каждого из них мог вывести следователей на других бандитов и в результате сорвать все то, что теперь именуется "заговором 9/11".

В отчете Хелджерсона упоминались конкретные имена менеджеров, на которых лежит основная тяжесть ответственности за то, что столь важная информация не была передана в ФБР. Кроме того, в этом отчете (полностью так никогда и не опубликованном) содержались намеки на то, что желательно бы кое-кого из этих менеджеров проверить и, может быть, наказать в дисциплинарном порядке.

Среди них фигурировало и имя Дженнифер Мэтьюс.

В штаб-квартире ЦРУ этот отчет произвел фурор: высшие руководители принялись руками и ногами отпихиваться от самой идеи персональной ответственности, предлагаемой Хелджерсоном. Было бы несправедливо, возмущались критики Хелджерсона, возлагать вину за коллективный провал на нескольких менеджеров. Портер Госс, который, будучи пред-

шественником Хейдена, возглавлял в тот момент ведомство, разобрался с этим вопросом одним росчерком, официально запретив дисциплинарные проверки. После чего приказал, чтобы список Хелджерсона засекретили.

Все помилованные сотрудники вздохнули с облегчением. Но Мэтьюс была безутешна. Ее просто убивало то, что в 2001 году, оказавшись среди считаной горстки экспертов ЦРУ, посвященных в дела с "Аль-Каидой", она угодила в список виновных в том, что к "Аль-Каиде" не отнеслись с должной серьезностью. Она-то как раз полагала верным обратное — ведь именно она была из тех немногих, кто еще в девяностые разглядел в фигуре Усамы бен Ладена серьезную угрозу. Как и остальные члены команды, занимавшейся "Аль-Каидой" в ЦРУ, вину за множество упущенных шансов убить или поймать этого террориста из Саудовской Аравии она возлагала на политическое руководство страны.

Больше всего Мэтьюс претило то, что ее имя будет теперь навеки связано с одним из худших провалов разведки в истории США. Заноза продолжала терзать ее душу годами, не исчезла и после отправки в Лондон, когда общественный интерес к недоработкам ЦРУ, приведшим к катастрофе 9/11, в значительной мере увял.

Сидя в своем скупо обставленном кабинете с видом на Гровенор-сквер, Мэтьюс заранее тревожилась, чем это может для нее обернуться. Сперва утечка, в результате которой обнаружится, что ее имя фигурирует в списке виновных. Потом переполох в прессе. И карьере конец. Но самое худшее — о чем даже подумать больно — это публичный позор.

"Тяжелее всего ей было представить себе, что об этом узнают ее дети, — сказал навещавший ее адвокат. — Она была бы опорочена навсегда, навеки связана с провалом 11 сентября".

Назначение в Лондон дало Мэтьюс и ее домашним желанную передышку, причем как раз тогда, когда она в ней действительно нуждалась. А уж как она радовалась праздникам и длинным уик-эндам, во время которых можно было попутешествовать с семьей по Европе! Много раз ходила на свой любимый мюзикл "Отверженные", шедший тогда на лондонской сцене, ящиками покупала французские вина для коллекции, которую собирала дома.

На работе Мэтьюс полностью погрузилась в расследование нескольких международных террористических заговоров, в том числе идеи "Аль-Каиды" взрывать авиалайнеры при помощи жидкой взрывчатки. Британские коллеги высоко ценили осведомленность в предмете и вскоре приспособи-

лись к ее манере обращаться с людьми безжалостно и беспощадно. “Мне было сразу видно, кто из моих сотрудников только что встречался с Дженнифер, — вспоминал потом один из британских офицеров разведки. — Это всегда тот, кто потом вкалывает с наибольшим рвением”.

Но теперь все это осталось в прошлом, и Мэтьюс разрывалась между разными вариантами будущей деятельности. Для людей с ее послужным списком наиболее вероятна дальнейшая служба где-нибудь в офисе опять в Лэнгли, но такая перспектива не очень влекла Дженнифер и сразу по многим причинам. Согласно табели о рангах, назначенное ей жалованье было уже весьма близко к тому максимуму, на который может рассчитывать гражданский государственный служащий, а для прыжка наверх, в еще более высокие сферы, чтобы занять место среди высшей администрации, где минимальные оклады начинаются со 111 тысяч долларов в год, ей не хватало опыта в некоторых важнейших областях.

Наездами бывая в Вашингтоне, она поднималась в лифте на седьмой этаж административного крыла, просила что-нибудь посоветовать. Советовали, как правило, одно и то же: в вашем резюме, Мэтьюс, есть лакуны, и, если хотите подняться выше, надо их заполнить. Кто у нас сейчас Мэтьюс? Опытный менеджер, справлявшийся и в Лондоне, и в Лэнгли. Но за два десятилетия работы в антитерроре вы ведь ни разу не служили ни в Кабуле, ни в Багдаде, не занимали передовых — можно сказать, фронтовых — постов на линии главного удара. Если действительно хотите рассчитывать на повышение, надо побывать на войне.

Но не все, как вскоре она обнаружила, ох, не все должности в зоне военных действий равноценны. Назначение в багдадскую “зеленую зону” тоже, конечно, не сахар: оно означает три года каторжной работы в отрыве от семьи. Но есть в созвездии учреждений ЦРУ несколько совсем гиблых местечек, где условия настолько суровы или настолько опасны, что год службы там приравнивается к трем годам в любом другом месте.

Мэтьюс вызнала, что с приходом осени как раз должна будет открыться вакансия начальника базы в одном из таких мест. Где-то в глуши Восточного Афганистана, невдалеке от Тора-Боры[1], в краях, исторически признанных одним из су-

1. Тора-Бора — крупный стратегический объект, целый укрепрайон в горном массиве с мощным фортификационным комплексом, где долгое время была база афганских моджахедов.

ровейших районов этой самой неистовой из стран. По соседству там еще и парочка пакистанских провинций, которые для "Талибана" просто дом родной. Да и Усаму бен Ладена в последний раз видели именно там.

В общем, Мэтьюс понимала, что́ это за местечко. А называется оно Хост.

На это место уже метили несколько других сотрудников, но Мэтьюс сразу пошла подковерными тропками. В результате ее притязания поддержал кое-кто из начальства на самом верху, сказав вдобавок, что этот год (пока Мэтьюс командует базой) будет столь же полезен для конторы, сколь выгоден и для нее самой — в карьерном смысле.

Среди ближайших друзей, как и среди старших товарищей по работе, возникли разногласия: а справится ли она? Готова ли она занять такую должность? Некоторые выражали беспокойство — дескать, не рано ли, не слишком ли скоро? У Мэтьюс не было опыта в организации мер безопасности, необходимых для жизни и перемещений в зоне боевых действий. И науке обращения с тайными агентами она была недостаточно хорошо обучена, а ведь в любой шпионской конторе это отдельная специальность со своими весьма специфическими тренингами и навыками. Притом что в Хосте по пакистанской линии очень много работы как раз с сетью тайных информаторов.

Да и личностный фактор тоже. Товарищи по работе, имевшие дело с Мэтьюс регулярно, знали, с какой непосредственностью и страстью она отдается работе, не переставая, однако, быть грубой и нетерпимой.

"Ее о чем-нибудь спрашиваешь, а она не слушает. Людей, которые в деле понимают меньше, чем она, Мэтьюс не выносила, — вспоминает когда-то работавший под прикрытием сотрудник, который регулярно встречался с ней в Лэнгли. — У нее такая манера была — нарочито громко вздыхать, словно говоря: 'Я-то это знаю! Почему же не знаешь ты?'"

А вот опыта ей не хватало бесспорно. Мэтьюс пятнадцать лет помогала осуществлять операции против "Аль-Каиды", ее роли в том, что удалось сломать и расколоть Абу Зубайду, никто не отрицал, но помогала она из Вашингтона и Лондона. Ее команда была во главе двухлетней охоты ЦРУ на бывшего главного снабженца "Аль-Каиды", которого выследили, нашли его убежище (оно оказалось в пакистанском городе Файзалабаде), там окружили и взяли — силами нескольких десятков бойцов пакистанского спецназа под руководством полувоенных цеэрушных спецов.

Зато руководство видело в Мэтьюс именно те качества, которые нужны конторе в ее все более жарких схватках с "Аль-

Каидой": умение руководить, упертость, энтузиазм, честолюбие и бесспорное владение предметом. Один из ее боссов придумал ей шутливое прозвище "Страк", составив его из первых букв старинного девиза военных моряков — "Standing Tall, Ready Around the Clock" (что-то вроде "всегда на боевом посту без страха и упрека"). У руководства ЦРУ на Мэтьюс были большие планы, и этого не скрывали, так что целью командировки в Афганистан было помочь ей с обретением недостающего опыта. Чем больше ведомство истощало свои ресурсы, годами распыляя их в Ираке и Афганистане, тем труднее становилось подыскивать добровольцев, чья квалификация идеально соответствовала бы должности. Но кандидатура Мэтьюс, по словам одного теперь уже ушедшего на покой начальника, который много поспособствовал положительной оценке ее профпригодности, в этом смысле не вызывала сомнений.

"Как она была умна! А как осторожна! — вспоминает этот ветеран. — Лучшие — они ведь во всем лучшие. Прекрасный следователь может быть прекрасным аналитиком, и наоборот".

Мэтьюс, по единодушному мнению друзей, на размышления о степени своей подготовленности к будущей работе времени тратила еще меньше, чем ее начальство. Служба в Хосте должна была предоставить ей все что нужно: опору для прыжка наверх и возможность самооправдания. А если кто-то сомневался в ее способностях — что ж, от этого ее решимость крепла еще больше.

Перебирая всех, кого только можно, Мэтьюс обратилась за советом к одному, что называется, расстриге — разошедшемуся во взглядах с начальством отставному сотруднику ЦРУ, которого она уважала и который, хорошо зная бюрократическую кухню, был неизменно прям в своих суждениях. Они вдвоем провели целый вечер у него на веранде, с которой открывается чудный вид на виргинские предгорья Голубого хребта. Потом засели за его компьютер, стали изучать спутниковые фотографии разных мест при помощи "Google Earth". На этих фотографиях хорошо видна и база ЦРУ в Хосте, потому что она выстроена около летного поля. Правда, взлетная полоса там без покрытия — русские ее лишь слегка удлинили, когда в восьмидесятых использовали Хост как аэродром подскока для бомбовых ударов по афганским моджахедам, окопавшимся в горах. К востоку от базы, совсем рядом, пункт пограничного перехода Гулям-Хан, а за ним — просто рукой подать — те пакистанские твердыни, где закрепились пресловутые боевики и полевые командиры вроде Джалалуддина Хаккани и Байтуллы Мехсуда, а может быть, и сам бен Ладен.

Бывший сотрудник старался со своими советами не переборщить, капал ей на мозги малыми дозами, чтобы она рефлекторно не отвергла их все с порога. И всему ЦРУ, и тебе лично, сказал он ей, было бы лучше, если бы ты поняла: Хост — не то место, куда тебе следует стремиться. Категорически не то.

"Я понимаю мотивы, которые тобою движут, — говорил ей этот бывший сотрудник, продолжая гнуть свою линию. — Но ты не о том думаешь. Там военизированное заведение, а в военном деле у тебя опыта нет совсем".

Он выкладывал ей один довод за другим. В Хосте работают с тайными агентами, а Мэтьюс о такой работе известно лишь понаслышке. Вдруг дроны, удары с которых она там будет обеспечивать, убьют кого-то из мирных жителей и ее привлекут к уголовной ответственности? Ей во вред пойдет даже то, что она женщина, сказал он, потому что афганским дикарям западло будет на равных вступать в переговоры с бабой, особенно с такой, которая ходит в штанах от полевой формы и футболке.

Едва Мэтьюс услышала, что ей будет мешать то, что она женщина, ее глаза сверкнули. После этого разговор пошел на повышенных тонах, и чем дольше они спорили, тем тверже становилась решимость Мэтьюс.

"Внутренне она уже приняла решение, что в Афганистан все равно поедет, — вспоминал потом этот незадачливый советчик. — И сколько бы я ни пытался ее отговорить, слышала только себя. Думала, я вообразил, что она не справится с работой".

Оставив попытки переубедить Мэтьюс, тот бывший сотрудник пожелал ей удачи. Это была их последняя встреча.

3. *Целитель*

Иордания, Амман – 19 января 2009 г.

Было почти одиннадцать ночи, когда на улице собрались все члены группы захвата. Ждали, когда в спальне погаснет свет и перестанут мерцать телеэкраны. Чем темнее, тем меньше свидетелей, а кроме того, в доме, где все спят, у агентов страшной иорданской спецслужбы Мухабарат аль-Амма больше шансов исполнить задание быстро, без лишнего шума и суеты. Не надо будет ни в дверь стучать, ни приказы выкрикивать. Лишь хряснет по дереву металл, и одним синхронным движением

они вытряхнут несчастного подозреваемого из постели и водворят на заднее сидение поджидающей машины.

Той сырой январской ночью их целью был четырехэтажный дом на улице Урвы ибн аль-Варда — узеньком проулке в районе компактного проживания иммигрантов из Палестины, где в ряд стоят чисто выскобленные каменные домики цвета пляжного песка. Незадолго до полуночи по сигналу одновременно двинулись два припаркованных неподалеку черных седана. Оба, не включая фар, подъехали к дому, одновременно посреди проезжей части остановился третий, наискось перегородив проезд. Одетые в темное полицейские и агенты Мухабарата рассредоточились, заняв позиции у переднего и заднего выходов из здания; у передней двери встали те, кому идти на прорыв, приготовились, ждали сигнала. Один из них, капитан разведки, здоровенный бугай в черном свитере, сжимал в руке ордер на арест молодого врача-терапевта по имени Хумам Халиль Абу-Мулаль аль-Балави. Человеку, чье имя значилось в ордере, был тридцать один год, и он никогда не обвинялся ни в чем более серьезном, нежели нарушение правил дорожного движения. Тем не менее, через сорок восемь часов Балави вдруг окажется одним из самых опасных людей во всей Иордании.

Как раз когда операция должна была вот-вот начаться, произошла стычка между агентами Мухабарата, с одной стороны, и группой молодых людей, возвращавшихся домой с вечеринки, с другой. Юноши окружили перегородившую переулок странную машину и принялись задирать шофера, мешающего движению. Подошел агент в штатском, вскоре поднялся крик и началась потасовка.

Я сейчас вызову полицию! — шумел один из молодых людей.

Шум разбудил отца подозреваемого, старого Халиля аль-Балави. Уснувший за чтением на диване в гостиной шестидесятишестилетний школьный учитель на пенсии проснулся и поплелся смотреть, что за балбесы так разорались прямо у него под окном. Попытавшись что-нибудь разглядеть между занавесками, седобородый старик ничего не увидел, запахнул и подпоясал халат, заковылял к входной двери. Он еле успел приоткрыть ее, как она с треском повалилась, отбросив его назад. Три фигуры в кожаных куртках, не говоря ни слова, протиснулись мимо, четвертый встал вплотную к нему, преграждая путь. Не успев еще толком проснуться, Балави решил, что ворвавшиеся убегают от драки, которая продолжалась на улице. Но что это? Трое мужчин кинулись вскачь вверх по лестнице, в ту часть дома, где жили со своими семьями взрослые дети. Старик начал было протестовать, но почув-

ствовал, как его плечо сжали, будто клещами. Клещи оказались рукой бугая в черном свитере.

— Мухабарат, — негромко выговорил бугай арабское название секретной службы, официально называющейся Директоратом общей разведки. И вручил Балави помятую бумажку. — Мы пришли за Хумамом.

У Балави подкосились ноги. Неужели это не сон? Со второго этажа доносились жуткие звуки. Детский крик. Какие-то удары, шум падения. Криком кричит его невестка, потом ее тон становится умоляющим, и вот уже она рыдает. Наконец в его мозгу возникла первая четкая мысль: это ошибка! Они пришли не в тот дом, не за тем Хумамом. Его сын целитель, а не преступник.

— Не знаю уж, что вы ищете... но этого тут нет! — с трудом выговорил он. — Здесь нет ни оружия, ни наркотиков. Мы не держим у себя ничего противозаконного!

Во встретивших взгляд старика карих глазах промелькнуло нечто вроде сочувствия, но офицер разведки не произнес ни слова. Мысли в голове Халиля аль-Балави неслись вихрем. А вдруг Хумам вел какую-то вторую, тайную жизнь? Может, он что-то украл в своей клинике? Нет, не может быть, думал он. *Хумам – домашний мальчик. Ему и деньги-то не нужны. Ночные заведения, которые имеются в центре города в отелях для иностранцев, он не посещает. Да он из дому-то почти не выходит!*

Опять крики, глухие удары. Потом вниз по лестнице загрохотал каблуками один из офицеров со свертком, в котором Халиль аль-Балави опознал вещи сына. Следом еще один с настольным компьютером; за ним двое с трудом тащили разваливающуюся коробку, в которую были напиханы книги, бумаги и подставка с компьютерными дисками. Сотрудник, тащивший компьютер, поставил его на пол и вручил старшему Балави рукописный перечень, заголовок которого гласил: “Недозволенные предметы”. В перечне оказались в основном записи, как обычные, так и электронные, изъятые в качестве улик.

— Распишитесь здесь — в том, что мы ничего не сломали, — приказным тоном проговорил мужчина.

Халиль аль-Балави, теперь уже совсем проснувшийся, чувствовал, как у него под бородой горят щеки.

— Куда вы его забираете? В чем дело? — требовательно спросил он.

— Завтра можете навести справки, — ответил офицер. — Обращайтесь в приемную. В Мухабарат.

Старику сунули в руку авторучку, он на нее сперва уставился, потом поднял голову и тут же увидел, что сына ведет вниз

по лестнице какой-то тоже, видимо, военный. Хумам Халиль аль-Балави был одет в длинную, до колен, рубашку *курта*[1] и пижамные штаны; шел медленно, глядя себе под ноги. При росте метр семьдесят он был немного выше своего отца, но в талии и плечах поуже; по рукам и цвету лица сразу можно было опознать в нем человека, привыкшего жить в окружении книг и поблизости от компьютера. Клочковатая бородка и встрепанные каштановые волосы делали его похожим скорее на непутевого переростка, чем на опытного врача, имеющего практику и двоих собственных детей.

Спустившись на нижнюю площадку лестницы, сопровождающий сына остановил. Отцу показалось, что младший Балави выглядит странно: стоит с каким-то необъяснимо отсутствующим видом, словно спит на ходу. Тут отец поймал взгляд сына. Родные карие глаза показались ему непомерно огромными и беззащитно-добрыми, как у лани. Обычно они были неспособны скрывать чувства, сразу же выдавали страх, гнев или любую другую эмоцию, которая овладевала Хумамом. Но в тот день в них проглядывало нечто такое, чему старик не смог сразу найти название. Это не было ни боязнью, ни нервозностью; в общем-то, не было это и гневом; в глазах сына сквозило что-то сродни презрению, с каким смотрит боксер-чемпион, которого свалили запрещенным ударом.

— Он смотрел пренебрежительно, вот как он смотрел, — рассказывал потом старший Балави. — Я знаю такой его взгляд. Это очень на него похоже.

Никто не проронил ни слова. В дверях произошла небольшая заминка, а потом старик пронаблюдал, как его сына провели к одной из машин и впихнули на заднее сидение. Через мгновение доктор Хумам аль-Балави, талантливый ученый и врач-педиатр, когда-то мечтавший практиковать в Соединенных Штатах, исчез за тонированным стеклом, как исчезла и его репутация, и все следы прежней жизни. Отныне и впредь, что бы ни случилось, он пойдет по пути человека, отмеченного печатью Мухабарата.

Неизвестно теперь лишь одно: куда заведет его этот новый путь. Можно выбрать пренебрежение, и тогда его карьера будет загублена, доброе имя всей семьи опорочено, а дети погрузятся в нищету. А можно избрать путь сотрудничества и терпеть потом бесчестье, работая на правительство стукачом. Некоторые из иорданцев, выбравших второй вариант, посте-

1. Курта — свободная длинная рубаха без ворота, традиционная одежда в Пакистане, Афганистане, Таджикистане, Бангладеш, Индии, Непале и Шри-Ланке, которую носят как мужчины, так и женщины.

пенно сошли с ума, лишившись друзей и доверия коллег. Другие бежали из страны, а были и такие, кто просто исчез за стенами похожего на крепость главного здания Мухабарата, и никто о них никогда больше не слышал.

Стоя в дверях, Халиль аль-Балави дрожал в своем тонком халате и смотрел, как, словно в замедленном кино, рушится жизнь сына вместе с его собственными надеждами на спокойную обеспеченную старость. Он напрягал глаза, хотел взглянуть на Хумама хотя бы еще раз, но сквозь тонированные стекла черного седана ничего видно не было. Головной автомобиль с Хумамом внутри сделал резкий разворот, едва вписавшись в ширину проезжей части, завернул за угол и исчез.

Наручники на твоих запястьях станут серебряными браслетами. Петля палача увенчает тебя ожерельем чести.

Арабские буквы выскакивали на экран компьютера, а Хумам аль-Балави все набирал и набирал текст, стараясь жать на клавиши осторожно, чтобы не разбудить спящих в соседней комнате жену и двух дочек. Это было в июне 2007 года, за девятнадцать месяцев до ареста, а занимался он делом, которое любил больше всего. Через несколько часов, когда рассветет, он отправится в детскую больницу, будет там выписывать антибиотики и лечить малышей от болей в животике и подскочившей температуры. А сейчас, сидя в тишине на кухне, он был не он, а Абу Дуджана аль-Хорасани, кибервоин, защитник ислама, бичеватель американцев и их арабских прихвостней во всем мире.

Братья, пересылайте друг другу эти видеоклипы, пока ваши интернет-кабели не перегреются от горячего контента, – писал Балави, прерываясь лишь для того, чтобы вставить гиперссылку, которая позволит аудитории увидеть подборку атак иракских повстанцев на войска США, чьи "хамви"[1] взрываются в пламени и клубах дыма, обдаваемые еще и градом шрапнели. – *Смотрите, как мы плющим американцев, будто это монстры из компьютерной игры.*

Перечитав про себя написанное и оставшись доволен, Балави щелкнул кнопкой мыши по надписи "опубликовать". Через пару секунд его статья выйдет в свет в виде уведомительного квадратика на сайте "Аль-Хезба", который служит одним из главных глашатаев радикально-исламистских взглядов и учений в арабоязычном мире.

1. Многофункциональный колесный вездеход (HMMWV или Humvee – от High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle); гражданский вариант – популярный джип "хаммер".

Абу Дуджана был, конечно же, псевдонимом, фальшивой личиной, выдуманной первоначально для того, чтобы свободно высказывать собственные мысли в чат-румах без страха быть арестованным. Однако со временем этот персонаж сделался как бы отдельной, самостоятельной личностью. Молодой врач был вежлив и сдержан, Абу Дуджана, наоборот, — напорист, агрессивен, язвителен: этакий злой близнец, наделенный дьявольским юморком. Он сразу пошел нарасхват. Новые по́сты Абу Дуджаны аль-Хорасани попадали в перечень самых читаемых статей на всем сайте, комментариев на них приходило больше, чем на все остальные. Вскоре его пригласили поработать на сайте модератором форума, эта должность дала ему возможность направлять каждодневную онлайновую болтовню форумчан, да и как автору статей добавила весомости.

Абу Дуджана сходу затесался в крохотную элиту авторов — всякого рода джихадистов и прочих знатоков и проповедников силового ислама, — обретя огромную онлайновую аудиторию по всему миру. При этом кто он на самом деле, никто не знал. Среди его самых горячих онлайн-приверженцев распространился слух, будто он саудит и, очень может быть, высокопоставленный деятель самой "Аль-Каиды". Самое интересное, что даже менеджерам сайта "Аль-Хезба" не были известны ни его национальность, ни настоящее имя. Не знали его ни в Мухабарате, ни в ЦРУ, хотя там целые команды специалистов заняты мониторингом джихадистских веб-сайтов, люди работают, получают за это жалованье и пишут отчеты, расшифровывая и анализируя соответствующий контент. Отец и братья Балави над ним подшучивали — дескать, влюбился парень в свой компьютер, что ли? — но даже они не ведали о тайной реальности, которую он творит на мерцающем голубом экране.

Смена личности происходила дома, обычно по ночам или в выходные, когда он бывал свободен от работы в клинике. Прильнув к экрану, Балави часами просиживал за маленьким настольным компьютером, пока у него не краснели глаза и жена Дефне не начинала беспокоиться. Его стали считать затворником, который сиднем сидит дома, с друзьями не общается и даже по пятницам не ходит в местную мечеть на молитву.

На вопросы жены Балави отвечал уклончиво: дескать, ему надо все время учиться, но, когда она входила в комнату, книги валялись в углу, а ее муж оказывался там, где и всегда: сидит с ногами в любимом кресле, вперив взгляд в компьютерный экран. Чем более крупной фигурой становился Абу Дуджана, тем мельче делался Балави и его прошлая жизнь.

"Он был так увлечен! — вспоминает Дефне. — В своих фантазиях он жил будто в другом мире".

Когда-то Балави публиковал статьи в интернете и под другими вымышленными именами, но это было до того, как в 2007-м появление Абу Дуджаны закрепило успешное освоение молодым врачом ремесла эссеиста. Сам этот псевдоним был комбинацией исторического имени с названием, мгновенно узнаваемым всяким религиозным мусульманином: *аль-Хорасани* значит "из Хорасана" — так в старину именовалась населенная мусульманами обширная область, протянувшаяся от границ древней Персидской империи до гор Гиндукуш; в нее входит значительная часть современного Афганистана. Что касается Абу Дуджаны, то в VII веке был такой арабский воитель, любимец пророка Магомета. Искусный фехтовальщик, обожавший азарт рукопашных схваток, он был заносчив и любил внешние эффекты. Перед битвой повязывал голову красной лентой и изводил врагов, с вызывающим видом расхаживая перед их позициями.

Новый Абу Дуджана, вдруг ставший корифеем ислама, позерства тоже не чурался, был склонен к пафосу и экзальтации. Первые же статьи закрепили за ним репутацию одного из самых ярких и популярных авторов во всем интернет-сообществе радикального ислама. Свой гнев он обрушивал на обычных, всем известных врагов — Израиль, Запад в целом и дружественные Соединенным Штатам арабские страны, — но в его писаниях чувствовалось понимание западной культуры и особый дар воздействия на молодых мусульман, выросших в эпоху электронной почты и социальных сетей. В одном абзаце он мог на чем свет стоит ругать простых мусульман, называть их быдлом, безмозглыми клонами "вроде выращенной в пробирке овечки Долли", а в другом мечтательно размышлять о будущем, в котором даже кукла Барби будет "носить хиджаб и цитировать Коран, когда ее погладишь".

Для привлечения публики использовал он и видеоряд, к писаниям присоединяя фотографии кровавого ужаса боев, только что полученные из Тикрита или Рамади от фотографов-любителей из стана джихадистов, и сопровождая их омерзительно-радостными комментариями в излюбленном стиле Абу Дуджаны.

Добро пожаловать в кафе "Аль-Хезба", — писал он, начиная очередной свой сеанс в интернете. — *Открывайте меню и выбирайте кушанья по вкусу:*

Поджаренный "хамви" под соусом из человеческих останков.

Уничтоженный с помощью самодельного взрывного устройства танк. Выживших нет.

Выпечка из мозгов американцев, кокнутых пулями снайперов.

Блюда, выпекаемые Абу Дуджаной, пробовали тысячи мусульман, прерываясь только за тем, чтобы прочесть пояснения. И с каждой неделей их аппетиты росли. Абу Дуджана, кто бы он ни был, откуда бы ни появился, превращался в настоящую знаменитость.

Его необходимо было остановить.

В главном здании таинственного Агентства национальной безопасности, расположенного в одном из пригородов Вашингтона, имеется компьютерная поисковая система, которой нет равных в мире. Известная под кодовым названием "Турбуленс", она пожирает полмиллиарда долларов в год, постоянно всасывая в себя терабайты информации со всего интернета и вымывая из нее крупицы сведений о возможных угрозах стране. Когда появляется новая цель — новый веб-сайт или, к примеру, неизвестная боевая ячейка, — система "Турбуленс" может внедриться в избранный по собственному усмотрению компьютер на другом конце света, чтобы выкрадывать из него файлы или, наоборот, загрузить в него подслушивающую программу. Агенты, работающие уже там, на месте, вооружившись миниатюрными устройствами слежения, — настолько чувствительными, что способны с расстояния в сотни футов засекать отдельные нажатия клавиш, — смогут теперь отслеживать этот компьютер, куда бы его не переносили.

Что за методы используются для поиска за океаном конкретной цели — это строго охраняемая тайна. Известно лишь, что в конце 2008-го такие устройства применяли для слежки за популярным джихадистским блогером, который называл себя Абу Дуджаной аль-Хорасани. Распутав от конца к началу переплетение серверов и каналов связи, власти США сузили область поиска до Иордании, затем до Аммана и в конце концов до определенного дома в рабочем районе Джабал Нузха.

То, кем был джихадист в повседневной жизни, вызвало шок, особенно в иорданской разведке Мухабарат. Одной из восходящих звезд радикального ислама оказался незаметный врач-педиатр, живший у них под самым носом.

Дальнейшее предоставили Мухабарату. В ЦРУ и его зарубежных западных аналогах только мониторят джихадистские сайты, ну, может быть, иногда закрывают их, но чаще предпочитают тихо изучать — вдруг там проскочит информация о том, что враг задумал? Мухабарату же следовало решить, представляет ли человек, под маской вымышленного Абу Дуджаны призывающий мусульман на священную войну, реальную угрозу безопасности Иордании и ее соседей. Кому-то придется

теперь заняться этим Хумамом Халилем аль-Балави. В конце концов, этим "кем-то" оказался сотрудник среднего звена, разбиравшийся в интернетном джихаде; впрочем, у них в отделе антитеррора в нем разбирались все. Звали сотрудника Али бен Зеид; в начальственных кругах он был известен как *шариф* Али, то есть не просто Али, а очень-очень уважаемый Али, чему причиной было его аристократическое происхождение. Бен Зеид был прямым потомком первого властителя Иордании Абдаллы I, а нынешнему королю приходился двоюродным братом.

В свои тридцать четыре бен Зеид был ветераном разведки, прослужил в ней уже десять лет и имел несколько орденов и благодарностей в приказе, в том числе одну и от ЦРУ. Не желая, чтобы кто-то думал, будто он пользуется привилегиями, которые дают ему родственные связи с царствующим домом, шариф Али работал день и ночь и никогда не упоминал о своей близости ко двору, если этого не требовалось, дабы чего-нибудь добиться для всего подразделения. Однажды во время тренировочных сборов в пустыне он таки воспользовался своим особым положением, но только для того, чтобы весь личный состав их лагеря каждый день получал в качестве ланча бигмаки с жареной картошкой. При этом был серьезен и вдумчив. Любимым его оружием был устрашающе громадный израильский пистолет "дезерт-игл" (орел пустыни) той модификации, что приспособлена под патроны "магнум" сорок четвертого калибра[1]. Бен Зеид надеялся, что такая пушка уравняет шансы, если ему придется столкнуться со злоумышленником, поставившим своей целью убийство члена королевской семьи.

Коренастый, широкогрудый бен Зеид был бóльшим западником, чем подавляющая часть его коллег, что неудивительно: долго жил в Бостоне, учился там в колледже, а практику проходил у сенатора-демократа от Массачусетса Джона Керри. Его английский выговор, отработанный на восточном побережье США, был безупречен, чему способствовало то, что и на родине он плотно общался с коллегами-американцами, особенно с рейнджером по имени Даррен Лабонте из опорного пункта ЦРУ в Аммане. С Лабонте он часто работал в паре, когда две разведки объединялись для расследования какого-либо дела; вместе они объехали весь мир от Восточной Европы до Дальнего Востока. У обоих молоденькие жены, оба женились недавно и часто проводили уик-энды вчетвером,

1. "Магнум" — тип патрона повышенной останавливающей силы.

лениво полеживая на палубе яхты бен Зеида где-нибудь на Красном море в районе Акабы.

Бывало, бен Зеид и Лабонте, объединившись, мозговым штурмом раскалывали трудные дела, но мало какое из них по непонятности могло идти в сравнение с делом загадочного врача, разбираться с которым назначили высокородного иорданца. Мухабарат собрал на Балави кипы материала, за ним следили неделями, много раз прошли туда и обратно весь его нарочито тривиальный путь из центра Аммана к лагерю беженцев "Марка", где он работал в ооновской клинике "Материнство и младенчество". Файл за файлом бен Зеид штудировал его досье и ежедневные донесения агентов, думал над ними, откладывал в сторону, а потом снова начинал перечитывать.

Кто же он, этот парень? – спрашивал себя бен Зеид, не скрывая недоумения от коллег. Ничто в этом Балави не вписывалось в клеточки стандартного портрета террориста или пособника преступной группировки. Не было у него ни столкновений с законом, ни буйного прошлого; в связях с радикальными элементами вроде бы тоже не замечен — даже с иорданскими "Братьями-мусульманами", этим еле живым уже восьмидесятилетним общественным движением, которое теперь если и замечают, то только благодаря званым обедам, на которых они собирают средства для помощи иракским сиротам и вдовам.

Напротив, досье отображало образ молодого человека необычайных способностей, успевшего много чего добиться. Происходит этот Балави из вполне благополучной, образованной семьи, где ни у кого никогда не было даже малейшей склонности к скандалам. Верный муж, души не чающий в своих малолетних дочках. Что человек хороший, у него прямо на лбу написано, хотя внешних признаков религиозного рвения он и не выказывает.

Учился всегда замечательно. Школу закончил в Аммане со средним баллом в девяносто семь процентов. В колледже получал государственную стипендию, которой был награжден правительством Иордании. Владеет английским.

После колледжа его, не глядя, брали на биофак в Иорданский государственный университет, но он предпочел уехать за границу, чтобы изучать медицину. Прошел по конкурсу в Стамбульский университет и, хотя тогда ни слова не говорил по-турецки, через шесть лет получил и степень бакалавра, и диплом врача. В Иорданию Балави вернулся с женой-турчанкой, девушкой с журналистским дипломом, и поселился с нею в отцовском доме. Все пути были перед ним открыты, но он в

конце концов решил отказаться от места в больнице и пошел на самую непрестижную в городе работу, какой только может заниматься врач: стал лечить матерей и маленьких детишек в огромном лагере "Марка", где жили десятки тысяч арабов из Палестины, ставших беженцами после арабо-израильской войны 1967 года. Обитатели лагеря вскоре полюбили нового врача: у него такие добрые глаза, он так ласков с детьми и притом так серьезен, а ведь это редко присуще столь молодому человеку!

"В отличие от многих других, он с нами никогда не заигрывал, — сказала одна мать-одиночка, часто встречавшаяся с Балави и до сих пор живущая в лагере. — Производил впечатление человека очень застенчивого, шутки шутить себе не позволял".

В результате всех этих изысканий стал вырисовываться портрет малообщительного интроверта, который живет скромно и, помимо работы, редко куда-либо ходит. Ездит на потрепанном "форде-эскорте", которому чуть не каждый день приходится служить еще и бесплатным такси — по первой просьбе соседа ли, пациента ли, которому приспичит срочно куда-нибудь съездить. Дознаватели Мухабарата не обнаружили ни малейших признаков не только того, что он по-тихому работает на "Хамас" или какую-то другую группировку, но и того, что он о таких группировках вообще что-либо знает.

Тем не менее, не замечать выступлений Абу Дуджаны аль-Хорасани было уже нельзя. Тайное компьютерное хобби молодого врача стало для него основным занятием и сильно разрослось, вероятно, превзойдя его наиболее смелые мечты. Хуже всего, что его писания намекали на скрытую связь с "Аль-Каидой". С самого начала Абу Дуджана носился с этой организацией и ее основателем Усамой бен Ладеном, как с писаной торбой, но в последнее время принялся вещать будто бы уже *от их имени.* Каждый раз, едва второй человек в "Аль-Каиде" Айман аз-Завахири выйдет на публику с новым заявлением или видеопосланием, Абу Дуджана тут как тут: все проанализирует, прокомментирует и переведет высокопарный арабский аз-Завахири на человеческий язык. Его статьи в защиту тактики "Аль-Каиды" так точно отражали взгляды Завахири, будто сам Завахири их и писал. Хотела этого "Аль-Каида" или нет, но Абу Дуджана превратился в глашатая и зазывалу этой террористической группировки. А мусульмане по всему миру развесили уши.

Мало того: взгляды самого Абу Дуджаны становились все более радикальными. Он развернул целую кампанию по реабилитации иорданского террориста Абу Мусаба аз-Заркави, отъявленного головореза, а заодно главаря "Аль-Каиды" в Ираке, снимавшего на видео, как он собственноручно обез-

главливает заложников-американцев. Иорданцы осудили его, выйдя на улицы, после того как в 2005 году он предпринял несколько одновременных подрывов отелей в Аммане, убив шестьдесят человек, среди которых было много женщин и детей, собравшихся встречать свадебную процессию. Между тем Абу Дуджана называет его "тигром", воплощающим в себе здоровую, крепкую веру, до которой надо расти и расти всем настоящим мусульманам. Недавно, между потоками желчи, изливаемой на израильскую военщину по поводу нападения на Газу 27 декабря 2008 года, он начал подпускать намеки, что пора бы, дескать, и ему перейти от слов к делу. "Когда же наконец мои слова напитаются моею кровью?" — писал он.

Хумам аль-Балави, который врач, семенил по своему пути, как и прежде. А вот Абу Дуджана мчался, летел под уклон по опасной дороге, подстрекая к насилию других и угрожая к ним вскоре присоединиться. К середине января 2009 года Али бен Зеид и его руководство решение приняли: с Абу Дуджаной пора кончать. Что касается Балави, то выживет он или погибнет вместе со своим джихадистским аватаром, это зависит от него.

В темноте главное здание Мухабарата нависает над западными кварталами Аммана как средневековая крепость, окруженная высокими стенами из известняковых блоков, на которых выщелачивание с годами привело к появлению липких красноватых пятен. Старейшая часть комплекса когда-то представляла собой самую страшную тюрьму на всем Ближнем Востоке; лабиринт камер, настоящих каменных мешков, всегда готовый к приему террористов и других врагов государства. Те немногие, кто попадал внутрь, рассказывают о темных проходах, кнутах, сплетенных из электрических проводов с узлами, о криках и стонах, глубокой ночью доносящихся из комнаты для допросов. В некоторых кругах иорданцев это здание заслужило мрачное прозвище "Контора по заготовке ногтей".

Теперь, конечно, времена изменились, по крайней мере внешне. Иорданский прозападный монарх, король Абдалла II, виртуоз самопиара, хорошо умеющий работать с прессой, не любит, когда появляются отчеты правозащитных групп, в которых упоминаются пытки, применяемые разведкой и контрразведкой страны. Старую тюрьму он снес, а в 2005 году даже уволил главу Мухабарата, умелого и безжалостного Саада Хейра — человека с манерами благовоспитанного англичанина и ледяным взглядом гремучей змеи.

Но несмотря на велеречивые заверения о соблюдении процессуальных установлений и прав заключенных, думать, что

эта секретная служба подобрела и размякла, опасно и по сей день. Иордания с ее населением, перевалившим за шесть миллионов, – умеренная арабская страна, союзница Соединенных Штатов, и официально с Израилем живет в мире, но именно это автоматически делает ее мишенью для большинства исламских террористических группировок, да и для Ирана, который снабжает их деньгами. Она давно стала временным пристанищем на путях кочевья банд иракских преступников, иранских провокаторов, боевиков "Хамаса" и "Хезболлы". Ей пришлось выдержать жестокие атаки "Аль-Каиды", в том числе ту, в ходе которой в ноябре 2005 года аз-Заркави, используя бомбистов-смертников, взрывами в трех амманских отелях убил множество людей. В девяностые Заркави самому пришлось провести пять лет в застенках Мухабарата, и с тех пор он не раз пытался отомстить, покушаясь на главное здание этой спецслужбы. В 2004-м Мухабарат еле предотвратил налет на свою штаб-квартиру, когда аз-Заркави загрузил в пару грузовиков достаточно взрывчатки и отравляющего газа, чтобы отправить на тот свет десятки тысяч людей. В результате именно Мухабарат добыл информацию (от рядового боевика, члена ячейки аз-Заркави, попавшегося иорданским властям) о местонахождении его убежища в Ираке, неподалеку от Багдада. В результате 7 июня 2006 года два американских реактивных штурмовика сбросили на дом каждый по пятисотфунтовой бомбе, убив Заркави, его молодую жену, их ребенка и еще четверых боевиков.

Что знал Хумам аль-Балави о Мухабарате и его репутации, неизвестно. Но Абу Дуджана со всем своим фрондерством где-то на полпути от дома к застенкам разведслужбы испарился как утренний туман. На Балави надели наручники и зажали между двух агентов Мухабарата, еле втиснувшихся на сидение по сторонам от него. Один из них достал из кармана и надел ему на голову матерчатый колпак, туго затянув шнурок на шее.

Дурно пахнущий колпак лишил его не только зрения, но и свежего воздуха. Дышать стало тяжело. Стальные наручники впились в запястья и заставляли сидеть с наклоном вперед.

Наручники на твоих запястьях станут серебряными браслетами.

Процессия петляла по улицам, в этот час почти пустынным, проехала мимо мечети, которую Балави посещал с детства, мимо пустого базара и начальной школы с ее бетонной спортплощадкой. Замедлив ход, взобралась на современное шоссе, ведущее в центр Аммана, и понеслась мимо торговых комплексов, сверкающих отелей с барами, даже теперь освещенными неоном, и дорогущих фитнес-клубов, где, говорят, есть помещения с кондиционированием воздуха, в которых мужчины и

женщины занимаются вместе, за деньги покупая возможность дрыгать ногами и руками, раздевшись до стриптизерских трусиков, купальных лифчиков и обтягивающих маек.

Колонна свернула к северу, в другую часть города, известную как Вади аз-Зир (Долина садов), — район широких проспектов и солидных известняковых зданий, охраняемых военными, но без единой вывески. Балави почувствовал, как машина остановилась, потом еще раз — видимо, у контрольно-пропускных пунктов, затем за ней с лязгом закрылись ворота. Несколько раз проехав по узким тоннелям, соединяющим один двор с другим, она наконец остановилась у входа в огромное каменное здание, которое служит штаб-квартирой "Рыцарей истины" — элитного подразделения, выделенного в Мухабарате для борьбы с терроризмом. Невидимые для ослепленного колпаком Балави, над входом висели помпезные портреты двух последних королей Иордании и черный флаг разведслужбы, на котором арабской вязью выписан лозунг: "Час расплаты придет!"

4. *Унижение*

Иордания, Амман – 20 января 2009 г.

Кто такой Абу Дуджана аль-Хорасани?

Несмотря на звон в ушах и туман в голове, Балави этот вопрос услышал и начал было подбирать слова для ответа, как вдруг почувствовал сотрясение и боль от оглушительной пощечины. Она заставила его окончательно очнуться и открыть глаза: что ж, хоть колпак наконец сняли... Оказалось, что он в тесной камере с голыми белыми стенами, сидит на деревянном табурете, кроме которого в помещении ничего нет за исключением обшарпанного стола, лампы дневного света под потолком да металлического столбика, к которому прикованы его ноги. Перед ним стоят два человека — чуть правее и чуть левее, — и один из них уже занес руку, чтобы еще раз его ударить.

Кто такой Абу Дуджана?

Вы ведь и так уже знаете, что это я, — устало отвечал Балави.

К тому времени, как на дворе рассвело окончательно, Балави претерпевал уже четвертый раунд допроса, единственной целью которого было побыстрее измучить его, и эта цель была близка. Час в комнате для допросов, потом два часа в камере, потом опять лампу в глаза, но допрашивают уже другие.

Между допросами он пытался спать, но не успевал закрыть глаза, как охранники будили его, выкрикивая ругательства и громыхая дверьми. И опять допрашивают, вопросы кружат над ним, мучительные, как роящиеся кусачие мошки.

Кто управляет веб-сайтом "Аль-Хезба"? Кто еще пишет для него статьи? Их адреса! Кто ваш связник?

Когда прямым наскоком выяснить ничего не удалось, сотрудники Мухабарата стали копаться в личной жизни Балави, в прошлом его семьи, в делах его братьев и турецких родителей жены, в годах учебы за границей. Зададут вопрос, слегка переиначат, и снова. Иногда в вопросах проскальзывала скрытая угроза, напоминание о том, что Мухабарат может воздействовать на Балави через его близких.

Где вы получили диплом врача? Вы уверены, что он подлинный?

А ведь ваш отец не иорданец, так? У него вид на жительство не просрочен?

Да, а как насчет гражданства вашей жены-турчанки? Выходит, дети-то ваши турки! Так или нет?

То, что угрозы вполне реальны, Балави хорошо знал. Его отец был одним из миллиона с лишним палестинцев, которых, когда все бросились кто куда во время первой арабо-израильской войны, в 1948 году впустила Иордания, оказав прием не так чтобы очень уж радушный. Для негражданина нарушение любого из десятков негласных запретов могло привести к конфискации иорданского паспорта или вида на жительство. А разрешение на работу, как и лицензию на любой вид деятельности, могли отобрать, руководствуясь всего лишь подозрением. Всем этим внушалась простая мысль: будь с нами заодно или потеряешь все.

Постепенно Балави начал различать лица следователей. Старший офицер, которого заключенные прозвали Рыжим Дьяволом, это наполовину турок Али Бурджак, начальник сектора; немногих в Иордании боятся больше этого Али. Коренастый крепыш с рыжеватыми коротко подстриженными волосами, он знаменит тем, что заставил расколоться кое-кого из самых закоренелых преступников и террористов; заодно иногда учит уму-разуму журналистов, оппозиционеров и всех тех, кто перестает почему-либо ладить с властями. Широко известно, что Али Бурджак большой любитель поунижать заключенных, такому мастеру ничего не стоит заставить человека покаяться в совращении собственной дочери, да и в других сексуальных преступлениях, каких угодно.

Под руководством Бурджака трудится несколько специалистов по антитеррору из "Рыцарей истины". Это подразделение считается элитой Мухабарата – отчасти благодаря то-

му, что его офицеры тесно общаются с разведками других стран, но также и по причине разнообразия их умений: они могут всё — вести слежку и телефонный перехват, организовывать аресты и допрашивать задержанных. Приказы отдавали Бурджак и его заместитель по имени Хабис. Из общей массы выделялся еще один офицер — кареглазый корпулентный капитан, присутствовавший во время ареста. Не такой крикливый и грубый как некоторые другие, в своей среде он, очевидно, пользовался особым уважением, на каковое вряд ли может рассчитывать обычный носитель капитанских погон. Коллеги называли этого офицера шариф Али.

Когда у следователей Мухабарата вопросы кончились, Балави увели обратно в камеру. Здание тюрьмы было новым, камеры чистые, но крошечные — два с половиной метра в длину и чуть больше полутора в ширину, а вся обстановка — койка с одеялом, полупрозрачное окошко (якобы зеркало) плюс металлическая раковина да унитаз. На голову опять надели колпак, толстая стальная дверь с громом закрылась, и Балави остался один в кромешной тьме. Ощупью добрался до койки, сел и стал ждать.

Минута за минутой прошел час. А может, два? Когда у тебя голова в темном коконе, чувство времени теряешь напрочь.

Надевание на голову колпака — стандартная процедура: таким способом Балави делали сговорчивее, подготавливая к долгой череде допросов, перемежающихся сидением в одиночестве. То, что он испытал до сих пор, только начало. Почти всем задержанным завязывают глаза или как-либо еще лишают возможности видеть, после чего держат в таком состоянии иногда по несколько дней кряду. Ничего не видя, да и слыша из-за толстой двери камеры лишь неясные приглушенные звуки, они быстро теряют ориентацию во времени и пространстве. У добровольцев, поставленных в похожие условия во время медицинских экспериментов, галлюцинации начинались через каких-нибудь пятнадцать минут. Оставленные в таком состоянии на более длительный срок, они испытывали беспричинную тревогу, чувство беспомощности и подавленность. В одном из подобных опытов британские ученые обнаружили, что, если человека продержать в таких условиях сорок восемь часов, у него появятся любые внушаемые ему симптомы. Комфортная сухая комната вдруг может стать морозильной камерой или наполниться водой, или начнет кишеть живыми змеями.

Чтобы сознание не уплывало, Балави пытался читать молитвы. Но, как он сам признавал позднее, его поминутно пронзал страх: что с ним сделают и когда именно. Бить будут

наверняка, а может, чего и похуже. Хватит ли мужества выдержать? Не сломается ли он, не начнет ли выдавать имена связников? Что, если начнут угрожать замучить жену или дочек? А если за отца возьмутся? Балави ждал, прислушиваясь к каждому шороху — к шагам, звяканью ключей, постукиванию дубинкой о шлакобетонную стену: это охранники прохаживаются по коридору.

Балави вдруг вспомнился недавний сон. Несколькими неделями раньше ему приснился Заркави. Балави к нему относился с огромным пиететом, во многом даже идеализировал его — то ли потому, что Заркави тоже иорданец, то ли еще по какой причине, но Балави рыдал как дитя, когда этот террорист погиб во время налета американских бомбардировщиков в 2006 году. Но во сне Заркави был опять живой и, что самое удивительное, сам пришел к нему в дом отца.

— Разве вы живы? — спросил его Балави. А тот сидит, и в свете луны лицо у него такое одухотворенное... При этом вроде как что-то делает. Взрывное устройство, что ли...

— Меня убили, но я, как видишь, жив, — проговорил Заркави.

Не зная, что сказать человеку, чьи видеообращения он без конца изучал в интернете, Балави с трудом подыскивал слова. *Может быть, Заркави примет от него какую-нибудь помощь? Что, если Балави отдаст ему свою машину? Да и вообще: не стать ли им мучениками вместе?*

Заркави ничего не ответил, и сон внезапно оборвался. Проснулся Балави в тревоге, и даже по прошествии многих дней эта странная встреча так его угнетала, что он рассказал о ней нескольким друзьям. Хотелось понять, что бы это могло значить.

Все сходились в том, что такой сон — дурное предзнаменование. Один приятель объяснил Балави, что сон послан ему как предупреждение, как знак, что скоро арестуют. Однако другой приятель сказал, что таким способом Заркави передал ему свое благословение. Это, говорит, тебя Господь зовет на особое служение, совершишь в джихаде какой-то подвиг, на который специально избран.

"Теперь ты призван на путь Аллаха", — сказал ему тот приятель.

Через двадцать четыре часа после ареста на состоянии Балави начало сказываться напряжение двух суток без сна. Голос раздраженно срывался, но задора в глазах видно не было. А сидевшие через стол напротив сотрудники Мухабарата брались за него все крепче.

Кто такой Абу Шадийя? Кто такой Яман Мухаддаб?

На сей раз его допрашивали Али бен Зеид и офицер помоложе; их интересовали настоящие имена других блогеров и комментаторов с того же участка интернет-пространства, где действовал Абу Дуджана. Неосведомленность Балави выглядела весьма правдоподобно. Так же как и он, другие авторы пользовались вымышленными именами, и почти никто не знал, кто они на самом деле такие и где живут. Балави было известно, что среди блогеров могут быть и агенты американской разведки. И некоторые наверняка действительно таковыми были.

Ладно, тогда вопрос такой: *Расскажите нам о ваших планах пойти в шахиды.*

Тот следователь, что помоложе, вынул из папки с личным делом Балави листок и стал читать вслух. Балави узнал собственные слова — это была статья, которую он написал, посмотрев в новостях сюжет о недавних воздушных налетах Израиля на сектор Газа. На видео были засняты израильские женщины и девочки на крыше дома, они смотрели, как произведенные в США штурмовики F-16 бомбят цели в центре Газы. Женщины передавали из рук в руки бинокль, болтали и смеялись, как будто смотрят футбол. Они смеялись! На это глядя, Балави почувствовал, как овладевшее им отвращение сперва разливается по всему его существу, а потом уходит куда-то внутрь, наполняя его смесью ярости и презрения, направленного частично и на себя, на трусливую свою натуру.

Но это было две недели назад. Теперь же Балави молчит. Нет сил.

“Когда же, наконец, мои слова напитаются моею кровью? — продолжил следователь, читая распечатку. — Я чувствую, что слова у меня иссякли, так что тем, кто исповедует джихад, советую не загонять себя в ту же ловушку, в которой оказался я: не мучить себя кошмарной перспективой однажды умереть в постели”.

Али бен Зеид окинул арестованного долгим взглядом. *Круто загибает. Но на Заркави парень не тянет.*

Бен Зеиду приходилось работать с настоящими террористами, закоренелыми моджахедами, настолько фанатичными, что они призывали смерть, торопили ее и отказывались раскалываться, с чем бы Мухабарат к ним ни подступался. Тогда как Балави спустил пары в первый же день. Отвечает с вызовом, но сразу видно — слабый человек: у него не хватает сил даже на то, чтобы не смыкались веки. Изнеженный и слабый.

Как ни странно, есть в нем что-то раздражающе знакомое, словно это какой-то забытый одноклассник бен Зеида. А ведь

и впрямь! Они примерно одного возраста. Оба учились в университетах, оба жили за границей. Оба происходят из семей, чьи предки жили на Аравийском полуострове и претендовали на близость к пророку Магомету. У обоих родители достаточно попутешествовали, чтобы дать им представление о жизни не только в Иордании, но и за ее пределами. Балави женат, у него две маленькие дочки; бен Зеид, женившийся недавно, надеется тоже вскоре завести детей.

Бен Зеид даже может понять (в отвлеченном, философском смысле) ту глубокую обиду и возмущение, которым полон интернетский двойник подследственного. Несмотря на внешнее согласие с официальной государственной политикой мирного сосуществования с Израилем, на бен Зеида частенько накатывали приступы гнева и горечи, особенно по утрам, когда он выходил на веранду своего дома, расположенного высоко на горе над Мертвым морем, садился там, и его взгляду открывались возделанные поля на севере и западе — плодородные земли, которые арабам больше не принадлежат. Сообщение о том, что израильтяне на танках в конце декабря ворвались в Газу, убив более пятисот человек и не очень-то разбираясь, боевик ли это "Хамаса" или мирный житель, почти все иорданцы восприняли с негодованием: арабы увидели в этом чудовищно непропорциональный ответ на ракетные обстрелы.

Но где-то, видимо, Балави оступился и сорвался — так виделось это дело бен Зеиду и его коллегам. Вопреки всякой логике и собственным интересам он подцепил опасную умственную заразу, которая грозит уничтожить все, чего Иордания достигла за полвека неустойчивого социального прогресса. Не пожалев семьи и репутации, он фактически пошел служить фанатикам, живущим в пещерах где-то в двух тысячах километров к востоку.

Как такое могло случиться со столь умным и образованным молодым человеком, непостижимо. Но ясно одно: Абу Дуджане суждено исчезнуть, а жизнь Балави должна радикально перемениться. Отныне этот врач с Мухабаратом повязан — повязан крепко и навсегда. Его право работать, путешествовать, иметь свой дом и одевать детей будет зависеть от хорошего поведения и великодушия спецслужбы. А если Мухабарату что-то будет нужно — не важно, большое ли, малое, — Балави не оставят иного выбора, кроме как беспрекословно подчиниться.

Парень, сидящий на табурете подследственного, еще не полностью осознал эту новую реальность, но ничего, до него дойдет. По его виду судя, много времени на это не потребуется.

Когда прошло три дня, а на свободу Хумама аль-Балави все не выпускали, его отец, взяв с собой старшего сына Мухаммада, вызвал такси и поехал на другой конец города в Вади аз-Зир, где располагается Мухабарат. Солдат с американским автоматом "кольт М4" жестом остановил их машину за несколько десятков метров от главных ворот; дальше старый человек, оставив сына в машине ждать, вынужден был идти пешком. Всю неделю погода стояла холодная и хмурая, пронзительный северо-восточный ветер дергал Халиля аль-Балави за белую куфию[1] всю дорогу, пока он от автостоянки шел к небольшому зданию, где посетителей проверяют на наличие оружия и взрывчатки.

У поста охраны Халиль аль-Балави назвал себя и сказал, что ему надо к полковнику Фавасу, который назначил ему встречу.

— Я пришел забрать сына, — сказал он.

Ему дали номерок на клочке бумаги и велели пройти в "зал ожидания", которым оказалась маленькая комнатка с белым мраморным полом и несколькими кожаными креслами. Со стены, с огромного портрета, неодобрительно смотрел король Абдалла II в парадной форме, увешанной множеством лент и орденов.

Всю свою жизнь я старался сюда не попасть, — подумал старик, — *и все-таки попал.*

К этому времени в семье уже догадывались, почему Хумама арестовали. Агенты правительственной спецслужбы изъяли все компьютерное оборудование, а Дефне подтвердила их предположение о том, что ее муж — ну да, действительно — обожал чатиться в интернете. Халиль аль-Балави, до пенсии преподававший арабскую литературу и основы ислама, таких и слов-то не знал. Но в справочной службе Мухабарата ему сообщили, что со следствием сын сотрудничает, так что на свободу его выпустят, скорее всего, в четверг, как раз к мусульманским выходным.

Старик так разволновался, что всю ночь не сомкнул глаз. Лежал, а мысли и воспоминания мчались вихрем: вот Хумам маленький — не по годам умен, упрям и невероятно любознателен, а кроме того, из десяти детей больше всех похож на него.

Папочка, а зачем Господь сотворил людей?

Затем, Хумам, чтобы было кому славить Творца Вселенной.

(Молчание.)

Папочка, а зачем Господь сотворил муравьев?

1. Куфия (шемаг, шемах, "арафатка") — мужской головной платок, используемый арабами как шарф, как головной убор, как подстилка для намаза, наволочка или простыня и т. п.

Минута за минутой истек час, потом второй. Прошли уже чуть не все другие номера, комната почти опустела. Забеспокоившись, не случилось ли чего, Халиль аль-Балави поплелся обратно к посту охраны — преклонного возраста не очень здоровый человек предстал пред очи доброго слуги Его Величества и взмолился: скажите, уважаемый, в чем дело? Тот снял трубку телефона, позвонил, и старику объяснили.

— Очень сожалею, *йа аммо*[1] Балави, но вашего сына здесь уже нет, — сказал старший наряда.

— А где же он?

— Скорее всего, дома, — прозвучал ответ. — Час назад его отвезли домой.

Вскоре Халиль аль-Балави уже летел по городу назад со всей возможной скоростью, какую только позволяли машине забитые транспортом вечерние улицы, по пути обсуждая с Мухаммадом возможные объяснения столь внезапного поворота событий. Может быть, Хумам ранен? Искалечен? С каких это пор Мухабарат стал таким обходительным, что подвозит отпущенных пленников до дома?

Когда центр Аммана сменился кварталами попроще, строить догадки перестали, и старик погрузился в размышления. Прямо какое-то фамильное проклятие! Все опять возвращается на круги своя.

У Халиля аль-Балави жизнь складывалась трудно с детства: родился в бурном 1943 году в деревне около Беэр-Шевы; теперь эти места считаются югом Израиля. К его пятому дню рождения родители навидались и погромов, и убийств из мести, а потом началась полномасштабная война, которая разделила Палестину на два государства, в результате чего тысячи арабов, в том числе и семья Балави, оказались в изгнании. Их маленький участок, на котором он когда-то играл ребенком, теперь ему недоступен: стал хлопковым полем, которым владеет еврейский кооператив.

Его отец, смолоду работавший руками, в конце концов сумел осесть в Иордании, где у всей семьи, а в особенности у Халиля, способного мальчика, который всегда получал хорошие отметки и окончил колледж (что стало предметом гордости всей семьи), жизнь наладилась. Однако в Иордании найти работу было трудно, и Халиль, едва успев жениться, уехал с женой в Кувейт, где удалось устроиться преподавателем. Потом его повысили до заведующего кафедрой, и он готов был уже

1. Принятое в Иордании неформально-вежливое обращение к человеку, который либо поколением старше, либо поколением младше.

провести остаток дней в безопасном и здравом Кувейте с его умеренной политикой и процветающей на нефти экономикой. Но тут к ним вторгся иракский лидер Саддам Хусейн со своей Республиканской гвардией, и с августа 1990 года началась шестимесячная военная оккупация, грабежи и война. А в девяносто первом, после того как возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция нанесла Ираку поражение, власти Кувейта тут же выдворили из страны больше трехсот тысяч проживавших в ней иорданцев — за то, что Иордания поддерживала в этом конфликте Ирак. Кое-что из фамильных драгоценностей Халилю аль-Балави удалось сохранить, но за время между оккупацией и высылкой из страны всю остальную собственность он утратил.

Оказавшись снова в Иордании, он как-то ухитрился продержаться, пока дети не окончили колледжи, и надеялся, что теперь пойдут времена поспокойнее, он поживет наконец в довольстве среди счастливых и успешных детей и внуков. И вот, извольте радоваться! Полвека мытарств и несчастий, оказывается, ничто по сравнению с болью, что сидит теперь у него в груди.

Такси подрулило к тротуару улицы Урвы ибн аль-Варда, Халиль аль-Балави торопливо вылез и впереди старшего сына вошел в дом. В гостиной на черной софе, стоящей между шкафами полными отцовских книг, сидел Хумам.

— *Салям алейкум*, Хумам, — приветствовал его отец. — Мир тебе.

Хумам не сказал ничего. Даже взглянуть отцу в глаза и то не смог себя заставить.

Посидели в молчании. В конце концов, Хумам заговорил, по-прежнему не поднимая головы.

— Я смыл позор с нашей фамилии, отец, — сказал он.

— Хумам, тебе не надо было этого делать, — отозвался старик. — Наша фамилия ничем не запятнана.

Прошел не один день, прежде чем Хумам сказал своим домашним следующее слово. Его отец верил, что рано или поздно сын сам расскажет, что случилось, и не торопил события. Прошло пять дней, потом неделя. Однажды они опять оказались с глазу на глаз в гостиной, и тут Халиль аль-Балави не выдержал.

— Они там били тебя? — тихо спросил он.

Хумам поднял голову, решившись — наконец-то! — встретиться взглядом с отцом. Его щеки горели, а когда он заговорил, арабские слова звучали как едва слышный свистящий шепот.

— Нет, — сказал он. — Но меня унизили.

5. *Осведомитель*

Иордания, Амман – 8 февраля 2009 г.

Али бен Зеид втиснул объемистый зад в офисное кресло и, нахмурясь, уставился в экран монитора. Недописанная страница файла была уже помечена грифом "секретно", но он должен был ее как-то закончить, сделать какой-то вывод — знать бы какой! Заглавие докладной записки, если перевести с арабского, звучало как "Оценка" или "Суждение"; записка касалась личности Хумама аль-Балави и по содержанию была пустой и формальной. Кроме, разве что, последнего, завершающего абзаца.

Каков возможный потенциал объекта? Вот в этом-то и весь вопрос!

Бен Зеид был утомлен — сказывался ненормированный рабочий день: как и всем в Мухабарате, ему приходилось работать в самое дикое время суток, к тому же давили на мозги трудные неразгаданные дела. Кстати, и это тоже. Ему изрядно досаждало, что он не может даже толком пообедать с женой, не говоря о том, чтобы уехать куда-нибудь на медовый месяц, а ведь он это обещает ей уже чуть не год.

Низкое февральское солнце залило золотым сиянием его служебный кабинет на четвертом этаже, пустив по монитору блики, мешающие различать буковки на экране; в комнате стало жарко и душно. Бен Зеид отвернулся от монитора и снова взял в руки папку с личным делом Балави. Принялся читать.

Хумам аль-Балави в конце концов заговорил.

Начал на третий день, еще в тисках Мухабарата, продолжил и на свободе — во время нескольких тайных встреч на нейтральной территории; выдал многих и с "Аль-Хезбы", и с других джихадистских сайтов. Рассказал все, что знает о сети радикальных блогеров и о том, кто их финансирует. Он говорил так открыто и легко, что цепи и наручники с него почти сразу сняли, а допросы превратились в непринужденные беседы. Зато потом, в камере, сидел с пылающим лицом, весь сжавшись, и временами обхватывал голову руками, словно еле сдерживая распирающие его чувства.

На допросах Балави клялся, что в глубине души он противник террора в любых его формах. Казалось, это заявление никак не стыкуется с его статьями, в которых он восхвалял такого отъявленного головореза, как Абу Мусаб аз-Заркави.

— Ну да, действительно, мне нравится выражать себя в слове, — признался он в ходе беседы. — Но я против насилия,

в том числе и военных действий. Да и религия нам запрещает террор. — Балави обвел взглядом следователей, глядевших на него скептически. *А там-то ведь был не я,* пояснил он с нажимом. Все эти блоги, аватары, призывы к кровопролитию — это же не взаправду!

Это у меня просто хобби такое, сказал он.

После его освобождения Мухабарат отправил агентов проверять полученную информацию. Самого Балави тоже стали изучать еще внимательнее, подслушивая его телефонные разговоры, по пятам пуская за ним агентов наружки и даже за границами Иордании пытаясь нащупать его связи с террористическими группировками. Ответственным за дело Балави руководство назначило капитана Али бен Зеида, да еще и поделилось информацией с ЦРУ, чьи люди делят кров с иорданцами в совместном антитеррористическом подразделении, расположенном в одном из пригородов Аммана. Вдруг у американских коллег появится желание проверить, не значатся ли имена, которые назвал Балави, в их собственных базах данных?

Чем глубже копали, тем больше открывалось мрачных и опасных граней тайной жизни этого Балави. Так, вопреки всем своим заверениям о том, будто он противник насилия, он, оказывается, по меньшей мере дважды пытался присоединиться к повстанцам в Ираке, поступив под начало к Заркави. Почему ему это не удалось, осталось неясным. Возможно, не хватило смелости, а может быть, не смог переступить чувство вины, сознавая, что неминуемо оставит дочек сиротами; быть может, ему дали понять, что на роль партизана-боевика его кандидатура не тянет: куда ему! — физически слабому и без военной подготовки. Потерпев фиаско в одном начинании, стал продвигать другое: принялся подбивать друзей и родственников на сбор денег в пользу мятежников и даже собрал чуть больше тысячи четырехсот долларов, но потом и это бросил. А в 2008-м, после вторжения израильских войск в Газу, попытался поступить в распоряжение "Хамаса" в качестве врача — лечить раненых палестинцев.

Выяснилось, что в некотором роде флирт (если не что-то большее) был у Балави и с известной террористической организацией в Турции. Когда студентом он жил в Стамбуле, ему случалось бывать на собраниях "Фронта исламских рейдеров Великого Востока" — группировки, которая кичится своим сходством с "Аль-Каидой" и выступает за насильственное свержение светских правительств на всем Ближнем Востоке от Анкары до Аммана и Каира. Турецкая полиция приписывает этому "Фронту рейдеров" ответственность за

несколько громких терактов, в числе которых взрывы в двух стамбульских синагогах в 2003 году, унесшие жизни двадцати четырех человек.

Мало того: турецкие источники сообщили, что интерес к этой группировке разделяла с Хумамом женщина, на которой он впоследствии женился. С Дефне Байрак Хумам познакомился в 2001 году на интернетском форуме молодых мусульман. Когда эти двое начали встречаться, они частенько сходились с другими подобными парами на светских вечеринках, которые зачастую оказывались мероприятиями по вербовке во "Фронт рейдеров": сперва лекция перед горсткой слушателей, а потом сбор средств в поддержку палестинских боевиков.

Дефне, высокая и стройная девушка с личиком бледным, как у фарфоровой куклы, восхищалась умом Хумама, но полюбила, как потом утверждала сама, за его правильные, консервативные взгляды. Она жила в Стамбуле с родителями, работала в прессе и одновременно училась, повышая уровень владения арабским, и тут в ее жизнь ворвался студент-медик из Иордании. Три месяца знакомства, и вот они уже строят планы совместной жизни.

"Он мне понравился своим характером, набожностью, строгим следованием нормам религии", — говорила она впоследствии.

Уже в период ухаживания оба начали меняться. До этого ни в нем, ни в ней особого благочестия никто не замечал. В публичных местах Дефне носила на голове платок, но в таком виде ходит большинство взрослых женщин в Турции. Хумам еще в детстве выучил наизусть большие куски Корана, но хождением в мечеть на пятничную молитву то и дело манкировал, а об Иордании, где родился, отзывался пренебрежительно, называя ее "страной непуганых исламистов". Но стоило ему сойтись с Дефне, как они тут же восприняли систему взглядов, становившуюся все более модной в среде турецкой образованной элиты; ее основной догмат состоял в неприязни к немусульманскому Западу. Взгляды эти коренились там же, в тех же обидах, с которыми не могли смириться миллионы других мусульман, но в умах привилегированных молодых людей, взросление которых происходило уже в эпоху "Аль-Каиды", они принимали подчас затейливую форму. Например, эти люди верили, что за террористическими атаками 11 сентября 2001 года стоит ЦРУ и израильская разведка Моссад. Приверженцы этой веры видели во вторжениях в Ирак, сектор Газа и в Афганистан очередные крестовые походы, все новые проявления борьбы Запада с исламом, непрекращающиеся попытки извратить его и уничтожить, по ходу де-

ла разграбив принадлежащие арабам природные ресурсы и убив тысячи безвинных людей.

Со страстью принятая Хумамом и Дефне модная система взглядов в какой-то мере брала начало в семейной истории и личном опыте: сын палестинских беженцев, Хумам и лечил тоже палестинских беженцев, тогда как Дефне по работе была связана с консервативными турецкими газетами — переводила для них с арабского сводки новостей с войны в Ираке и Афганистане. Кроме того, Дефне, которая, по отзывам общих друзей, была куда фанатичнее мужа, перевела две книги — одну про лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена, другую про бывшего правителя Ирака Саддама Хусейна, обе хвалебные. Первая называлась "Усама бен Ладен — Че Гевара Востока".

В этой паре каждый из супругов нашел в другом партнера, чьи политические воззрения еще больше разжигали и усиливали его собственные. Потом, когда пошли дети, их имена тоже стали способом выразить и подчеркнуть свои убеждения.

Старшую девочку назвали в честь Лейлы Халед[1] — палестинки, которая в 1969 году угнала авиалайнер американской компании "Транс уорлд эйрлайнз" и попала в британскую тюрьму. А младшую наделили именем палестинки, родившейся в Швеции, — кинорежиссера и феминистки Лины Макбоул, чьей наиболее известной работой стала документальная лента под названием, опять-таки, "Лейла Халед, угонщица".

Что ж, пришлось бен Зеиду прибегнуть к любимому приему, который он использовал, когда требовалось хорошенько подумать. Сидя в высоком пилотском кресле "боинга-737", проверил закрылки и сдвинул рукоять сектора газа вперед. Белые штрихи на взлетной полосе побежали навстречу, превращаясь в сплошной убыстряющийся поток. Штурвал на себя, нос ревущей машины задрался к небу, и самолет, промчавшись над деревьями и холмами, устремился в бескрайний голубой простор.

Сняв с головы наушники, бен Зеид откинулся в кресле, не отрывая глаз от компьютерного экрана. В реальности он был по-прежнему в Иордании, в построенном по его собственным эскизам доме с видом на Мертвое море. Бен Зеид установил на свой компьютер программу-тренажер для пилотов, а вокруг все оборудовал так, словно это настоящая кабина самолета — с тумблерами, педалями и даже ревом моторов, который

1. Лейла Халед (р. 1944) после освобождения занималась политикой, была членом Палестинского национального совета и, продолжая оставаться членом Национального фронта освобождения Палестины, руководила действиями его боевого крыла.

соответствовал тому типу самолета, который он в данный момент пилотирует. Взлетал, брал курс на какой-нибудь отдаленный город, а затем, убрав шасси, сидел в тишине по часу или дольше, пока самолет летит над пустынным морем. Для домашних смысл этого хобби был загадочен, но бен Зеид объяснял, что оно его лечит.

Кроме того, мне это помогает думать, говорил он.

Вот! В этом твоя главная проблема, обычно получал он в ответ. *Слишком ты много думаешь.*

Но бен Зеид жаждал простора, особенно когда бился над какой-нибудь запутанной головоломкой. Если выдавался выходной, брал двух своих собак и выезжал на "лендровере" в пустыню или несся вдвоем с женой Фидой на юг к Красному морю, отчаливал, а потом бросал якорь яхты в какой-нибудь необитаемой бухте — такой, чтоб в обозримой близости не маячило ни единой хари. На фотографиях он запечатлен всегда будто в одном и том же месте: пустынный пляж, где он один, в трусах и мягкой камуфляжной шляпе сидит в шезлонге, вперив взгляд куда-то в неведомую точку горизонта.

Бен Зеид влюбился в Америку, увидев в ней страну бескрайних горизонтов. Еще студентом Эмерсоновского колледжа[1] в праздничные уик-энды он, бывало, садился за руль своей машины и по газам, — иногда один, иногда с братом Хасаном, который учился в том же городе, хотя и на другом его конце, в Бостонском университете. Когда времени было мало, ехал на мыс Кейп-Код побродить по пляжам или просто шел на бейсбольный стадион "Фенвей-парк" — посидеть на дешевых скамьях, размышляя над загадкой повальной влюбленности американцев в бейсбол и отдаваясь манящей прелести запретной для мусульманина свиной сардельки. Если окно свободы открывалось пошире, он в одиночестве ехал в заснеженный Монреаль или пробовал отыскать очередное глухое озерцо, таящееся между гор Голубого хребта в Виргинии.

Его страсть к одиноким скитаниям была лишь одной из многих черт, делавших его не таким, как все, этакой белой вороной в среде служащих иорданской разведки. Знакомые из ЦРУ шутили, что работящий, скромный в запросах бен Зеид просто демократ какой-то, даром что член королевской семьи! А вот некоторым из его коллег-иорданцев за мишурой будто бы особых его привилегий и приверженностью к нарочито западному стилю жизни не так-то просто было разглядеть в нем

1. Частный университет в Бостоне (основан в 1880 г.), где студенты изучают кино, театр, журналистику, литературу, маркетинг, искусство общения и издательское дело.

человека. Впрочем, руководство Мухабарата беспокоило другое: вдруг семейные связи неожиданно вознесут бен Зеида на самый верх, ведь он тогда всех ветеранов отодвинет в сторону, обеспечив еще более жесткий контроль царствующей семьи над тайной полицией. Офицеры же равного с ним ранга, хотя и восхищались его энергией, со всей ясностью понимали, какая пропасть лежит между ними и им. И дело даже не в деньгах и привилегиях, хотя все знали и о бостонском образовании бен Зеида, и о его яхте фирмы "Бертрам", пусть небольшой и как бы рыболовной, которую они с братом держали на якоре в порту Акабы. Да плюс еще его явное безразличие к условностям, которые диктуют мужчине-иорданцу его возраста выбор направления на всех жизненных перекрестках. Будучи мусульманином, он умудрился жениться на соотечественнице из крошечного христианского меньшинства, темноволосой красавице по имени Фида Дауани. В стране, где собаки традиционно считаются нечистыми, бен Зеид нисколько не скрывал своего нежного отношения к Джеки, немецкой овчарке, воспитанной им со щенячьего возраста, и ее лохматому отпрыску, которого он наделил кличкой Хаски, то есть Ражий. Обе собаки разъезжали с ним в его джипе по всему Амману, словно четвероногие загонщики скота на каком-нибудь ранчо в Вайоминге.

На замечания по поводу своих питомцев бен Зеид лишь пожимал плечами, зато, когда видел, что перед ним заискивают из-за его королевского происхождения, не скрывал отвращения. Хотя коллеги упорно называли его шариф Али, на работе он представлялся просто капитаном, а продавцы и хозяева соседних лавок знали его просто как Али. Владелец местной ремонтной фирмы, обслуживавшей компьютер бен Зеида, преисполнился симпатии к приветливому молодому человеку, который частенько задерживался у него в мастерской, чтобы обсудить свежие новости, иногда угощая всех присутствующих пиццей. Прошли годы, прежде чем он узнал, что этот неприметный, одетый в потертые джинсы Али не только офицер Мухабарата, но еще и двоюродный брат короля.

Зато на работе бен Зеид был собран и деловит. Еще мальчишкой он в одном из школьных сочинений написал, что собирается посвятить жизнь служению отчизне, потому что "для полноценной личности очень важно быть готовым отдать жизнь за свою страну". Сразу по окончании колледжа пошел служить в Мухабарат и окунулся в работу. Ему приходилось участвовать в расследовании самых громких дел о терроризме, в том числе и о тех подрывах, что в 2005 году осуществили в Аммане смертники под руководством аз-Заркави. Чем дальше, тем более незаменимым он становился в

качестве соединительного звена между разведкой Иордании и ЦРУ. Тесное сотрудничество двух разведок началось еще в шестидесятых, а к 2001 году бюджет Мухабарата значительно увеличился, благодаря вливаниям со стороны щедрого американского партнера. С точки зрения Лэнгли, это было выгодным инвестированием: как партнер иорданское агентство достаточно надежно, а его шпионские кадры заслуженно считаются одними из лучших в мире.

В особых отношениях двух разведок бен Зеид занимал место поистине уникальное. Он понимал и язык американцев, и их самих лучше всех в Мухабарате, поэтому, когда две страны совместно работали над каким-нибудь расследованием, американская разведка неизменно просила предоставить в свое распоряжение именно его. Когда по тактическим вопросам шпионские ведомства двух стран принимались спорить, мостом между ними, посредником и примирителем приходилось становиться бен Зеиду.

Прекрасным примером этого может служить дело Балави. Прошло уже две недели после его ареста, а Хумам аль-Балави продолжал оставаться для Мухабарата тайной за семью печатями. Да, имена авторов-джихадистов он выдает, но едва к ним приглядишься, его раскаяние сразу перестает выглядеть убедительным. Авторы оказываются либо мелочью, либо фигурами настолько выдающимися, что про них и так уже давно все знали. Выйдя на свободу, Балави слово держал, обновлять свои колонки в интернете не пытался (понимал: стоит только попробовать и...), тем не менее бен Зеид не получил ни единого веского свидетельства в пользу того, что подопечный поменял взгляды и ему теперь можно доверять.

Однако и в ЦРУ, и в высоких кабинетах Мухабарата этим врачом живо заинтересовались. С точки зрения начальства Абу Дуджана аль-Хорасани в области радикального ислама был "опинион-лидером", то есть одним из тех, кто задает тон общественному мнению, а человек, который за ним стоит — вот удача-то! — теперь всецело под контролем Мухабарата. Представляете, чего мы можем достичь, если он будет работать на нас?

Осведомителей в Иордании, конечно, и без него сотни, но обычно это либо низкопробные доносчики, поставляющие информацию весьма сомнительной достоверности, либо элитные двойные агенты, на обучение которых тратится масса сил, а прикрытие нарабатывается годами. Балави ни то ни другое, но дело для него обязательно найдется. Вот пусть бен Зеид и прикинет, какое ему можно подыскать задание. А чтобы подопечного хоть как-то подготовить, он должен теперь стать этому Балави лучшим другом.

Особенно осложнялось все давлением сверху. Воспитание осведомителя требует времени, а времени-то, как выясняется, и нет. Администрация нового президента Обамы, пришедшая к власти в Вашингтоне на волне громких обещаний вывести борьбу с терроризмом на качественно новый уровень, начала с заверений в совершеннейшей своей готовности вот-вот, чуть ли не завтра, поймать Усаму бен Ладена и его заместителя Аймана аз-Завахири. ЦРУ лихорадочно вербовало новых шпионов и диверсантов, разворачивая все новые и новые их сети на Ближнем Востоке и по всему миру. В Иордании офицеров Мухабарата обязали писать донесения обо всех своих новых контактах, оценивая их перспективность, а также к какому делу их можно пристроить.

Садясь писать такую бумагу про Балави, бен Зеид высказывал коллегам опасение, что слишком большие ожидания могут привести к разочарованиям и ошибкам.

Однажды вечером после работы бен Зеид отодвинул папку с делом Балави в сторону и пошел к приятелю смотреть кино. Фильм (в нем играли Рассел Кроу и Леонардо Ди Каприо) оказался голливудским шпионским триллером и назывался "Клубок лжи". Изображаемые в нем события будто бы происходили в Иордании после 11 сентября 2001 года, а в качестве одного из главных героев авторы вывели этакого беспринципного чиновника из ЦРУ (его играет Кроу), который постоянно ошибается в расчетах, тем самым подвергая опасности жизни и подчиненных, и арабов, на беду оказавшихся между двух огней. Смотрел бен Зеид вроде бы с интересом: любопытно же, как изображены в фильме американские и иорданские агенты, занятые борьбой с терроризмом, а иногда и друг с другом.

Когда DVD-диск остановился, приятель спросил бен Зеида, понравилось ему или нет. Они вместе посмеялись над путаным сюжетом, потом бен Зеид посерьезнел.

— А знаешь, что во всем этом правда? — проговорил он. — Правда, что американцы вечно дико торопятся. Они всегда хотят получить всё и сразу.

Конец февраля принес с собой холоднющую, прямо даже леденящую погоду, какой в Аммане не видывали много лет. Температура несколько дней держалась около нуля, выпал редкостно толстый слой снега, из-за которого отменили занятия в школах, а на дороги вывели целую армию дворников, которые устало топтались с лопатами там, где в нормальную погоду достаточно пройтись метлой. В эти холодные дни Хумам аль-Балави много времени проводил на улице, бегал по каким-то де-

лам, а однажды, вернувшись домой, всех огорошил: сказал, что продал свой автомобиль.

Родители и братья лишились дара речи. Немолодой, но крепкий маленький "фордик" был из тех вещей, которыми Хумам особенно дорожил. Кроме того, это было единственное транспортное средство, позволявшее Хумаму каждый день добираться до отдаленной клиники в лагере "Марка".

— Зачем ты это сделал? — спросил отец.

Хумам пожал плечами.

— Он вечно требует ремонта, — сказал он. — Надоело мне с ним возиться.

Внешне Хумам все это время казался смертельно усталым. Был молчалив; дома, не вставая, корпел за компьютером, который Мухабарат ему любезно возвратил, или просто сидел и о чем-то раздумывал. То вдруг на несколько часов исчезнет, лишь обронив, что идет в мечеть или встретиться с друзьями.

Пациентки в клинике заметили его неухоженный вид, землистый цвет лица и забеспокоились: что с ним? Одна женщина (по имени Ханнана Омар, 42 года, мать четверых детей, торговавшая в вестибюле клиники с лотка напитками и съестным) не преминула спросить напрямую. Несколько месяцев назад, когда у нее внезапно упало давление, доктор Балави неделями регулярно осведомлялся, не забывает ли она принимать лекарство.

— Что ж это вы так похудели? — однажды утром ворчливо спросила эта женщина, когда Балави пришел на работу. — Часом, не заболели?

Врач слабо улыбнулся и сказал, что похудеть его вынудил диабет. То был последний раз, когда она его видела; вскоре ей стало известно, что Балави подал заведующему клиникой заявление об уходе.

Балави мало-помалу расставался с прежней жизнью. Да ведь и то сказать: прежнего Балави в каком-то смысле уже не было на свете.

Дефне пыталась понять, что с мужем происходит, но в свой внутренний мир он ее теперь не очень-то впускал. После трех дней пребывания в тюрьме Мухабарата Хумам стал почти неузнаваем: дерганый, мрачный, рассеянный. Прежде никогда не молившийся на людях, теперь молился чуть не беспрерывно, прося у Господа водительства в ничтожнейших мелочах. Сядет у себя в комнате с открытым Кораном на коленях и сидит часами, а когда девочки шумными играми начинают донимать, убегает (иногда прямо буквально) в ближайшую мечеть, что в конце квартала, чтобы воспользоваться спокойствием ее молельной комнаты.

Временами он все же позволял жене бросить краткий взгляд за завесу. Так ей удалось выведать некоторые детали, касающие-

ся его пребывания под стражей. Например, Балави рассказал, как ему не давали спать и как требовали назвать настоящие имена особо выдающихся авторов. Но я не выдал никаких имен, солгал он. И повторил ей то, что уже говорил отцу: нет, пыток в Мухабарате к нему не применяли, но постарались унизить. Как именно, не сказал.

Еще он рассказывал о своем новом кураторе, офицере разведки, которого зовут Али и который состоит в родстве с королем. Вскоре после освобождения Хумам начал встречаться с этим офицером — просто чтобы поболтать по-приятельски, как объяснял он жене. Сперва встречи бывали недолгими — попьют чайку и разойдутся, потом стали беседовать дольше. На самом деле, выбора у Балави не было и, если бен Зеид приглашал его на чашечку кофе, отклонить приглашение он не смел. Но постепенно то, что он слышал от бен Зеида, ему становилось все интереснее.

Они встречались в заранее оговоренных местах, куда бен Зеид обычно приезжал на своем серо-голубом "лендровере". В обеденное время бен Зеид назначал встречу в каком-нибудь ресторане по собственному выбору и сам платил по счету: обед иногда обходился в семьдесят пять долларов, а то и больше, что непомерно, даже дико дорого в сравнении с заведениями, в которых по соседству с домом Балави можно было съесть шаурму или кебаб. Однажды бен Зеид попросил доктора съездить с ним за компанию по делу, и они вдвоем полчаса катали тележку по огромному вестернизованному ангару супермаркета "Сейфвей" с его одуряющим изобилием свежих и замороженных продуктов, а также маленькой комнаткой, где посетители могут, укрывшись от посторонних глаз, покупать вино и виски. Когда, выстояв очередь, миновали кассу, бен Зеид сунул под мышку коробку собачьего корма, а пакеты с продуктами вручил Балави, объяснив, что это подарок доктору и его семье.

Что всем этим хотел сказать Мухабарат (этак ненавязчиво — во всяком случае вначале), было ясно без всяких слов: *Мы нуждаемся в твоей помощи. Помоги нам, и себе же принесешь пользу. И принесешь пользу своей стране.* В ходе бесед бен Зеид подверг критическому разбору некоторые из написанных Балави под псевдонимом Абу Дуджана аль-Хорасани статей, взяв для анализа самые яростные, чтобы попытаться исподволь переиначить те толкования Корана, при помощи которых джихадисты оправдывают взрывы смертников и террор как таковой.

Усама бен Ладен видит ислам в искаженном свете, говорил он. *Коран запрещает лишать жизни ни в чем не повинных людей.*

Бен Зеид даже утверждал, что король Иордании Абдалла II своим примером пропагандирует принципы ислама гораздо лучше, нежели бен Ладен. Ведь, между прочим, наш король,

симпатизирующий Западу и женатый на красавице, которая ездит по всему миру, призывая распространять образование среди женщин, не кто-нибудь, а хашимит[1], то есть потомок рода, берущего начало непосредственно от пророка Магомета.

Балави кивал, молча выражая согласие. Может быть, он и впрямь сумеет чем-нибудь помочь монарху.

Какую в точности роль предложат Хумаму Балави, пока не сообщалось, но бен Зеид всячески подчеркивал одно: если доктор сумеет воспользоваться своими связями, чтобы выследить находящихся в розыске террористов, получит вознаграждение, причем огромное. Достаточное, чтобы полностью изменить и его жизнь, и жизни всех его домочадцев.

Сколько ему заплатят? Это будет зависеть от объекта розыска, но ЦРУ, организация, которая по этим счетам как раз и платит, давно оценила головы бен Ладена и злодея № 2, египетского врача Аймана аз-Завахири, обещая за них суммы, которые трудно даже вообразить.

Ну так сколько же, сколько? спросила Дефне, когда муж вернулся домой. Детально пересказывая жене в уединении спальни свои разговоры с офицером Мухабарата, Хумам обычно бывал насмешлив, не скрывал презрения. Но в тот день он был опять рассеян и задумчив.

Миллионы... наконец буркнул он.

Утром 18 марта Хумам аль-Балави собрал две небольшие сумки и сказал, что отправляется, как он выразился, в короткую поездку. Объявил, что решил попробовать продолжить изучение медицины в Соединенных Штатах, но сперва надо сдать квалификационный экзамен. А принимают его в Стамбуле.

Звучало все это почти правдоподобно. Задолго до ареста Балави уже что-то говорил о том, чтобы поехать учиться в Америку, беспокоился, справится ли со специфическим английским медицинского экзамена, от результата которого зависит, возьмут его или нет. Но при всех прежних упоминаниях об этом экзамене каждый раз местом его проведения должен был быть Амман. Впрочем, у Балави еще с университетских времен в Турции оставались неплохие связи, так что его решение поехать именно туда не вызвало вопросов. Он обнял на прощание девочек и жену и вышел из дому вдвоем с младшим братом Асадом, который вызвался довезти его до аэропорта. Отцу Хумам об этой поездке не сообщил вовсе, просто не нашел в себе сил, чтобы прийти попрощаться.

1. Хашимиты — потомки Хашима ибн Абд ад-Дара, деда пророка Магомета.

В амманском Международном аэропорту имени королевы Алии Хумам жестом показал брату, что к стойке регистрации на Стамбул им не надо. Пройдя мимо, встали в очередь к стойке, где регистрировали рейс эмиратской авиакомпании на Дубаи, центральный транспортный узел Объединенных Арабских Эмиратов. Хумам поставил сумки на весы и попросил, чтобы их сразу отправили в конечный пункт, в качестве которого назвал Пешавар в Пакистане.

После этого Хумам обменялся рукопожатием с младшим братом, во взгляде которого читалось удивление пополам с тревогой.

Мне кажется, нам надо было сперва поговорить об этом с отцом, выговорил, наконец, Асад аль-Балави.

Нет, он не должен знать, прозвучало в ответ. *Ты обещаешь?*

Асад пообещал.

Мир тебе, сказал он.

И тебе тоже.

Хумам аль-Балави сунул билет и паспорт в карман, повернулся и стал подниматься по ступенькам к выходу на летное поле.

6. М*ишени*

Виргиния, Лэнгли – май–июнь 2009 г.

Всю весну невидимая армада американских спутников-шпионов отлаживала систему прослушки, задействовав для этого самую продвинутую в мире аппаратуру и объединив ее в сеть, накрывшую Северо-Западный Пакистан, один из самых отсталых регионов на земном шаре. Фото- и телекамеры вглядывались в каждый глинобитный домишко, в каждый сарай и козий хлев на пространстве, равном такой стране, как Пуэрто-Рико. Сотни компьютеров, сблоченных воедино, разбирались с разговорами по телефону, с информацией, выдернутой из каналов интернета, и с перехваченными радиосигналами; все это обрабатывалось в автоматическом режиме в поисках единственного слова или фразы, которая может нести в себе что-то тревожное или помочь с поимкой давно объявленного в розыск врага.

В мае от одной такой фразы, мелькнувшей в процессе рутинной телефонной прослушки, переводчик станции подслушивания АНБ в Форт-Миде (Мэриленд) аж на стуле подпрыгнул. В рапорте, который он незамедлительно передал своему супервайзеру, эта фраза была подчеркнута; потом этот рапорт пошел в ЦРУ на административный этаж, где лег на стол

Леона Панетты, третий месяц занимавшего директорское кресло.

Ядерные устройства.

Панетта несколько раз перечитал рапорт. Электронный жучок, встроенный в телефонный аппарат, висящий на столбе в районе обитания диких племен, который называется Южным Вазиристаном, передал разговор двух полевых командиров движения "Талибан". Они говорили о Байтулле Мехсуде – низкорослом головорезе-пуштуне, незадолго до этого принявшем командование самым крупным в Пакистане объединением группировок талибов. Жарко обсуждалось приобретение огромной важности – такое, которое наверняка даст Мехсуду возможность победить центральное пакистанское правительство и поднять на новую высоту свой статус, сделавшись джихадистом всемирного масштаба. Один из говоривших употребил пуштунское слово *этами*, означающее "атомный" или "ядерный". У Мехсуда есть *этами-устройства*, сказал он.

Когда переполох в Лэнгли улегся, в головы стал закрадываться скепсис. Не было ли это ошибкой перевода? Не сказки ли это? А может, и вовсе какая-нибудь военная хитрость? Некоторые из наиболее опытных специалистов открыто посмеивались. Ну кто такой этот Байтулла Мехсуд! Полуграмотный гангстер, к тому же хвастун. Его опыт обращения с бомбами ограничивается привязыванием нескольких фунтов самодельной взрывчатки к телу несчастного тинэйджера, который пойдет и взорвет базар. У Мехсуда просто нет средств на то, чтобы приобрести атомную бомбу, да и кто ему ее продаст. Таких дураков нет.

И все-таки ЦРУ распорядилось усилить надзор над горным приграничным районом, где базировался клан Мехсуда. Много дней продолжалось еще более внимательное прослушивание, но результатов не было, пока однажды вечером сеть не зацепила что-то большое и зловещее: тайное собрание членов Талибан-шуры (высшего совета "Талибана") с участием Мехсуда. Удалось даже подслушать, как эти мудрецы обсуждают серьезную этическую проблему, ребром вставшую перед их группировкой.

Мудрецы задавались вопросом, *как быть с новым оружием, появившимся у Байтуллы Мехсуда: допускают ли законы ислама его применение?*

Теперь все внимание секретных служб администрации Обамы сосредоточилось на небольшом клочке земли с несколькими домиками в Северо-Западном Пакистане. Талибы и до этого безжалостно убивали людей тысячами, в том числе женщин и детей, однако, прежде чем применить свои загадочные "устройства", даже они призадумались. Похоже, террори-

сты предпринимают экстренные шаги, пытаясь заручиться религиозным оправданием того, что собираются совершить.

Публично в Вашингтоне о новой угрозе не было сказано ни слова. Но находящиеся в подчинении у администрации Обамы правительственные службы, встав в боевую стойку, разом поднялись навстречу новому кризису. Министерство энергетики с его самолетами радиационной разведки, Пентагон, таможенно-пограничную службу, ответственную за порты и прочие рубежи, — всех подняли по боевой тревоге. В Лэнгли Панетта чуть не каждый день, сверкая темными глазами из-под очков в проволочной оправе, обходил свои подразделения антитеррора, требуя новых подробностей.

— О чем, черт побери, вообще речь? — вопрошал он. — Они там что — неужто грабанули ядерный склад собственной армии?

Из всех жутких сценариев, воплощение которых Панетта позволял себе вообразить, худшим, конечно же, был бы ядерный взрыв в каком-нибудь из городов США. Не так уж много в мире мест, где, по мнению специалистов ЦРУ, террористы гипотетически могут купить либо украсть ядерную бомбу или ее ключевые компоненты, но список таких мест как раз и начинается с обладающего ядерным оружием Пакистана. Тем не менее почти невозможно себе представить, чтобы мелкий налетчик вроде Байтуллы Мехсуда смог заполучить настоящую, работоспособную атомную бомбу.

В конце концов, Панетта с помощниками сошлись на более правдоподобном объяснении: пакистанский террорист приобрел так называемую *грязную бомбу*, которую иногда еще называют атомной бомбой для бедных. В грязной бомбе детонирует обычная химическая взрывчатка, разбрасывая во все стороны оболочку, в которую вложено убойное количество радиоактивных отходов — таких, например, как радиоактивный кобальт, применяемый для прижигания раковых опухолей и обеззараживания пищевых продуктов. Грязные бомбы куда менее разрушительны, чем настоящая атомная бомба, зато они дешевы, их легко изготовить и с их помощью можно изгадить радиацией обширные пространства. Одна грамотно сделанная бомба, взорванная где-нибудь в центре Манхэттена, может убить десятки и сотни людей, вызвать экономический хаос и сделать целые районы города непригодными к обитанию на месяцы, а то и на годы. Может быть, это и есть то *эта-ми-устройство*, которое талибы планируют пустить в дело?

Перед лицом потенциально серьезной угрозы администрация Обамы, которой всего-то и было тогда пять месяцев от роду, приготовилась к схватке. Начали с того, что послали в Пакистан правительственную делегацию с целью заручиться

поддержкой властей этой страны в деле обнаружения Байтуллы Мехсуда и его загадочных устройств. "В тревоге было высшее политическое руководство США, – сказал некий чиновник администрации президента, принимавший участие в совещаниях, на которых решали, какова должна быть реакция Белого дома. – В головах вертелось одно: свистать всех наверх, аврал!"

Та весна и так уже принесла много неприятностей, особенно Панетте, который в свои семьдесят лет иногда ловил себя на том, что с грустью вспоминает комфортабельную жизнь в почетной полуотставке, из которой его выдернул Обама, поставив во главе ЦРУ. Бывшего конгрессмена от Калифорнии рекомендовал на работу в разведке его давнишний приятель Рам Эмануэль, только что назначенный Обамой на должность главы администрации, однако вопрос о назначении Панетты вызвал споры. В прошлом контакты Панетты со шпионским ведомством ограничивались главным образом брифингами в Белом доме, которые он посещал в качестве руководителя аппарата администрации Клинтона, и даже стойкие приверженцы демократов в Сенате открыто сомневались, обладает ли он необходимым опытом, чтобы направлять работу самой мощной разведки в мире. Видя, как его кандидата чихвостят на Капитолийском холме, Обама во всеуслышание спросил Эмануэля, стоит ли это назначение той политической цены, которую он за него платит. "Вы уверены, что это правильный выбор?" – спросил он.

Эмануэль был за выбор спокоен. Панетта – искусный менеджер, он знает в Вашингтоне всех и обладает потрясающей политической сноровкой. Будучи человеком грубым и даже вульгарным, Панетта умел заразительно смеяться, когда надо демонстрируя природное обаяние мэра небольшого городка, и этим почти гарантированно внушал симпатию. Панетта будет защищать интересы администрации президента, заодно изыскивая способы побеждать в схватках с другими силовыми структурами, с дотошными бухгалтерами Счетной палаты, с Пентагоном и Конгрессом. "Вот увидите", – заверил президента Эмануэль.

Но от Панетты всё не отвязывались. Первым делом и республиканцы, и многие из руководства ЦРУ ополчились на него за то, что он высказывался против применения вотерборднинга. Потом, всего через два месяца после его прибытия в Лэнгли, он вызвал ярость уже демократов, когда воспротивился решению администрации опубликовать документы эпохи Буша, в которых посредством разного рода юридического крючкотворства оправдывалась эта пыточная практика. Гибкостью в вопросе о так называемых пыточных указах Буша

Панетта завоевал новых друзей в ЦРУ, но и противопоставил себя влиятельным чиновникам администрации, которой сам же теперь служит.

Единственное, чем Панетта мог гордиться, так это успехами ЦРУ в борьбе с "Аль-Каидой", достигнутыми благодаря тому, что новая администрация одобрила и даже дала согласие расширить ведущуюся Управлением кампанию ударов с воздуха по базам террористов в Пакистане вблизи афганской границы. Результаты этих ударов Панетта видел воочию, изучая материалы, ежедневно доставляемые ему разведкой. Впервые за многие годы лидеры "Аль-Каиды" даже в самых своих отдаленных убежищах почувствовали себя в смертельной опасности: перед ними замаячила перспектива внезапной смерти — над головами теперь непрестанно кружили роботопланы, днем и ночью наполняя небо механическим стрекотаньем и заставляя закаленных бойцов обмирать от страха в собственных постелях.

Но даже эти успехи дались Панетте не задаром. Сын итальянских иммигрантов, Панетта был крещен в католическую веру, он регулярно посещал мессу, и необходимость решать, жить кому-то или умереть — ведь люди же, хоть и подозреваются в терроризме, да и живут где-то за тридевять земель, — давила на него тяжким грузом. Его предшественник Майк Хейден предупреждал: "на этой работе вы будете принимать решения, которые вас же будут до глубины души удивлять". Так и вышло: в среднем раз в неделю Панетте приходилось давать добро на то, что было равнозначно смертному приговору для целой группы совершенно незнакомых ему людей на другом конце света. Новая система вооружения ЦРУ работает с потрясающей точностью, а ее возможности превосходят все то, о чем большинство людей может прочесть в газетах. Принадлежащие конторе "предаторы" способны попасть ракетой в окно движущегося автомобиля, могут ночью в узком переулке поразить мишень размером с суповую тарелку, не повредив зданий по обеим сторонам. Операторы роботоплана могут (и минимум однажды доказали это на деле) изменить траекторию ракеты на полпути, чтобы избежать удара по нечаянной цели, если таковая внезапно возникнет на ее пути. Согласно скрупулезно ведущемуся конторой подсчету жертв, с того момента как в должность вступил Панетта, ЦРУ своими снарядами непреднамеренно убило девять человек, что составляет в среднем одну случайную смерть на каждые сорок целенаправленно уничтоженных боевиков "Аль-Каиды" и "Талибана".

И все-таки приятели подшучивали над Панеттой — вернее, над тем, что в столь солидном возрасте он сделался главным киллером всея Америки.

— Твой духовник-то — кто он у тебя, небось, епископ? — знает, чем ты на работе занимаешься? — усмехнулся один из близких его друзей, когда Панетта что-то рассказал ему об этом аспекте своей деятельности. Но директор ЦРУ не склонен был по сему поводу зубоскалить.

— Я на это смотрю не столь легкомысленно, — последовал его ледяной ответ.

Тем не менее перед Панеттой изо дня в день, неделю за неделей вставал один и тот же выбор, и каждый раз он все сомнения и угрызения отбрасывал, считая, что посредством меньшего зла борется с большим. "Аль-Каида" и союзный с ней "Талибан" без зазрения совести, хладнокровно замышляют массовые убийства. И во всем мире только ЦРУ имеет как волю, так и средства остановить террористов, добираясь до них прямо в их горных убежищах.

Вот и тогда тоже, лишь третий месяц руководя ЦРУ, Панетта стоял перед тем же выбором — жить или умереть пакистанцу, который, как полагает ЦРУ, готовится взорвать "грязную бомбу". До той весны в Соединенных Штатах никогда не считали, что Байтулла Мехсуд так уж серьезно угрожает американцам; что ж, пришлось перенаправить всю неповоротливую машину разведки, заново раскидывать сеть — так, чтобы в нее попался именно он. В конце концов, Мехсуда обязательно найдут. И Панетта заранее знает, что́ сделает, когда это случится.

Одна из самых одаренных охотниц за террористами во всем Лэнгли (по крайней мере, из молодой поросли), придя на работу, переобулась, как всегда, в шлепанцы. На работе Элизабет Хэнсон обожала ходить в пляжных вьетнамках, даже глухой зимой. Шлепанье тапок в коридорах ЦРУ было для коллег такой же характерной ее чертой, как шикарная грива светлых волос с несколькими непокорными прядями, которые всячески сопротивлялись ее попыткам, разгладив их, добиться подчинения. Впрочем, под столом у нее всегда стояла пара модных туфель — на случай, если ее неожиданно пригласят на административный этаж потолковать об "Аль-Каиде": когда обстановка требовала, она с легкостью включала гламур. Но для нормальной работы Хэнсон считала более пригодной одежду, в которой можно чувствовать себя комфортно — джинсы, шлепанцы, — а иногда даже заплетала девчоночьи косички. Не надо забывать, что рабочий день у нее был не нормирован, а когда дела наваливались, частенько приходилось оставаться на ночь, и она сидела, терпеливо наблюдая за прямой телетрансляцией с камеры роботоплана

"предатор", выслеживающего очередную цель. Уже становилось ясно, что в июне поработать надо будет на совесть, повыше засучив рукава.

Пришлепала к себе в кабинку-выгородку и села за стол, отодвинув в сторону бумаги, чтобы высвободить место для стакана молочного коктейля, после чего включила компьютерный монитор и принялась перебирать поступившие утром секретные телеграммы из Пакистана и Афганистана. В группу старших наводчиков на цель, которых срочно бросили на поиски Байтуллы Мехсуда, вошла и Хэнсон, уже становящаяся местной знаменитостью, благодаря способности гарантированно отыскивать опасных врагов. В ее поле зрения попадали и более важные фигуры, чем этот Мехсуд, и некоторые из них с тех пор в списке живых не числятся.

Проходящие мимо сотрудники почтительно ее приветствовали, Хэнсон с улыбкой кивала. Несмотря на ранний час, в Центре антитеррора ЦРУ уже вовсю шла напряженная работа, стоял басовитый гул и жужжанье приборов, никогда, впрочем, не утихавшие. В этом месте отличие дня от ночи не ощущается, как не отличается там поздний час от раннего, а праздники и выходные текут как обычные будни. Просторный главный зал постоянно залит ярким люминесцентным светом, чем компенсируется отсутствие окон. (Вновь принятым на работу разъясняют, что во всяком отверстии, ведущем в окружающий мир, здесь видят угрозу секретности.) В зале множество крохотных кабинок с плоскими телевизионными мониторами, и под этот крольчатник отведен почти весь первый этаж нового элегантного здания штаб-квартиры, которое — по соображениям опять-таки секретности и безопасности — встроено прямо в склон горы. Сотрудники Центра антитеррора, зайдя в сверкающий стеклом и освещенный через крышу парадный вестибюль, уставленный статуями и увешанный точными моделями самолетов-разведчиков, попадают сразу на четвертый этаж, после чего спускаются на четыре уровня вниз, в бункер, откуда и ведется управление наиболее щекотливыми операциями ведомства.

Хэнсон в этом подземном мире выделялась, и не только необычностью обувки. Только-только разменявшая тридцатник, она была красива той недооцененной деревенской красотой, какой иногда наделяет природа девушку из простых, родившуюся на Среднем Западе. Но многие мужчины как раз таких и обожают, да и женщины отдают им должное. Товарищи по работе любили ее за непомерное чувство юмора: лукавый сарказм она сочетала с непристойными шуточками, подчас доходя в этом до неприкрытых глупостей. Могла бес-

конечно цитировать комедии вроде "Мальчишника в Вегасе" и заставляла соратников корчиться от смеха, уморительно пародируя персонажей мультфильмов про Бивиса и Батхеда. Самые обыденные разговоры, касающиеся работы, она умудрялась выворачивать наизнанку, обрамляя рискованными подначками ("Давай, мужик ты или нет, неужто не удовлетворишь девушку?" или "Ну, допросили тебя? Кажи зубы! Почему зубы на месте?"), а когда она хотела добиться какой-нибудь поблажки от начальника или коллеги, предваряла просьбу детским требованием: "Хочу лошадку!" В тесном кружке близких приятелей она была известна как Обезьянка — этим прозвищем еще в детстве ее наделили родители за восторженную любовь к пошитым из носков тряпичным куклам-обезьянкам, которые с годами прославились на всю Америку, но в те времена их делали (из светлых носков с черными пятками) только в ее родном городке Рокфорде (Иллинойс).

Игривостью Хэнсон прикрывала серьезнейшее отношение к основной своей работе в Центре антитеррора. Уже более двух лет она работала наводчицей на цель, то есть была обязана, сидя в своей крошечной выгородке общего зала, всеми имеющимися средствами обеспечивать сопровождение объявленных в розыск террористов. Она располагала собственным списком мишеней и допуском ко всем необработанным базам данных, поступающих от любой из внушительного набора систем наблюдения, находящихся в распоряжении ведомства. Подобно художнику, составляющему огромную мозаику, бит за битом она собирала информацию от подслушивания телефонных линий и перехвата звонков по мобильникам, вычленяла ее из видеозаписей камер наблюдения и из донесений, предоставляемых осведомителями, не гнушалась даже выпусками новостей, потом замешивала все это на собственных соображениях и домыслах и получала то, что здесь называется "профиль" — что-то вроде портрета или описания, по которому агенты на местности, операторы дронов и оперативники, работающие под прикрытием, смогут на практике опознать цель. А не так давно Хэнсон поставили руководить целой группой таких наводчиков, и теперь она сводила воедино усилия многих людей, работающих над розыском крупных террористов. Часто она часами контролировала непрерывное сопровождение очередной такой мишени, после чего ее обязанностью было позвонить лично директору ЦРУ, чтобы испросить "добро" на запуск, к примеру, одной из ракет "хеллфайр". Хэнсон помогла выследить нескольких крупнейших лидеров "Аль-Каиды", в том числе Усаму аль-Кини — того самого, которого ЦРУ ликвидировало бомбой на Новый год. Деталь-

ное знание пакистанской террористической сети делало ее советы неоценимыми и в тех случаях, когда сотрудники Управления садились на хвост террористам помельче, — эти ведь тоже зачастую оказывались опасными пособниками "Аль-Каиды". В числе последних был осторожнейший пуштунский полевой командир и давнишний союзник Усамы бен Ладена Джалалуддин Хаккани, чьи подчиненные совершили нападение на солдат армии США в районе восточно-афганского города Хост, а уже совсем недавно — лидеры пакистанской объединенной группировки "Техрик-и-Талибан"[1], возглавляемой Байтуллой Мехсудом.

— Ее карьера шла вверх по крутой траектории, как ракета! — сказал один сотрудник ЦРУ, работавший в Центре антитеррора бок о бок с Элизабет Хэнсон. — С ее помощью мы выводили плохих людей из дела. Навсегда. Так их прижали, что им стало трудновато спрятаться даже на Территории племен.

Некоторые коллеги сравнивали Хэнсон с Дженнифер Мэтьюс, еще одной известной в ведомстве женщиной, тоже работавшей когда-то наводчицей на цель и дослужившейся до высоких постов. Какое-то (короткое, правда) время они работали вместе и даже дружили, но потом их пути разошлись. Когда в конце 80-х на службу поступила Мэтьюс, ЦРУ во многом было другим, женщин в конторе было все еще сравнительно мало, бушевала холодная война, и почти вся шпионская романтика целиком оставалась в ведении оперативников-мужчин, назначавших осведомителям тайные встречи в убогих барах Вены и Будапешта. А Хэнсон, наоборот, принадлежала к когорте новых сотрудников, набранных на службу после событий 11 сентября. Кое-кто из них называет себя "поколением виндоуз": молодые, высокообразованные и убежденные во всемогуществе управляемой ими техники. Оперативники и осведомители будут нужны всегда, но после 11 сентября уже не они правят бал.

— Теперь главное — как соединять точки, — сказал другой сотрудник. — Интерпретация и интерполяция — вот задачи. Проблема в том, чтобы одновременно ориентироваться во множестве информационных полей, сопоставляя мириады данных из разных источников. Как состыковать одно с другим, чтобы раскрыть вражеский план или чтобы найти главаря, который думает, что спрятался.

1. "Техрик-и-Талибан Пакистан" — мусульманская суннитская организация, официально отколовшаяся от "Талибана" 14 декабря 2007 г. Поддерживает тесные связи с "Аль-Каидой"; в отличие от других групп джихадистов в Пакистане, ставит целью свержение светской власти, и поэтому правительство Пакистана считает ТТП одним из своих главных врагов.

А еще теперь на переднем плане твердость характера. Товарищи вспоминают, как напугала их однажды Хэнсон, которой тогда было двадцать девять, ввязавшись в жаркий спор о потенциальной мишени с армейским полковником. Когда этот военный, старший офицер, попытался отмахнуться от молоденькой наводчицы, Хэнсон набычилась и изрекла:

— Мое целеуказание безошибочно, сэр. Так что либо берите цель вы, либо мы сами справимся!

Весна катилась в лето, а Элизабет Хэнсон готовилась к переводу в Афганистан, в Кабул, к первой в ее жизни работе на ЦРУ в горячей точке. Но перед отбытием ей предстояло еще навести перекрестие прицела на неуловимого и вдруг ставшего особо опасным Байтуллу Мехсуда.

Утром 22 июня Джеймс Логан Джонс, генерал морской пехоты в отставке и советник по национальной безопасности в администрации Обамы, отправился в столицу Пакистана Исламабад для неотложных встреч с гражданским и военным руководством страны. В пресс-релизах эти встречи описывались как обычные консультации по вопросам стратегии Вашингтона в Афганистане. На самом деле, главной темой повестки дня был Мехсуд и его "устройства".

Пакистанские официальные лица непреклонно стояли на том, что ядерный боезапас страны защищен надежно, но некоторой отличной от нуля вероятности появления у "Талибана" грязной бомбы не отрицали. Однако и в этом случае, как они считали, правительство президента Азифа Али Зардари должно быть обеспокоено намерениями Мехсуда куда больше американцев. Если в ближайшие недели и возможен взрыв "грязной бомбы" в каком-либо из крупнейших городов мира, то удару куда скорее подвергнется Пешавар или Карачи, нежели Нью-Йорк или Лондон.

Исламабад во всем этом радовало только то, что администрация Обамы вдруг проявила интерес к Байтулле Мехсуду. Над этим предводителем талибов уже висело официальное обвинение в убийстве 27 декабря 2007 года бывшего премьер-министра страны Беназир Бхутто, через пару месяцев после совершения которого он объявил правительству Пакистана войну. Мехсуд посылал смертников взрывать армейские казармы и полицейские посты, а прославился тем, что захваченным в плен солдатам-новобранцам собственноручно отрезал головы. Пакистанские генералы уже и так готовились к эскалации военных действий против укрепившегося в горах "Талибана"; в деревнях вдоль границы с Афганистаном давно шли кровопролитные стычки. А ЦРУ со своими беспилотными роботоплана-

ми (к которым в Пакистане, вообще-то говоря, относятся очень по-разному) не оказывало практически никакой помощи. В США давно поняли, что клан Мехсуда представляет собой проблему главным образом для своих, для пакистанцев, и совершенно не горели желанием будить очередную спящую собаку — становиться объектом мщения еще одной военной группировки, которая запросто может пересечь границу Афганистана и напасть на войска США.

Но известие о "грязной бомбе" все изменило. В администрации Обамы принялись негласно обсуждать проблему устранения Мехсуда, а пакистанские власти на сей раз как никогда искренне поддержали идею нанесения американцами удара с воздуха по их территории. "Остановите его", — обратившись к одному из членов делегации Джонса, взмолился некий представитель пакистанских органов безопасности.

Тем временем в Лэнгли усилия поисковиков и наводчиков на цель группы Элизабет Хэнсон начали приносить плоды: ежедневные телеграммы из Кабула и Исламабада все чаще несли вести о передвижениях близких к Мехсуду главарей "Талибана". В ЦРУ выдвинули новую гипотезу: а не связано ли происхождение загадочных устройств, появившихся у талибов, с тем, что какие-то приготовления "Аль-Каиды" сорваны ударами неумолимых "предаторов", и остатки рухнувшего проекта прибрали к рукам талибы. Когда-то сделать "грязную бомбу" грозился Халид Хабиб, один из взрывников "Аль-Каиды", но его планам положили конец в октябре 2008-го, когда в его автомобиль, ехавший по шоссе в Северо-Западном Пакистане, угодила ракета. Ближайшим союзником Хабиба и, предположительно, наследником, к которому перешло все его бомбовое производство, был Усама аль-Кини, тот самый главарь "Аль-Каиды", которого убили бомбой, сброшенной с "предатора" в новогодний праздник. Но, может быть, "Аль-Каида" передала теперь фабрику, где делают "грязную бомбу", Байтулле Мехсуду?

В ЦРУ давно обеспокоились крепнущими связями "Аль-Каиды" с пакистанской слабо оформленной конфедерацией разного рода боевых групп, и теперь команда Хэнсон занималась поиском живых тому примеров. Предоставленные самим себе местные экстремистские группы в большинстве своем соперничают друг с другом, регулярно сходясь в кровавых междоусобных битвах. Однако в последнее время, теснимые пакистанскими регулярными войсками с юга, к тому же находясь под постоянной угрозой гибели от ракет и бомб ЦРУ, боевики сделались сговорчивее и начали между собой сотрудничать, в результате чего могут стать еще во сто крат опаснее.

В конце июня Хэнсон занималась главным образом тем, что проглядывала секретные телеграммы в поисках имен помощников Мехсуда, как вдруг кто-то из осведомителей-пакистанцев донес, что на родине Мехсуда, где-то поблизости от его родового гнезда в городке Макине (Южный Вазиристан), имело место подозрительное сборище, куда явились обсуждать стратегию джихадисты самого разного толка. В списке гостей, состоявшем из одиннадцати фамилий, кроме самого Байтуллы Мехсуда упоминался высокопоставленный эмиссар "Аль-Каиды" Абу Яхья аль-Либи наряду с Сираджуддином Хаккани (сыном Джалалуддина), харизматичным молодым командиром, с недавних пор контролирующим мощную сеть, созданную Хаккани-отцом. Предполагаемой целью собрания было убедить Мехсуда пойти на временное соглашение с Пакистаном; как оба Хаккани, так и главари "Аль-Каиды", наблюдая продвижение пакистанской армии по Южному Вазиристану, встревожились: следующей могут прибрать к рукам и их территорию.

Хэнсон сделала кое-какие беглые выписки и, откинувшись в кресле, стала думать.

Представители "Аль-Каиды" бок о бок с обоими Хаккани сидят в гостях у Мехсуда, попивают чаек и обсуждают стратегию. Эти группы не первый год поддерживают между собой неформальные контакты. Но это уже нечто большее.

23 июня, когда Джеймс Логан Джонс завершал свои консультации в Исламабаде, ЦРУ нащупало брешь в тайне местонахождения Байтуллы и нового оружия, которое у него, к всеобщему ужасу, якобы где-то припрятано. В местах, контролируемых "Талибаном", засекли одного из мехсудовских командиров среднего звена и нанесли по нему удар. Быстро разработали план: ударить по Мехсуду, когда он появится на похоронах своего подручного. Правда, развитие событий неожиданно показало, что этот командир, некий Хваз Вали Мехсуд, доверенный помощник главы клана, скорее жив, чем мертв. Но жить ему оставалось недолго.

Перед рассветом 23 июня над Латакой, маленькой горной деревушкой на территории талибов в сорока милях к северо-востоку от Ваны (столицы Южного Вазиристана), кружил и кружил одинокий дрон. Внезапно две выпущенные им ракеты прорезали сырой предрассветный воздух и, обгоняя звуковые волны собственного свиста, устремились вперед, всеми сенсорами вцепившись в сложенное из саманных блоков строение на краю деревни. Сторонний наблюдатель мог бы увидеть только неяркую вспышку, вслед за которой дом словно раздулся изнутри и лопнул, взлетев на воздух тучей камней, пыли и

дыма. Перебравшись через рухнувшие стены, в нагромождении обгорелой мебели и тюфяков соседи обнаружили изуродованные тела пяти рядовых боевиков-талибов и их предводителя Хваза Вали Мехсуда.

Это был значительный успех, но, по мысли руководителей ЦРУ, ему предстояло стать прелюдией гораздо более крупной победы.

Племя Мехсуда, наряду с другими пуштунскими племенами обитающее на землях, тянущихся вдоль афгано-пакистанской границы, придает огромное значение похоронам, которые для них в социальном смысле зачастую важнее свадеб. Уход в мир иной выдающегося соплеменника требует, чтобы почтение к покойному выказали не только его родственники, но подчас и огромные толпы скорбящих. Все собираются вокруг тела, плачут и нараспев читают молитвы. После этого старейшины деревни — "спинжираи" (белобородые, как их именуют на местном наречии) — и другие уважаемые граждане выстраиваются колонной и провожают обернутое саваном тело на кладбище.

Когда в крошечной Латаке дым рассеялся, наблюдатели из шпионского ведомства удвоили внимание, глядя и слушая, как в деревню стекаются представители местной знати, чтобы достать тела из развалин и организовать торопливые похороны. Имена прибывающих выясняли посредством телефонного перехвата, и — о радость! — среди гостей оказался Кари Хуссейн Мехсуд, главный подручный и вероятный наследник Байтуллы. Кари Хуссейн был в клане Мехсуда одним из самых идейных, этот человек люто ненавидел светское правительство Пакистана и мечтал об упрочении альянса между пакистанским "Талибаном" и другими джихадистскими движениями. Он был основателем лагерей, где из маленьких мальчиков воспитывают шахидов, бомбистов-смертников; его питомцы уже провели несколько кровавых терактов в Пакистане и Афганистане.

Второе громкое имя в списке гостей произвело фурор: сюда пришел сам мулла Сангин Задран, ответственный за военные операции сети отца и сына Хаккани. За голову Сангина, первого заместителя Сираджуддина Хаккани, уже была назначена награда. В Афганистане Пентагон дважды производил воздушные удары, целясь персонально по нему, но оба раза ему удавалось уцелеть. Нынешнее его присутствие на похоронах одного из соплеменников Мехсуда подтверждало опасения американцев, что союз между кланом Мехсуда и группировкой Хаккани упрочняется, а это, между прочим, на руку "Аль-Каиде".

У пуштунов принято провожать покойного в последний путь в тот же день, когда он скончался, поэтому ЦРУ немедленно распорядилось, чтобы все дроны слетелись в район Макина, ближайшего к Латаке городка, потому что именно там находится кладбище, где, скорее всего, будут хоронить Хваза Вали Мехсуда. Чины ЦРУ в Хосте и Лэнгли уставились в плоские экраны, наблюдая за тем, как подъезжают автомобили, как собираются скорбящие – мужчины в длинных рубахах и женщины в барках[1] и чадрах. Они смотрели, как завернутое в саван тело несут по улицам, как присутствующие произносят над могилой молитвы. И слушали, как совершающий обряд мулла предупреждает народ, чтоб побыстрее расходились, потому что в воздухе слышен гул и стрекотанье – это летят *маччаи*, то есть пчелы (так по-пуштунски именуются беспилотные летательные аппараты), и они все ближе!

Последовать совету успели немногие. Тридцатипятилетний Мухаммад Саид Хан едва успел выйти из толпы, как почти одновременно грохнули два взрыва.

"Сразу воцарился хаос – ничего не видно, сплошная пыль и дым, – лежа на больничной койке, рассказывал потом Саид Хан пакистанскому журналисту. – Кричат раненые, зовут на помощь... Прошла минута, и тут рвануло в третий раз, я упал и больше ничего не помню".

В пакистанских выпусках новостей поначалу упоминались двое: передали, что под бомбежкой погибли Кари Хуссейн Мехсуд и Сангин Задран, полевой командир, подчиненный Хаккани, но в ЦРУ напряженно ждали, когда же прозвучит имя Байтуллы Мехсуда – он-то убит уже или нет?

Прежде чем стало известно истинное положение вещей, прошло два дня. Оказалось, что оба – и Кари Хуссейн Мехсуд, и Сангин Задран – бомбежку благополучно пережили, о чем сами и рассказали в своих радостных интервью местному радио.

Что же до Байтуллы Мехсуда, то он, если и приходил на похороны, успел ускользнуть до того, как с дрона пустили ракеты.

Окончание следует

1. В Пакистане барка (бурка) – женская верхняя одежда, полностью скрывающая тело. (Ошибка автора: законы шариата запрещают мужчинам и женщинам вместе собираться над усопшим, кричать, рыдать и т. п.)

Ласло Краснахоркаи

“Если и есть язык, на который стоит меня переводить, так это русский”

Запись беседы, перевод с венгерского и вступление
Оксаны Якименко

Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в городе Дюла, учился на юриста в 1974—1976 годах, затем в 1983 году поступил на факультет народного просвещения Будапештского университета имени Лоранда Этвеша. С 1977-го по 1982 год работал в издательстве “Гондолат”. В 1985 году в издательстве “Магветё” вышел первый роман Ласло Краснахоркаи “Сатанинское танго”, принесший ему европейскую известность.

Произведения Краснахоркаи стали отправной точкой для нескольких фильмов одного из крупнейших современных венгерских режиссеров — Белы Тарра (“Проклятие”, “Последний корабль”, “Сатанинское танго”, “Гармонии Веркмайстера” и “Туринская лошадь”). Речь идет именно об импульсе — это может быть небольшой текст, всего абзац, как в “Туринской лошади”, или отдельный эпизод, как в случае с “Гармониями”, где режиссер использовал кусок романа “Меланхолия сопротивления”.

© Оксана Якименко. Перевод, вступление, 2013

Писатель много путешествовал по Азии (Монголия, Китай, Япония), проехал на грузовике по побережью Атлантики, с 1992-го по 1998 год, собирая материал для романа "Война и война", побывал в США и странах Западной Европы.

Прозу Краснахоркаи сложно отнести к какому-либо литературному направлению или группе; стиль его письма радикально отличается от привычных канонов венгерской литературы. Если Бела Тарр, по его собственному признанию, постоянно существует в пространстве кино, то Ласло Краснахоркаи живет в пространстве бесконечного текста. В его романах повествование, как правило, представляет собой направляемый автором поток сознания героев. Важные повороты сюжета "встраиваются" в текст через реакции персонажей. Читатель попадает в тексты Краснахоркаи сразу, без подготовки, но довольно быстро начинает в них ориентироваться, благодаря подсказкам автора. При этом писатель всегда топографически подробно описывает окружающее героев пространство и создает совершенно осязаемый мир. Главные в этом мире — "униженные и оскорбленные". По собственному признанию Краснахоркаи, именно среди маргиналов (вольных или невольных) он всегда наблюдал проявления истинной человечности, зачастую недоступные в "приличном обществе".

Главная особенность произведений Краснахоркаи состоит в их поразительной ритмичности: читатель, словно зачарованный, следует за бесконечным потоком слов. Если текст "не пошел" сразу, есть смысл вчитаться в него еще и еще раз, попробовать отдаться на волю автора, чтобы постепенно войти в неприветливый, монохромный, но, в то же время, по-настоящему человеческий мир.

Романы и эссе Краснахоркаи переведены на все основные европейские языки. Писатель очень ревностно относится к переводам своих текстов, заставляет переводчиков читать переводы вслух, чтобы оценить, есть ли в тексте ритм — пусть отличный от оригинального, но столь же захватывающий и способный увлечь читателя. Странным образом, писатель, считающий одним из своих главных учителей Достоевского и страстно любящий русскую литературу, не обрел пока широкой аудитории в России. Будем надеяться, это лишь вопрос времени.

Ласло Краснахоркаи согласился встретиться и поговорить с одним условием: я не буду его спрашивать про фильмы Белы Тарра и "Туринскую лошадь".

(Сам фильм Тарра, снятый по оригинальному сценарию Ласло Краснахоркаи, на момент интервью посмотреть в Венгрии было невозможно. Многие связывают это с критикой Тарра в адрес венгерского руководства, прозвучавшей в Берлине. Позднее фильм, конечно, вышел на венгерские экраны.)

Беседа проходила в полном соответствии с методом, который писатель избрал для создания своих произведений: ответ на первый же вопрос превратился в одно длинное ритмичное высказывание. Вставлять

вопросы, которые и вопросами-то сложно назвать, так, реплики слушающего, кажется мне неразумным. Но одна отправная точка все-таки была.

Оксана Якименко. У меня есть хорошая новость, я не буду вас спрашивать про фильм, потому что посмотреть его в Будапеште в кино невозможно. Думала: приеду — сразу во всех кинотеатрах будет "Туринская лошадь", но увы. Даже афиши кое-где есть, а сам фильм не идет. Так что начнем с вопроса: почему вас не переводят на русский язык?

Ласло Краснахоркаи. Это вы у меня спрашиваете? Для меня это болезненная тема. Я всегда думал: если и есть язык, на который стоит меня переводить, так это русский. Если бы не русская литература, я бы никогда не начал писать. Кроме Кафки, главными, кто меня подтолкнул к этому занятию, были Толстой и Достоевский. Не будь их, мне бы и в голову не пришло стать писателем. Свой первый роман "Сатанинское танго" я написал под сильным воздействием обоих. На меня — подростка — особенно глубокое впечатление произвел Достоевский и, во вторую очередь, Толстой. Под их влиянием прошли мои молодые годы. Когда я, мальчик из приличной буржуазной семьи, в бунтарском порыве, как это свойственно подросткам, покинул отчий дом, я хотел, как истинный поклонник Достоевского, опуститься на самое дно жизни — при социализме был такой "низший слой", где все происходило честно. Мне хотелось пожить там, где нет чванства, но есть искренность, человеческое начало. Тогда еще существовало пространство в самом низу, на задворках общества, где люди при абсолютной нищете сохраняли человеческое достоинство, проявляли солидарность и поддержку, чтобы ближний не выпал из жизни окончательно. Там, в самом низу, было то, чего сегодня даже среди нищих не найдешь. Я работал на животноводческой ферме — был подсобным рабочим в коровнике. Даже на ферме есть какой-то заведующий, есть его заместители, есть животноводы, а есть подсобные рабочие — вот среди них я и жил; работал в поле, чем только не занимался. Мне было тогда девятнадцать. Я год отслужил в армии — ушел туда из университета, а потом пошел по Венгрии: жил с этими людьми, получал такие же деньги, что и они, как они пил и ел. В университете, на юридическом факультете, я продержался недолго — несколько пар отсидел и понял, что достаточно. Никогда не

хотел быть юристом, как отец. Меня никто не принуждал идти на юридический, но надо было вырваться из дома.

О. Я. И вот так ходили-ходили по Венгрии, а потом — раз, и писатель. Так просто?

Л. К. У меня всегда все было не просто. В какой-то момент я осел в Будапеште, устроился на работу мелким служащим в одно издательство, бумажки перекладывать, чтобы не привлекли за тунеядство и в тюрьму не посадили — у нас, как и у вас, нельзя было нигде не работать — и чтобы в армию опять не забрали. Потом потихоньку стал заниматься в университете. Хотел на филологический, но там надо было готовиться сразу по двум специализациям, поэтому пошел на отделение народного просвещения — тогда это воспринималось с иронией, а сейчас кажется очень даже разумным. У нас преподавали классическую филологию, психологию, формальную логику, социологию, философию (марксистскую, естественно) — приходили замечательные преподаватели с других факультетов, которые хотели подработать. В поисках философии я потом стал ходить на теологический факультет. Потом в жизни случился перелом: в 1983 году сгорел дом, который я купил со своей первой женой. Это был первый в моей жизни собственный дом — мазанка в одну комнату, зато не съемное жилье. Мы его потом восстановили с большим трудом, но в нем сгорело все, немногочисленные книги, которые у меня были, все дотла. Потрясение было сильное. Я до сих пор боюсь огня, вздрагиваю, даже если рядом кто-то чиркает спичкой. Единственный журнал, который брал мои тексты тогда, был "Мозго вилаг"[1]. И еще я сблизился с одним писателем, оказавшим на меня сильное влияние, не в литературном смысле, а в человеческом, — с Миклошем Месёи[2]. Можно сказать, что он меня тогда спас. Я был в глубокой депрессии, думал, что все кончено, дело шло к самоубийству — и подобные мысли возникали у меня не в первый раз. Месёи сказал мне: "Это путь вниз, депрессия тебя убьет". Я был тогда очень худой и тихий. Быть частью литературной жизни не хотел (и сейчас не стремлюсь расталкивать всех локтями и крутиться шестеренкой в литературной машине). И вот в 1987 году Месёи с огромным тру-

1. Журнал "Мозго вилаг" ("Мир в движении") — с 1971 по 1983 гг. выходил как полуразрешенный молодежный альманах, периодически распространялся как самиздат. С 1983 г. существует как полноценный печатный орган. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Миклош Мёсеи (1921—2001) — венгерский прозаик, поэт, драматург, эссеист, один из ведущих авторов второй половины XX века, тоже, к сожалению, мало известный русскому читателю.

дом выбил для меня, как для молодого писателя, стипендию в Западный Берлин. В конце восьмидесятых Берлин был пристанищем раненых душ. Он притягивал тех, кто не хотел, по тем или иным причинам, участвовать в общественной жизни или не находил в ней себе места. В Берлине жили мало кому тогда известные Джим Джармуш, Том Уэйтс. Общение с этим миром потерянных оказало на меня колоссальное влияние. И потом я впервые, в возрасте двадцати девяти лет, покинул пределы советского мира. Мне повезло: даже издательство "Ровольт", которое мною заинтересовалось, оказалось гуманным, лишенным "прелестей" развитого капитализма, благосклонное к израненным душам. Именно в этом издательстве вышел на немецком языке роман "Сатанинское танго". Это поменяло мою жизнь и сделало известным писателем. Но быть им я не хотел. Сначала думал: напишу одну книгу — и все. Но ее стали переводить на разные языки. Странно: мои произведения с удовольствием читают немцы, чехи, испанцы, но они не понимают, что́ я хочу сказать, а вот русские могли бы понять, но не читают. Роман "Сатанинское танго" был воспринят как антикоммунистическая книга, но я никогда политикой не занимался и вовсе не это имел в виду. Я из первого поколения тех, кто уже не боялся. Моего отца никто не расстреливал, самого меня не били, не гноили в тюрьмах. Так, изредка вызывали "побеседовать", но ничего особенного там не происходило. Только один раз я по-настоящему сцепился с человеком в форме. Заявил, мол, ничего вашему грязному режиму писать не буду. Единственный раз дошло до крика, хотя реакция с его стороны мне понятна. В 88-м я вернулся в другую страну. Надо было решать, хочу ли я заниматься тем, чем занимались все остальные. Важные для меня люди — в первую очередь писатели, — постепенно уходили из жизни: Иван Манди, Петер Хайноци, Янош Пилинский. Хайноци был младше остальных, но невыносимое внутреннее напряжение он снимал беспробудным пьянством и сгорел — как ваш Высоцкий. Я уже говорил, что никогда не был частью литературной жизни. А к тем, кем я по-настоящему восхищался — Пилинскому, Вёрешу, — подойти не смел. Я не стремился ни к чьему обществу. Писал я не дома: сидел где-нибудь в кабаке, пил — тогда я много пил — и складывал в уме фразы от начала до конца, а потом приходил и записывал. Раньше я мог держать в голове целые главы — по 15-20 страниц. У меня очень большой объем памяти. Похоже, это свойственно многим писателям и особенно поэтам. Поэтому в моих первых книгах каждая глава — одно длинное предложение со

своей выверенной ритмической структурой. В нем нет точек — ведь, если прислушаться к живой речи, мы говорим без точек. Я мыслю некими единицами, схожими по форме с музыкальными фразами. Правда, в последних книгах я стал чаще прибегать к коротким фразам. Вообще, у меня отсутствует нарратив как таковой. Как правило, герои говорят об одном и том же, но с разных точек зрения.

О. Я. Как у Лоренса Даррела?

Л. К. Не совсем, но похоже. Скорее ближе к поэтической форме. Это энергия, взятая из живой речи и получившая ритмическую форму. Важно, чтобы каждое слово было на месте. Мой английский переводчик рассказывал, что начинает работу над моими текстами с того, что много раз подряд читает вслух начало текста, чтобы войти в ритм, — до тех пор, пока у него в голове не возникает аналогичная ритмическая структура на английском языке. Подобным образом работают и мои переводчики на другие языки. Причем каждый раз получается совершенно иной текст, ведь абсолютная трансплантация в другой язык невозможна. Но вернемся к возвращению. В Венгрии 1988 года все занимались политикой. Люди одурели от свободы. Все верили в Горбачева, верили, что он все изменит, и он в итоге все изменил. Этот привкус свободы я до сих пор ощущаю на языке. Но я не понимал, как могли писатели, хорошие писатели, проницательные люди, вдруг подумать, будто после эпохи Яноша Кадара может сразу наступить демократия. Ведь новых-то людей не появилось. Как те, кто шли на компромисс с режимом — а на компромисс, так или иначе, шли все, или почти все, — смогут вдруг переродиться? Как из трусливых созданий вдруг вылупятся ангелоподобные, исполненные демократии существа? Жаль, что я оказался прав. Все это обернулось иллюзией. Особенно это неприятно сознавать сейчас. Не могу избавиться от этого ощущения. Теперь на меня стали нападать местные нацисты — особенно после того как я в Польше, в ответ на вопрос, что значит быть венгром, сказал, что это просто географический факт: человек рождается на какой-то конкретной территории, где говорят на каком-то конкретном языке, и гордиться тут нечем. Так меня на родине обещали камнями закидать. В этом смысле мне близка позиция Кафки, который говорил: “Я здесь родился, и у этого есть серьезные последствия”. Зачем-то было нужно, чтобы я здесь родился, но кичиться этим — все равно что гордиться самим фактом своего существования. В Венгрии это все воспринимается болезненно, но никого не интересует, что есть люди — их немного, — которые почему-то любят Венгрию

просто так, бескорыстно, и даже если они ее критикуют, то делают это из привязанности. Я невольно напрягаюсь, когда соотечественники говорят, что любят родину. Венгр может любить, скажем, Новую Зеландию за красоту ее природы, но сами жители Новой Зеландии будут сокрушаться, что собственных достижений у них нет, а коренное население, маори, было практически уничтожено. Но гораздо больше меня занимают совсем другие вопросы. Скажем, Кантор[1] — немецкий математик, выходец из России. Без его модели невозможно себе представить современную математику. Он был человек сверхчувствительный, параноик (как это часто бывает у математиков), склонный к метафизике. В нем странным образом сочеталась ортодоксальность и стремление расширить границы познания. Он хотел рациональным путем доказать, что Бог существует. В философском смысле Кантор открыл совершенно новое пространство. И Кафку, жившего в XX веке, и Кантора, представителя XIX века, — обоих волновали проблемы метафизические. В Венгрии сейчас многие писатели активно участвуют в политической жизни, я уважаю их выбор, но сам политикой не занимаюсь. Если снять с будапештских улиц все рекламные плакаты — перед нами предстанет город, почти не изменившийся за последние десятилетия. Вполне возможно, что у вас в России это не так, но в Венгрии стоит отъехать вглубь, в альфёльдские деревни, и сразу станет ясно, что все новое — это лишь фасад. Люди сами по себе изменились не сильно. Может, погрубели только, стали менее восприимчивыми. Им теперь нужны все более и более сильные импульсы, чтобы ощутить движение жизни. Люди теряют дни, не ощущают мгновений, думают только о следующем дне, не видя сегодняшнего, а прошлое — оно ведь все равно остается непознанным. Знаем ли мы, к примеру, как рассуждали о Великой французской революции те, кто жил в 1904 году, или как воспринимали итоги Трианона в 1944-м? Мы ничего не знаем о прошлом, оно меняется вместе с нами. Настоящего нет, будущего еще нет, а прошлое все время меняется вместе с нами. Люди судорожно хватают ртом воздух, задыхаясь от его нехватки. При диктатуре время длилось иначе: казалось, будто все на века. Это была дурная бесконечность, но мы чувствовали ее, могли понять.

1. Георг Кантор (1845–1918) — выдающийся немецкий математик и философ, разработал основы теории множеств, оказавшей большое влияние на развитие математики.

Кстати, то, что меня не переводят на русский, это, может, и хорошо. Живя в Берлине, я познакомился с русским писателем Сорокиным, и он у меня допытывался, почему нет русских переводов моих книг. А я считаю, пусть у русских людей будет иллюзия, будто есть такой хороший венгерский писатель, но надежда прочесть его в переводе так и останется надеждой[1].

Ко мне по-разному относятся в разных странах. Поляки, скажем, воспринимают мои тексты как литературу из прошлого, когда еще была большая литература мессианско-метафизического характера. На мессианство я особо не претендую, но метафизика меня волнует больше, нежели все остальное. В своих книгах мне хочется представить различные мировоззрения, и не все они метафизичны. Скажем, Эстерне из "Меланхолии сопротивления" совсем далека от метафизики. Посмотрите на людей в этом баре: они непохожи друг на друга, и в жизни для них разные вещи являются главными. Как писатель я должен учесть всех. Кто-то о "ягуаре" мечтает, и встреча с Богом нужна ему лишь для воплощения этой мечты. А кому-то все равно, есть у него "форд" последней модели или нет. В романе все эти люди получают свой голос. И у меня глаз так устроен, что я все вижу и чувствую, иначе бы я не был писателем. Когда я рос, прикоснуться к этим по-настоящему важным вещам можно было только через русскую литературу. Остальные источники были запрещены. Я уже говорил про интерес к философии, которая в годы моего студенчества была доступна только в марксистском варианте. Хотя и это неплохо. Сейчас настоящих левых, к сожалению, больше нет. Нет тех, кто бы понимал Маркса. Что бы о нем ни говорили, мало кто может сравниться с ним в анализе исторических процессов. Маркс обладал уникальной прозорливостью, сейчас, по прошествии двадцати лет, уже можно об этом здраво судить, и камнями не забросают. Возвращаясь к Достоевскому, я ведь читал его в переводах, а это значит, знал совсем другого Достоевского. Как в истории с новым немецким переводом Достоевского Светланы Гайер[2] — я ее знал. Она говорила: "Вы не представляете, каков Достоевский на самом де-

1. Совершенно не согласна — "Меланхолия сопротивления" или "Война и война" так и просятся на русский, но для работы с текстами Краснахоркаи, как читатель уже догадался, необходимо войти в определенное состояние, к тому же, в отличие от многих других писателей, он никогда не "навязывается" переводчикам и не пытается привлечь иностранных издателей — и те и другие рано или поздно к нему приходят сами.
2. Светлана Гайер (1923–2010) — один из самых известных переводчиков русской литературы на немецкий язык, героиня документального фильма "Женщина с пятью слонами" (2009, режиссер Вадим Ендрейко).

ле". А немцы, как мы, венгры, привыкли к сглаженным, высокопарным переводам Достоевского. Мы и подумать не могли, что у него могут быть какие-то стилистические шероховатости. Когда же Гайер перевела на немецкий всю эту его расхлябанность, на нее стали нападать, мол, не может быть Достоевский таким небрежным. Так же и с Прустом. В юности я прочел первые два тома в переводе Альберта Дёрдяи, других не было, а потом, когда взялся за остальные в оригинале, понял, что читал совсем другого Пруста. Но мне так хотелось его прочесть, что я постепенно, вчитываясь в текст, выучил французский. Та же история с Фолкнером. В венгерском варианте он получился слишком пафосным, хотя английский язык вообще пафоса не допускает. Получается, что Фолкнера не любят в Венгрии из-за преувеличенной патетики его переводов. Мои тексты тоже меняются от языка к языку. На испанском языке (спасибо Карпентьеру!) получаются такие замысловатые барочные предложения, что не очень похоже на меня, но, когда читают испанский перевод моей книги вслух, получается хорошо. Вообще, самое важное в искусстве — ничем не обусловленный момент узнавания, которому ничто не предшествует, но сердце сжимается. Без него литература невозможна. И этот момент всегда сопряжен со страданием. Как у ученых, когда они бьются над решением какой-то задачи — и вдруг приходит озарение. То же и в музыке. Есть такое у Шостаковича, например: слушаешь — и вдруг замирает сердце. Момент просветления, недостижимый путем логических рассуждений. Момент, когда человек, запертый в своем существовании, выходит за пределы времени. Нужна молния, вспышка прозрения. В конечном счете, время — не главное. Это всего лишь средство — нужна же нам хоть какая-то система координат, вот и возникли настоящее, прошедшее и будущее, а на самом деле времени нет.

Рождение убийцы

Рассказ

Перевод Оксаны Якименко

ОТПРАВНОЙ точкой стала глубочайшая ненависть, в нее же он и вернулся — с самого низа и издалека, с такого низа и из такого далека, что даже в начале начал никакого понятия не имел, куда доберется на этом пути, ему и в голову не приходило, что он вообще движется куда-то по какому-то пути; он возненавидел страну и город, где жил до сих пор, и возненавидел людей, с которыми ежеутренне спускался в метро и ежевечерне отправлялся домой той же подземкой, он все убеждал себя, что здесь у него уже нет никого и ничто не связывает его с этим местом, и пропади оно все пропадом, но долго не мог решиться — продолжал по утрам уезжать на метро и вечером возвращаться домой, пока однажды утром он просто не вошел в вагон метро вместе с остальными пассажирами и застыл ненадолго на перроне, в голове было пусто, он просто стоял, его толкали со всех сторон, купил газету с объявлениями, взял кружку пива в стоячем буфете и принялся просматривать объявления, выбрал одно предложение о работе, а с ним и страну — Испанию, потому что ничего о ней не знал, Испания далеко, пусть будет Испания, и с этого момента все завертелось, и вот он уже летит туда каким-то дешевым рейсом — впервые в жизни сел в самолет, но, кроме страха и ненависти, ничего не почувствовал — боялся летать и ненавидел наглых стюардесс, наглых пассажиров и даже наглые облака, которые клубились там внизу, и ненавидел солнце и слепящий свет, а потом словно бы рухнул вниз, точнее, свалился в этот город, и только ступил на землю, тут же оказался жертвой обмана, потому как предложение работы, естественно, оказалось липовым, сэкономленные деньги почти сразу закончились — все съели перелет, еда и жилье на первые несколько дней, нужно было начинать с нуля здесь, назад — ни за что, ни в коем случае, нужно искать работу на чужбине — но, разумеется, все напрасно, отовсюду его выки-

© Krasznahorkai László, 2008
© Оксана Якименко. Перевод, 2013
Редакция благодарит автора за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации рассказа на страницах журнала.

дывали, вместе с остальными “румынами” и прочими босяками, и он бродил по этому прекрасному городу, и никакой работы никто ему не давал, так прошла неделя, потом еще одна, и еще, и вновь настала суббота, и он опять, как всегда, отправился в одиночку бродить по городу, но на этот раз не в надежде найти работу — какая уж тут работа в выходные, просто так, из ненависти ко всему слонялся по Барселоне, сворачивал с одной улицы на другую в гуще субботнего народа, ошалевшего от богатства и наслаждений, в кармане оставалось пятьдесят четыре евро, от голода сводило живот, но зайти поесть куда-нибудь — в таком виде — он не решался, посмотрел на себя: понятно, почему его здесь никуда не пускают; на перекрестке с бульваром Пасео де Грасья людей вокруг стало так много и они были так элегантно одеты, что он был вынужден остановиться, отойти к стене какого-то дома и наблюдать за ними оттуда, откуда людской водоворот не мог увлечь его за собой; стена давила на плечи, и он обернулся, чтобы рассмотреть дом за спиной — здание совершенно поразило его: в этом городе он уже успел повидать немало подобных вычурных построек, но такого — еще ни разу, хотя уже бывал в этих местах, должен был разглядеть, но зря ходил, не замечал до сих пор, что само по себе уже довольно странно, ведь этот дом на углу Пасео де Грасья и Каррер-де-Прованс такой громоздкий и необъятный, так нависает над перекрестком, что его трудно не заметить; он продвинулся вдоль стены, на глаза попался туристический указатель с надписью “Каса Мила”[1] и внизу в скобках: “Каменоломня”, направлен он как раз в сторону дома, значит, здание называется “Каса Мила”, должно быть, известное, ну конечно, подумалось ему, здесь, в Барселоне, в этом районе на многих домах можно написать даже не то, что они известные, а что их построил безумец, а уж этот дом — в особенности, он рассматривал фасад, насколько это возможно было делать в толпе, и дом этот был фантастически уродлив, гораздо уродливее остальных, поэтому он ему и не понравился, как и те другие дома, ему вообще не нравилось все беспорядочное, а этот дом вообще походил на гигантский желудок, огромный живот, вывалившийся на тротуар, не выдержав собственного веса, и расползшийся по асфальту; дом вызывал отвращение, чем больше он смотрел на необъятный тяжеловесный фасад, тем сильнее нервничал и мрачнел, находя его отвратительным во всех смыслах этого слова, но не мог понять, почему кому бы то ни было могли позволить намеренно

1. Дом семьи Мила построен по проекту архитектора Гауди в 1906-1910 гг.

построить такое здание в этом ненавистно прекрасном и богатом городе; времени было примерно полшестого вечера, совсем еще светло, просто для него половина шестого означала вечер, перестроиться он не сумел, жадная до развлечений или покупок людская масса продолжала волнами накатывать на перекресток, втягивала его в свой водоворот, не давая вырваться на свободу; когда ему почудилось, будто толпа начинает расти, расползаться не только в районе перекрестка, но и в обе стороны Пасео де Грасья, он решил покинуть этот район, переместиться в Каррер-де-Прованс и там найти какой-нибудь подходящий квартал подешевле, существенно подешевле, чтобы, с одной стороны, быть поближе к новому бесплатному жилищу, а с другой стороны, чтобы там можно было наконец что-нибудь съесть, он даже прошел немного вдоль стены, если быть точным, сделал несколько шагов до открытой двери, до входа в ту самую "Каменоломню", или как там она называется, заглянул внутрь, но не увидел там ни единой живой души, только нечто вроде парадной лестницы с безумными завитушками, которая закручивалась вверх между пятью безобразными до ужаса колоннами и крашенной под мрамор стеной в полутьме лестничной площадки: наверняка там, внутри, какой-то праздник — свадьба или что-нибудь в этом роде, подумал он, но дальше входа не пошел, стоял и ждал, когда появится охранник или лакей и прогонит его, уверен был, что так оно и должно случиться, но никто не вышел; руководствуясь минутным и глупым побуждением, он подался на шаг вперед, застыл на мгновение, разглядывая лестничную площадку, разукрашенную явным безумцем, постоял, но никто так и не появился, кругом была такая тишина, будто в двух метрах отсюда, за дверью, не галдел надоедливый субботний люд — тишина, странно, что дверь не заперта, он начал подниматься по лестнице, осознавая всю наглость поступка: кому-кому, а уж ему-то здесь точно делать нечего, из чистого любопытства, произнес внутренний голос, просто из любопытства, так он дошел до второго этажа, где его ждала еще одна распахнутая дверь, но самое странное — здесь тоже никого не было, а ведь он был почти уверен, что отсюда дальше уже не пройти, но нет, за открытой дверью начинался длинный коридор, и в этом коридоре сбоку притулился одинокий стол и стул; он прошел по коридору и слева от стола заметил еще одну открытую дверь поуже, за ней — восемь ступеней наверх, а за ними, если смотреть снизу, открывалось еще одно пространство — зал, он приподнялся на цыпочки, чтобы получше рассмотреть, что там дальше, но в полутьме за залом, находившимся наверху, были видны лишь другие залы, в ко-

торых — насколько он мог разглядеть, стоя перед лестницей, — не было ни одной живой души; на стенах — картины на религиозные темы: старомодные, красивые и совсем здесь не к месту, и блестящие, точно позолоченные, вот это да! — подумал он, теперь и правда пора уходить; он повернулся, направился было обратно по коридору, чтобы спуститься по лестнице и выбежать на улицу, где можно будет наконец вдохнуть свободно и глубоко, а то здесь, внутри, он почти перестал дышать, но так и не пошел к выходу, вместо этого сделал несколько шагов в сторону стола и открытой двери, не сводя глаз с восьми ступеней, ведущих наверх, в первый зал, снова заглянул туда: все эти позолоченные картины снова потянули его к себе, не то чтобы захотелось их украсть — подобная мысль даже в голову не приходила, точнее, пришла, но он ее сразу отогнал, просто хотелось посмотреть, как они блестят, правда, краем глаза полюбоваться, пока не выгонят, все равно заняться нечем, и тут вдруг сзади послышались шаги — такие тихие, словно бы их и не было, снаружи, со стороны парадной лестницы приближалась пара: оба средних лет, хорошо одеты, шли под руку, за его спиной разделились, обошли с двух сторон, потом снова сблизились, он едва заметно вздрогнул всем телом, как вздрагивает человек в таких ситуациях, женщина снова взяла мужчину под руку, и оба начали подниматься по тем самым восьми ступеням, вошли в зал и растворились в нем, разрешив таким образом для него вопрос: стоит ли входить туда; он тут же отправился вслед за ними, будь что будет, максимум — вышвырнут, разницы никакой, хоть увидит еще чуть-чуть из того, что снизу так заворожило его своим блеском; на слегка дрожащих ногах он тоже поднялся по восьмиступенчатой лестнице и перешагнул порог, и осмелился войти вслед за той парой — в зале было темно, собственно говоря, свет горел только над некоторыми картинами; он не сразу остановился, прошел подальше, будто бы уже давно находится здесь, и даже оказался на выставке намного раньше, чем те, кто сейчас шли за ним следом, потому и остановился не у первой, не у второй, а непонятно у какой по счету картины, и тут же ощутил на себе взгляд Иисуса; Христос сидел на подобии трона в центре триптиха, в одной руке — раскрытая книга, Священное Писание, другая рука простиралась за пределы картины в предупреждающем жесте, и, действительно, вокруг все сияло: листовое золото, определил он, прежде доводилось иметь с ним дело в реставрационной мастерской, но теперь только на стройке, наклонился поближе, но тут же торопливо отступил назад, тонкий пласт золота плотно облипает основу, наверняка и здесь по такой же техноло-

гии делали, принялся рассматривать Христа, стараясь изо всех сил больше не смотреть ему в глаза: этот Христос хоть и знал, что нарисованный, но смотрел на него с такой строгостью, что взгляд его выдержать было почти невозможно, — но был при этом прекрасен, иного слова и не подыщешь: прекрасен, и еще казалось, будто художник писал его в те времена, когда еще не умели как следует рисовать, по крайней мере, ему так показалось; было что-то примитивное в посадке головы и во всей картине, на заднем плане — ни привычного для церковных картин пейзажа, ни домов, лишь ангелы да святые со склоненными головами и, конечно, повсюду свет от позолоты; от этого возникало удивительное ощущение, что Христос совсем рядом, настолько близко, что ему даже пришлось отступить подальше, но и этот эффект он поставил в вину художнику; возникло подозрение, будто здесь и в последующих залах нарочно развесили примитивные картины — повсюду, насколько хватало обзора, а он сразу заметил, что в дальних залах кто-то есть, и тут же решил повернуть обратно, но прошла еще одна бесконечная минута, а выпроваживать его никто не явился, более того, один из разбредшихся по остальным помещениям посетителей вернулся в зал, где он находился, и даже не взглянул в его сторону: так ведь это просто посетитель, такой же, как я, подумал он и, почувствовав себя уверенней, продолжил разглядывать Христа, но смотрел не на картину, а следил за действиями вошедшего, но тот просто переходил от картины к картине — и правда, не охранник, успокоился он наконец и снова взглянул на Христа, сверху на бледном фоне он разглядел какие-то каракули, но разобрать их было невозможно, он попытался прочесть табличку под картиной, но надпись была на каталанском, и он ничего не понял, продвинулся дальше, к следующей иконе, фон там тоже был сплошное золото, и написана она была явно тоже очень давно: деревянная доска основательно изъедена жучком, да и краска изрядно осыпалась, но сохранившееся изображение вновь казалось прекрасным: в рамке внутри картины сидела Пресвятая Дева с младенцем на руках, младенец особенно ему понравился — прижался всем своим крошечным личиком к Деве, а она даже не на ребенка смотрит, а куда-то вдаль, за пределы иконы, на него, на зрителя, и взгляд у нее такой печальный, будто она уже знает, что ждет ее сына; он отвел глаза и снова принялся разглядывать золото, до тех пор смотрел на золотой фон, пока в глазах не зарябило; и третья, и четвертая, и пятая картины — все были похожи, каждая написана на дереве, везде золотой фон, на каждой по-детски нарисована Пресвятая Дева или Иисус, или какой-нибудь свя-

той — на каждой по святому, а то и по несколько, но главное, что он понял, все эти Марии, Иисусы и святые, изображенные на золотом фоне яркими красками — словно их дети рисовали, — ему, по крайней мере, так показалось, потом, конечно, он отогнал эту мысль, глупость какая, да чего от него еще можно ждать, только глупость, что он понимает во всем этом, ну, поработал несколько месяцев у одного реставратора, нет, конечно, нет, то, что он увидел, вовсе не дети рисовали, просто художники были действительно старыми, из тех времен, когда люди еще не знали правил живописи или когда правила эти были другими; он переходил от одной иконы к другой, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, и, хотя внутреннее напряжение и готовность выскочить на улицу по первому знаку его так и не оставляли, он уже с куда большим вниманием останавливался возле отдельных картин, ведь, не считая того Христа в конце зала, пристальный взгляд которого пронзил его в самом начале, остальные святые, младенцы и цари смотрели на него смиренно и кротко, так что он немного успокоился и остался, выгонять его по-прежнему не собирались, билет никто не спросил — входной, на выставку, он и не ушел, и даже не вернулся в первый зал, по которому вслепую пробежал, когда только вошел, а переместился во второй, где было так же темно, а картины были подсвечены небольшими лампочками: и тут святые с Девой или с Христом, и тут сплошное золото и сияние, струящиеся прямо из икон, будто бы и лампочки им сверху не нужны — свет исходил изнутри; он перемещался из одного зала в другой, теперь уже вполне уверенно, разглядывал святых и царей, но вместо благодарности небесам за возможность побыть здесь в безмятежности, на него внезапно снизошла какая-то печаль, придя на смену привычной ненависти, и он почувствовал себя одиноким — с момента приезда сюда ничего подобного не ощущал, только смотрел на сияние, на золото; что-то резко заболело, и он не понимал: то ли действительно стало вдруг больно от нахлынувшего одиночества, то ли слишком сильным оказался контраст между бесцельным блужданием по залам и счастливой толпой снаружи, то ли столь острая боль была вызвана ощущением, как невыразимо далеко находятся от него все эти святые и цари, Марии и Иисусы — и это сияние.

Влияние Византии и Константинополя было огромно, хотя как только это произносится вслух, сразу требуется поправка, ведь без Византии и Константинополя славяне, на всей этой невообразимо обширной территории, вообще не приняли бы христианство — вполне естественно, что и в иконо-

писи все указывает на византийские истоки, на византийское греческое православие, оттуда пришли первые чудотворные иконы, оттуда прибыли первые иконописцы, а русские отправились учиться к ним в Византию, в несравненно богатый и готовящийся к вечности величественный Константинополь, оттуда строгие черты на неподвижных лицах колоссального Пантократора, выписанного на сводах храмов, оттуда разошлись все эти неисчислимые карающие взгляды и неисчислимые строгие и печальные Девы, дикие ритмы, стойкие, резкие цвета и невероятное напряжение, и бесконечность, и незыблемость, и неостановимый полет, и вдохновение, и вечность; попав сначала в Киев, а потом в Новгород, Псков, Владимир и Суздаль, в Радонеж, Переславль, Ростов и Ярославль, и Кострому, и, наконец, в Москву, в Москву, в Москву, чтобы русские превратили все это в нечто новое, наполненное нежной любовью, надеждой, покоем, состраданием и уважением, хотя говорить о полноценном воплощении можно лишь к XV веку: Киевской Руси предстояло пройти долгий путь до Великого княжества Московского, и представлять его в историческом пространстве следует не в виде непрерывной линии, но как некую кривую, которая ведет в определенном направлении, но периодически застревает в какой-то точке и, подобно островку с раскинутыми в сторону звездными лучами, оставляет след на карте первых пяти столетий древнерусского христианского искусства, чтобы затем реализоваться в московских иконописцах и создать единую традицию, которая связывает Владимирскую Богоматерь с волоколамской иконой Божьей Матери и вызывает к жизни древнерусскую иконопись — для ее рождения было нужно не время, но погружение, и произошло это отнюдь не в результате длительного процесса, так что ключевым элементом было здесь не время, но взгляд, неожиданное осознание и молниеносное прозрение, видение того, что невозможно понять, осознать и увидеть — так ощущали это все святые: от двух сыновей Великого князя киевского Бориса и Глеба до игуменьи Печерской лавры Феодосии и бессмертного основателя Свято-Троицкого монастыря, святого преподобного Сергия Радонежского, все, действительно все, чьи имена известны и неизвестны, все, кто был частью этого погружения и в чьей завораживающей атмосфере иконописец, оставаясь почти всегда в совершенной тени, помогал человеку, способному на чудо Творения, приблизиться к непознаваемому и невидимому своим мучительным путем, ведь на иконе автор детально объяснял, что миру пришел конец, этому миру конец, и, поцеловав икону и всмотревшись в нее, че-

ловек убеждается: есть нечто чуднее чудного, есть милость и прощение, есть надежда и сила в вере; и поднялись выстроенные на византийский манер крестокупольные храмы — Десятинная церковь и Святая София, киевская, и Успенская церковь, и Спас на Нередице, и церковь Параскевы Пятницы в Чернигове, и Печерская лавра и Троицкая надвратная церковь, и Спас на Берестове, и Выдубицкий монастырь, но то была лишь первая волна великолепных храмов, монастырей и церквей, воздвигнутых в ликовании новой веры, ведь за ней последовала московская эпоха с Успенским и Андрониковым монастырями и Троице-Сергиевой лаврой, а там один за другим стали строиться храмы, монастыри и церкви от Вологды до Ферапонтово, и повсюду сотнями и тысячами писались иконы, возносились иконостасы, а стены, колонны и своды покрывались фресками, и люди погружались в веру, и входили в притвор, а оттуда — во храм, и, сложив три пальца, осеняли себя широким крестным знамением, касаясь середины лба, потом пупка, потом уводили руку вправо, влево, а затем уже кланялись, после короткой молитвы приближались к аналою, к киоту, дважды крестились перед ним и целовали край иконы, снова крестились и становились на колени, потом покупали связку освященных свечей и ставили их в подсвечники, расположенные в разных частях храма, произносили и там обязательную молитву, и, вновь осеняя себя крестом, очищали свое сердце, и занимали, наконец, место в церкви: женщины — слева, мужчины — справа или так: женщины — в нартексе, мужчины — в наосе, и слушали, как священник произносит: “Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша”, — и слушали пение хора, богатую полифонию, выстроенную по тонам на диатонических, хроматических и энгармонических гаммах, отдаваясь на волю восьмиступенных икосов или их сорока вариантов, и повторяли “Аминь” в Литургии Иоанна Златоуста, когда наступал нужный момент, и осеняли себя крестом, и часами били поклоны, пока не кончалась бесконечная литургия и священник, поцеловав крест и раздав просфоры, не призывал прихожан покинуть храм, и верили в Бога, потому что видели иконы, ведь те показывали им и доказывали восчувствовавшим душам, что стоящая на аналое или висящая

на стене икона и есть то место, через которое можно взглянуть на иную, вышнюю, реальность, так что жизнь их проходила в бесконечной молитве, а если и не совсем так, ведь, прозябая под грузом более или менее тяжких грехов, трудно было поддерживать сосредоточенность, необходимую для постоянной молитвы, то и тогда оставалось восхищение, искреннее, пылкое восхищение человека, от которого эта постоянная молитва не требовала каких-то сверхчеловеческих усилий, но была единственной мыслимой формой наполнения земной жизни, одна-единственная непрерывная молитва — именно так обстояли дела у монахов, принявших постриг ради святого пути, и у всех истово верующих православных, кто, согласно одной из двух византийских традиций, решил поселиться либо в монастыре строгого общежитского устава — киновии, либо в особножительном идиоритме с более свободными порядками, где им предстояло пережить то, что Господь отмерил им на этой земле, и в обоих случаях они продолжали свое существование в постоянной молитве, а то и вовсе уходили в нее, как делали самые верные последователи этой веры — исихасты, да они, наверное, и не могли поступить иначе, ведь любой другой путь был для них немыслим, потому и жили они во внутренней, немой молитве, погрузившись в абсолютное молчание, в тишину, куда не доносится никакой мирской шум, даже негромкий гул молитв других монахов, не говоря уже о том гуле, который, в соответствии с так называемым духом эпохи, доносился со всей необъятной русской равнины, неуклонно стремившейся к единству — за это время русские успели полюбить Христа и Пресвятую Деву и с трепетом и страхом несли дань Творцу, взиравшему на них в образе Пантократора с высоты соборных куполов; их зачаровывала ослепительная красота храмов, бесконечное изобилие, изливавшееся на них по воскресным и праздничным дням во время обязательной молитвы, и под бременем собственных грехов, но с глубочайшей верой в обещанное спасение, они участвовали в долгих службах, которые и сами по себе уже были молитвами, как предписывали и требовали все семь Вселенских соборов, отрегулировавших все до мельчайших деталей, и все происходившее служило тому, чтобы на просторах готовящейся к будущему величию России вовеки стоял Храм и вовеки не разрушилось до сияющего блеска отполированное, хитроумное и утонченное здание веры, чтобы каждая вещь, каждая песня, каждая мольба и каждое движение вызывали изумление, и чтобы здесь, внутри, в храме, верующий видел не свою горестную жизнь, но преддверие Рая, близость Господа, Хри-

ста и Богоматери, близость Невидимого, Чуда из Чудес, и чтобы исполнился он сжимающим сердце звучанием слова и пения, и чтобы охватила его душу обретенная через горести радость, и чтобы поверил он, по-настоящему поверил, будто жизнь его убогая — ничто, ибо все ожидает его там, наверху, там, далеко, в неуловимом видении, открывающемся за пределами святого образа, если присмотреться, прежде чем поцелуешь его с краю, оно там... там... где-то там.

Он решил уйти, не хватает еще окончательно отдаться нежности, неожиданно накатившей печали, пасть духом, да еще в совершенно не для этого предназначенном месте лишь потому, что картины со стен с таким сиянием глядят на него — и речи быть не может, бегом отсюда, немедленно, все происходящее просто курам на смех, расслабляться нельзя, у него же ничего нет: ни нормального жилья, ни денег, ни работы, надо не просто быть сильным, эту силу по-настоящему должен почувствовать и тот, с кем придется столкнуться, когда в понедельник он вновь отправится на поиски работы, безумие какое вся эта круговерть, прочь, прочь отсюда, ко всем чертям; он уже шел как раз к выходу и двигался в обратную сторону, ведь он не мог быть уверен, да и не был уверен, есть ли выход здесь, в конце лабиринта залов, где он сейчас находился, тут уже все казалось знакомым, раздумывать нечего, куда? — сюда, приказал он сам себе и зашагал в обратную сторону, туда, откуда пришел, теперь уже не глядя на картины, злясь сам на себя, зачем вообще зашел — глупость какая, он миновал один зал, другой, третий, вот он уже добрался до первой комнаты, восемь ступенек вниз, осталось только выйти через широко распахнутую дверь на галерею второго этажа, чтобы затем скатиться в холл по сумасшедшей лестнице и выскочить вон из этого безумного здания обратно в толпу, на Каррер-де-Прованс, а оттуда в подходящий ему квартал — перекусить в дешевой забегаловке, чтобы дотянуть до завтра, и вдруг в первом зале, который он быстро пробежал, едва войдя в него, да, теперь он отчетливо вспомнил: здесь, в первом зале он тогда ничего не увидел, даже если бы его сейчас заставили зажмуриться, он бы ни за что на свете не вспомнил, что там висело, короче, он пробежал через зал вслепую, а теперь вот на обратном пути бросил взгляд на одну картину, ту, что по размеру намного больше остальных, всего один взгляд, и отвернулся было, занес ногу, чтобы перешагнуть порог, но завис, застыл в движении, будучи не в состоянии его завершить, и из-за этого чуть не споткнулся, неуклюже, не добравшись до тех самых восьми ступенек, но не споткнулся-таки, потому как в последнюю секунду успел заступить обратно и даже удержал

равновесие, только оперся на косяк и еще раз обернулся, и ведь не было на то особой причины, чтобы так зацепило, ведь в этом первом зале видна была всего одна картина — надо признать, разместили ее иначе, нежели остальные, правда и то, что, кроме нее, здесь больше ничего не было выставлено — выставили всего одну подставку, похожую на мольберт, а к ней прислонили картину, ту, что больше всех остальных; полотно размером в человеческий рост поставили чуть выше уровня пола, чтобы оно словно бы встречало посетителя выставки, и если он с самого начала едва мог бы объяснить, зачем попал сюда и какого дьявола здесь ищет, то теперь еще меньше понимал, почему остановился перед этой картиной так, что чуть нос не разбил, резко вдруг затормозив, в любом случае произошло следующее: он затормозил, споткнулся, ухватился за косяк, восстановил равновесие и обернулся назад к большой картине, на которой увидел трех больших, изящных, гибких мужчин, сидевших вокруг подобия стола; сначала он увидел только это, но быстро заметил, что у всех троих за спиной крылья, заметить крылья было не так уж легко — состояние картины оставляло желать лучшего, сразу бросалось в глаза, что во многих местах отсутствует живописный слой, но трое сидящих — судя по крыльям, явно ангелы — сохранились почти целиком, только через центр иконы тянулась вертикальная полоса, словно деревянная доска, на которой была написана икона, треснула посередине, и как будто на эту трещину что-то пролилось, отчего широкая полоса слегка потеряла цвет, но тут он увидел, что чуть правее есть еще одна полоска, поуже, и сообразил вдруг, что обе трещины пролегли там, где когда-то доски подгоняли друг к другу; проблема в стыке, подумал он обеспокоенно, дерево деформировалось и слегка искривилось, другими словами, покоробилось, как говорят специалисты, отметил он про себя и тут же подумал, а на кой ляд меня все это занимает и откуда это беспокойство, почему он вообще остановился и с какого перепугу застрял тут, почему ему, именно ему так важно, что изображено на иконе и откуда эти трещины, и вдруг осознал, что эти три ангела... будто остановили его, вот уж безумие полное, и все же что-то в этом есть, и тут вдруг заметил, что смотрит лишь на золотой фон образа, сияющий сильнее, чем на других иконах, просто глаз не спускает с золота, уже и в глазах зарябило от сияния, но он не мог перевести взгляд, только бы на ангелов не смотреть, но теперь он отчетливо понял, что не смеет смотреть на ангелов, но это уж вообще ни в какие ворота?! и тогда он взглянул на ангелов и чуть не потерял сознание; одного взгляда было достаточно, чтобы понять: эти ангелы настоящие.

Разумнее всего было бы сразу кинуться к лестнице и бежать куда глаза глядят, но, с другой стороны, если находишься внутри, ситуация представляется совсем иначе и даже вовсе наоборот, самым разумным представлялось уйти не через ту дверь, которую охраняли эти трое, а вернуться обратно, через все залы, и там найти настоящий выход, до конца схему побега он, конечно, не продумал — слишком испугался, решения принимал не мозг, а рефлексы, рефлексы рационального поведения и здравого смысла, вот он и побежал, пронесся через первый зал, второй, в третьем замедлил шаг: не преследуют же они его, в четвертом уже попытался сделать вид, будто просто идет, и так, сдерживая бег, устремился дальше, чтобы, если посмотрят те, что стоят в следующих залах, ничего особенного не заметили, пусть им покажется, что человек немножко странно подволакивает ногу — просто торопится пройти анфиладу насквозь, явно там, где-то ближе к выходу, у него какое-то дело — мог бы подумать посетитель, случайно взглянувший на него, да только никто на него не смотрел, никого вообще не интересовало, куда и как он торопится, все рассматривали иконы, кое-кто, как, например, супружеская пара, замеченная им с самого начала, иногда перешептывалась перед каким-нибудь из образов, но на самом деле никого он здесь не интересовал до самого последнего зала, где обнаружилась дверь: не сказать, чтобы она так уж была распахнута, чтобы выйти, ее надо было открыть, но казалось очевидным, что ведет она наружу, куда именно, он не стал задумываться, подошел, открыл, но на выходе, прямо напротив за столиком сидел мощный бородатый старик; как только он впопыхах выскочил из зала, старик тут же поднял голову: явно озадачился, почему посетитель на такой скорости выбежал из последнего зала, ох, этого только не хватало, подумал он и резко замедлил шаг, но было поздно, старик поднялся со стула и взглянул ему прямо в лицо, он быстро перехватил взгляд и прислонился, насколько было возможно, к шероховатой стене, уходящей вверх дикими извивами, и, вытянув губы трубочкой, уставился перед собой, будто вышел на минуту из зала передохнуть или осмыслить увиденное, в ответ на это старик сел, точнее, медленно опустился обратно на стул, но взгляд с него не спустил — конечно, сомневается, я бы тоже на его месте засомневался, подумал он, не двигаясь с места, в спину давила какая-то ужасная штука, торчащая из стены, явно одно из этих мерзких украшений, и все-таки, сколько еще тут торчать, беспокойно стучало в мозгу, но тут старик мотнул головой в сторону анфилады и спросил: “Василка там?” — он, естественно, ни слова не разобрал, во-первых, потому что не

понимал по-каталански, только выучил несколько простых выражений на испанском, а во-вторых, старик говорил не по-каталански и не по-испански, а, наверно, по-русски, скорее всего, на одном из славянских языков, а это еще дальше, чем предположительно русский, — как всегда, когда к нему обращались здесь, он осторожно кивнул, чтобы растолковать этот кивок можно было как угодно, главное, ни слова не произнес, продолжал стоять, прислонившись к стене, старик откинулся на стуле — вроде как успокоился; тут он решил наконец присмотреться и понял, что персонаж, явно посаженный сюда как охранник, не просто пожилой человек, но дряхлый старец: сидит, бороду густую, белоснежную перебирает на груди и глаз с него не спускает, а глаза у старика — голубые, что накидка у того ангела, который там, внутри, помолчал недолго, потом хмыкнул и снова заговорил на своем языке (с большой вероятностью — русском) так, будто посетитель должен был понимать, что он там говорит на своем наречии в этом чужеземном городе, повторяя, что сил больше нет никаких, вечно этот Василка убегает, сто раз ему объяснял, зачем они здесь, кого представляют, теперь они сами и есть Галерея, но такому — старик сердито кивнул — объясняй не объясняй, все бегает, ох уж этот Василка, — страж вздохнул и долго качал головой; герой снова попытался кивнуть в ответ и тем самым окончательно убедил старика в том, что понимает сказанное и даже выражает согласие, мол, Василке действительно надо бы сидеть на месте, явно где-то там, у входа, где ангелы, благодарно закивал он, старик же, уловив общность взглядов, продолжал рассказывать, насколько бесценны выставленные в Галерее сокровища, ведь экспонаты отбирали не только в Москве, тут есть и киевские, и новгородские, и псковские, и ярославские, и из тех, что поновее, нельзя их так просто, без присмотра оставлять, каталонцам все-таки доверять нельзя, а им обоим головы снимут, если хоть на одной картине пятнышко найдут, уж объяснял Василке этому без конца, но ему объясняй не объясняй, его уж и след простыл, как ящерица — раз и нету, знает щенок: если он — старик показал на себя — отойдет проверить, тут вообще никого не останется, что тут поделаешь, каждое утро говорю ему: смотри, Василка, заберет тебя лукавый, будешь столько пропадать, домой не пустят, их же из дому сюда прислали, и все говорил, говорил, что они вдвоем смотрители залов от Галереи, и напрасно он просил, чтоб не Василку ему дали в напарники для передвижной выставки, только не Василку, но главный начальник его не послушал — никто его теперь не слушает, старый слишком стал, на левое ухо — показал — совсем оглох, да и зрение не очень, но нико-

му об этом не говорит, никому знать того не надо, иначе уволят из Галереи, а если уволят, он сразу умрет, уж поверьте, господин хороший — старик снова показал на себя обеими руками, — больше сорока лет смотрителем в Галерее, чего только не пережил в музее, люди уходили, приходили, снова уходили, кого-то снова назначили — сумасшедший дом, потому и сидел всегда смотрителем залов, смотрителям никто не завидует, а ведь я по рождению — старик доверительно подмигнул — настоящий Вздорнов, да-да — и с коротким смешком продолжил, — из тех знаменитых Вздорновых, довольно близкий родственник самого известного представителя семейства, батюшки Герольда Ивановича, он, кстати, и сейчас в Ферапонтово проживает, совсем от мира отошел, ему бы только каждый день на легендарные фрески Дионисия смотреть, говорят, он от них даже немного умом тронулся, ну да это не важно, возвращаясь к собственно его, старика, персоне, подумаешь — Герольд Иванович сюда, Герольд Иванович туда, — что бы там ни говорили, должность смотрителя ни за какие деньги не оставил бы, такая работа — в самый раз, потому как тут хотя бы никто тебя не трогает, — тут старик развел руки в стороны в ожидании реакции аудитории, и аудитория, в единственном числе, естественно снова многозначительно кивнула, решив, однако, что еще минуту поделает вид, будто внимательно слушает, но потом уж все, спустится вниз, на первый этаж, а потом — на улицу и прочь отсюда, не может же быть такого, чтобы там нельзя было выйти, а то ведь привиделось — что еще могло с ним там произойти в зале, как не галлюцинация, и тут с места боится сдвинуться, вдруг задержат за то, что без билета вошел, так он ничего плохого не делал, ничего не украл, пальцем ничего не тронул, билета только нет, это правда, действительно нету, но как-нибудь, с этим как-то обойдется, но и только он принял решение и сделал движение к выходу, старик снова заговорил, и он опять придвинулся к стене — разумнее пока подождать, только прислонился не к этой дурацкой выпуклости, а нащупал спиной участок поровнее и все-таки задержался, чтобы услышать продолжение, мол, "знаю, вы за тем же пришли — все за этим приходят, а потом выскакивают из этой двери, и я сразу вижу — разочарованы, конечно, я бы тоже чувствовал себя обманутым, Рублев — это да, другое дело, настоящее, но его никогда, поймите, никогда не вывезут из Третьяковки", так там и будет висеть, не останавливался старик, ее, "Троицу", еще в сталинские времена из Государственных реставрационных мастерских туда вернули, а радонежцы из Сергиева Посада, у которых икону забрали в мастерские, получили взамен копию, так что оригинал те-

перь можно увидеть, только если приехать в Москву, а тут, на выставке, не Сергиевский список, а третий вариант, самый удачный, в своем роде, из тех, что еще до Ивана Грозного сотнями делали, просто чудесная копия, — старик указал вглубь, никто не спорит, этот список, наверное, Иовлева нашла, или Екатерина Железнова, где-нибудь внизу, в хранилище, красивая икона, все на месте, но оригинал, конечно, рублевский-то, там совсем другое, и не объяснить толком, в чем разница, по сравнению с тем, что вы видели; но копии фигуры, контуры, композиция, размеры, положение в пространстве — все в точности как у Рублева, по сути дела, только одно отличие, там на столе стоит чаша, а здесь — не пойми что, краска облупилась, не в реставрационных мастерских делали, у меня там Ниночка работала, младшая дочка шуриновой жены, так вот — не там, а раньше, еще при царе, ведь эти иконы, знаете, — старик запустил пальцы в бороду, — не уверен, что знаете, по вам, — смотритель указал на слушающего, — сразу видно, только из двери вышли, видно, что вы русский и что не настоящий специалист, так, любитель, эти после выставки не особенно в разговоры пускаются, а специалисты рот не закрывают, их сразу можно вычислить — еще из зала не вышли, а уже щебечут, точно пташки, мол, то, да се, да Византия, да Феофан Грек, да Рублев, да Дионисий, в общем, лучше меня, старика, — он показал на себя, — послушайте, я за сорок лет все про эти иконы узнал, нет такого вопроса, чтобы я ответа не знал, все читал, все помню — сама Иовлева, или Екатерина Железнова, бывает, спросят имя какое, или год, если сразу на память не приходит, а я всегда отвечаю, что спрашивают, ничего не забыл, у меня в голове все в полной сохранности, я уже сросся с тамошними чудотворными иконами, если уж я чего говорю, мне можете верить, все эти иконы там, внутри, да и остальные, те, что дома, все до единой, часто переписывали, обновляли, а то и просто писали новые поверх старых, саму "Троицу", ту, что в Москве, рублевскую, по многу раз переписывали, поговаривают, — старик жестом подозвал своего слушателя поближе, но тот даже не шелохнулся, так и остался стоять у стены, — сколько ни восстанавливали ее первоначальный облик всеми этими новомодными средствами, все равно это не первоначальное состояние, потому что в изначальное состояние уже не приведешь, говорили еще, — смотритель понизил голос, — будто у Бога-Отца и Святого Духа, ну, сами знаете, у левого и правого ангелов, уста в рублевском оригинале были немножко ниже изогнуты, то есть они печальнее выглядели, изначально, но это я, конечно, только так, слышал, не помню где, может, и вполовину неправда, но

какая разница, случайному русскому посетителю, любоваться только этим списком, красивый ведь, правда? — тут старик выдержал паузу, снова ожидая знака согласия со стороны слушающего, слегка наклонился в его сторону, опять надо было кивнуть, но на этот раз дело пошло как-то легче, теперь он уже убедился, что старик настроен не враждебно, скорее производит впечатление человека, пытающегося что-то объяснить, да и в голосе не было и намека на требование предъявить билет, о билете на выставку речь уже не идет, но о чем тогда, смотритель явно с кем-то его спутал, или даже не спутал, просто заскучал, сидит тут целыми днями, единственная надежда — перехватить кого-нибудь из посетителей выставки на выходе да и скоротать за разговором время, но о чем этот человек говорит, и вообще, о чем, черт возьми, можно говорить так долго, и с чего старик взял, что его это интересует, совсем не интересует, даже если бы понимал, о чем речь, и тогда бы слушать не стал, он ведь исключительно для вида стоит тут с ним, в этом безумном здании, из чувства самосохранения, еще и ангелы здесь, только этого не доставало, все, хватит, подумал он и решительней прежнего оттолкнулся от стены, но тут старик как раз поднял левую руку и попросил не спешить, ведь так хорошо беседовали, ему тут с утра до вечера сидеть, не то чтобы пожаловаться хотел, просто приятно с кем-то о деле поговорить, с человеком интересующимся, точно как дома, в Галерее, там тоже: если спрашивают, он всегда рассказывает все, что знает, вот и сейчас скажет: если сравнивать, то по его, старика, мнению, “Троица” — самая прекрасная картина на свете, никому еще не удавалось таким невероятным способом изобразить незримый рай, если хотите, показать его как реальность, никогда, — заявил смотритель и поднял указательный палец, в ответ на это посетитель, естественно, начал пятиться обратно к стене, — никогда и никому, именно поэтому и важна каждая копия, именно поэтому так важен список с иконы, виденный им в начале экспозиции, ведь копия, как вы, очевидно, знаете, — старик строго посмотрел на него, там, у нас, означает совсем не то, что здесь, на Западе; дома, если с иконы сделали список, и епископ его освятил, то есть признал истинным, то с этого момента список излучает ту же святость, что и оригинал; так же и с “Троицей”, да и копии лучше той, что сюда привезли, вы нигде и никогда не найдете, совсем недавно обнаружилась, все пришли на чудо посмотреть, даже из высшего руководства приехали, сотрудники-реставраторы, все до одного, искусствоведы, когда Иовлева или Железнова, точно не вспомню, кто из них, нашла и распорядилась принести из хранилища, там тоже стоя-

ла толпа, но поменьше, и сейчас не могу забыть, и все восхищались этим списком, с первого взгляда казалось, будто это и есть оригинал, настолько идеально выражена была сама суть иконы, размеры совпали идеально, композиция, масштаб, контуры, только на столе другой предмет, но этого и по сей день разобрать не могут, только высказывают предположения: что было изначально в этом месте на копии, а главное, почему не чаша, как на столе у Рублева, стояли, очарованные, все до единого, и они, смотрители, тоже там были, хотели сразу выставить копию, но ничего не вышло, куда ж ее повесишь — не с оригиналом же рядом — совершенную копию?! — нет так нельзя, поэтому решили не выставлять совсем, а когда готовили эту передвижную выставку, безо всяких споров сразу включили копию с "Троицы" в перечень экспонатов, причем, главный довод сводился к тому, что о вывозе оригинала и речи быть не могло, так сам директор сказал, Валентин Родионов, она, рублевская "Троица", навеки останется на своем месте, потому как "Троица" Андрея Рублева превращает в храм то место, где она висит, так сказал директор Родионов, ведь где бы ни находилась "Троица", — это старик добавил от себя, — она сразу начинает излучать свою священную силу, вы же чувствуете, стоит на нее взглянуть, потому и дотронуться до нее никто не смеет, — смотритель снова показал на себя, мол по его разумению, как раз поэтому и не посмел никто сдвинуть ее с места с 1928 года, — кто же осмелится прикоснуться к ней, не помолившись и не поцеловав образ, и то уже беда, что перевезли в те годы из Троицкого собора, не для того писалась икона, чтобы в музее висеть да чтобы на нее смотрели, как на простую картину, но теперь это уже не важно, ясно одно: трогать ее больше нельзя, вот и висит у нас, в Третьяковке, пусть Третьяковка и не храм, а весь мир, — старик понизил голос и величественным жестом разрешил: можете идти, раз уж так решили, и сам закончил свой монолог: весь мир пусть теперь смотрит на копию и пытается понять, какая икона настоящая.

Трудно объяснить состояние, в каком он пулей выскочил из здания и понесся по Каррер-де-Прованс и дальше, ничего вокруг не видя и не слыша, он не понимал, куда бежит, куда направляется, его даже не занимало, отчего так стучит в голове и почему нет сил, просто нет сил думать ни о чем, кроме этого стука в мозгу, поначалу казалось, будто стучит оттого, что сильно отбил пятки и боль отдается в мозг, но и потом, когда перешел на медленный шаг, лучше не стало, стучало не переставая, он пришел в совершенное замешательство, внутри царил абсолютный хаос, голова кружилась, причем на-

столько сильно, что ему часто приходилось останавливаться, прохожие, наверняка, принимали его за пьяного или думали, что его сейчас стошнит, но он не был пьян и тошноты не испытывал, только голова кружилась и стучало в висках, да еще, в какой-то момент, начал видеть странные вещи: видел себя, как бежит по улицам и уворачивается от людей, видел лица, на секунду возникающие и тут же исчезающие, видел старика из музея, или это был не музей, откуда он убежал, и, в то же время, видел ту семейную пару средних лет, как они за его спиной разомкнули руки, обошли с двух сторон, а потом снова подхватили друг друга под руку, но видел и винтовую лестницу, как поднимается по ней, следуя ее изгибам, и то, как в центре большой иконы и чуть правее слегка выцвели краски, потом снова возникла лестница, но теперь она уже вела вниз, вспыхнула позолота на иконах, но больше всего смущало, что в вихре одновременно всплывающих картин снова и снова мелькали те три ангела со склоненными головами, точнее, то, как средний и тот, что справа, склоняют головы к ангелу, сидящему у левого края, и этот ангел наклоняется в их сторону, но все втроем смотрят за пределы иконы, на него, но длится это лишь мгновение, потом почти сразу исчезают, остаются только цвета: светящиеся голубой и красный хитонов и гиматиев, разумеется, не просто светящийся голубой и светящийся красный, если изначально это вообще были красный и голубой, в этом он не был уверен, как и в том, что вообще видел цвета, он ни в чем не был уверен — картины вспыхивали в сознании и исчезали, но так, что остальные картины возникали и таяли в тот же самый момент, все проносилось в мозгу с такой скоростью, что из-за этого шатало и стучало в висках, но хуже всего — он не мог остановиться, а это означало, что он не мог остановить происходящее, не мог сказать себе: все, хватит, достаточно, остановись, соберись, тогда бы он сумел остановиться и собраться, но это как раз и не получалось сделать, задержать скорость внутри, потому как снаружи было все то же самое, надо было бежать, бежать так, чтобы по возможности не слишком наскакивать на прохожих; народу здесь было еще много, он продержался еще какое-то время, пока не выбрался из центра и не двинулся на север, в сторону широкого и шумного проспекта под названием Диагональ, после Диагонали ситуация выправилась, тут он уже ориентировался, повернул на запад и пошел в направлении жилища, это направление и надо было выбрать с самого начала, пешеходов навстречу здесь уже попадалось поменьше, а ему как раз и хотелось, чтобы навстречу шло как можно меньше людей, чтобы небеса наконец сжалились над ним и освободили от

встречных, теперь он уже мог слегка замедлить шаг, когда увидел, что никто его не преследует, конечно, и раньше было ясно: никто за ним не идет, но сейчас это почему-то было важно, стало важно, чтобы никто не шел, в любом случае, когда уже не было сомнений и он смог окончательно перейти на прогулочный шаг, просто идти по узким улочкам, нельзя сказать, чтобы сегодня, в субботу, тут совсем уж никого не было — попадались прохожие да отдельные наблюдатели в окнах, то тут, то там на пустырях, перемежающих плавное течение улочек, гоняли мяч дети, но он все равно уже не ощущал присутствия той страшной силы, что пригнала его сюда, теперь уже можно было задать себе вопрос: что это было, зачем он носится тут, точно разум потерял, и как он вообще впутался в историю с этим сумасшедшим зданием, и почему не вышел сразу, пока мог, зачем остался, что забыл на той выставке, в жизни на выставки не ходил, почему именно теперь, почему, почему, почему, вопросы требовали ответа, объяснил он себе и торопливо огляделся, не разговаривает ли, часом, вслух, вполголоса, сам с собой, нет, вряд ли, никто из прохожих, по крайней мере, не смотрит, значит, все начало потихоньку приходить в норму, включая мозг, хватит вопросов, и матом, матом, а именно: да пошло оно, пошло на ... и еще раз пошло оно все на ... ему удалось превозмочь еще один порыв, подсказывавший: раз уж остановился или сел на пустую скамейку, то это лишь для того, чтобы понять, какого черта, что произошло с ним за последний час и зачем он потащился в эту Каменоломню, или как она там называется, а если уж зашел, то на кой ляд остался, и для чего смотрел на икону, и почему увиденное подействовало на него с такой силой, в общем, опять одни “почему”, “почему”, “почему”, увы, ругательства позволили выиграть всего одно мгновение, напрасно он остановился и разразился потоком брани, напрасно сел на эту пустую скамейку, напрасно превозмог тот порыв, в конечном счете победу одержала не простая и понятная часть его собственного “я”, а та, что стремилась понять, почему он позволил втянуть себя в то, о чем не имел, да и не мог иметь ни малейшего представления, даже не знаю, что за картины висели на стенах, что было за здание, после реставрационной мастерской я разбираюсь в кельмах — какие для штукатурки, а какие для затирки, но теперь, не важно теперь, что было раньше, что в жизни его была не только реставрационная мастерская, и не важно, что не сразу превратился он в ничто, в того, кто ежеутренне спускается в метро, едет на работу и ежевечерне возвращается обратно, и началось все не сразу с вонючей, сырой и темной комнаты, в которой он прожил последний год в

одиночку, этим скорее все заканчивалось, потому что это уже конец, думал он сейчас, сидя на пустой скамейке, и эта мысль неожиданно утихомирила бунтующий мозг, опа, вот и все, произнес он про себя, и эти четыре слова наконец остановили стук в висках, вот и все, старик, повторил он и обвел взглядом площадь, или даже не площадь, так, вынужденное продолжение улицы — снесли развалюху промеж остальных развалюх, вот и все пространство там, где он присел и где толпа детей гоняла мяч, он только сейчас их заметил, один мальчишка двигался довольно неплохо, ловко обводил, с первого взгляда видно: парень, хоть ростом и пониже остальных, зато самый толковый, использует обманные приемы не из желания порисоваться, он явно понимает, что делает, остальные просто бегали туда-сюда и кричали, наверняка что-нибудь вроде "сюда!" или "я здесь", но этот, мелкий, не кричал, видно было, что для него это все всерьез, приглядевшись, удивился, поразился даже, насколько и впрямь серьезным оставалось лицо мальчика, словно что-то зависело от него, игрок будто соображал, сможет ли принять посланный в его сторону мяч грудью или передать точный пас бегущему впереди, серьезен, решил он, слишком серьезен, теперь он следил уже только за этим чумазым пареньком: непрерывно, постоянно, непоколебимо серьезен, ни на минуту не включается в общее ликование, не радуется, как все остальные, возможности погонять мяч, потому, наверное, что для него это не радость, а нечто иное — и тут снова мозг пронзила боль, он резко отвел взгляд от детей, не хочу их видеть, встал и направился дальше по узкой улочке, потом повернул вместе с ней налево и неожиданно оказался прямо перед тремя ангелами на иконе, вся картина предстала перед глазами так четко, словно и была сейчас здесь, но это, конечно, неправда, ноги приросли к мостовой, а он смотрел на них, всматривался в чудесные лица, разглядывал ангела посередине и того, что сидел слева, какого ослепительно голубого цвета у них накидки, смотрел на них долго-долго, потом уставился на золото и снова на них и вдруг осознал: они ведь не на него смотрят, не на того, кто разглядывает их в данную минуту, понял — там, в музее или Галерее, или что там было, он допустил серьезную ошибку.

В конечном счете все споры сводились к определению Святой Троицы, от этого, собственно говоря, зависела судьба всего восточного христианства, более того, христианство как таковое вращалось исключительно вокруг этого самого основного вопроса, обычно дело обстоит иначе, обычно основной вопрос выкристаллизовывается лишь пост фактум, лишь пост фактум становится понятно, о чем спорили, в пользу че-

го приводили доводы, ссорились, разрывали отношения, убивали сотнями и тысячами, но спорили не о христианстве с его любовью к ближнему: здесь уже с четвертого века споры шли об основном вопросе, и окончательное разделение, в теологическом смысле, случилось именно из-за этого; официально — только с 1054 года, а на самом деле уже с момента возникновения Восточной Римской империи начали свое существование западный и восточный мир, Рим и Константинополь, и восточный мир — речь сейчас пойдет исключительно о нем, о византийском пространстве, — и после разделения не особенно-то успокоился, даже после того, как раз и навсегда было определено: что есть Бог, что есть Христос, что есть Святой Дух и как все функционирует в сферах, превосходящих человеческое понимание, вопрос пришлось решать еще шесть раз — и каждый раз окончательно, проблема заключалась в том, что людям — теологам, архиепископам, епископам, синодальным отцам, одним словом, местным и вселенским соборам и отцам церкви, таким как святой Афанасий Великий, Григорий Назианзин, Василий Великий и Григорий Нисский — приходилось принимать решения по вопросу, сложность которого явно превосходила не столько исключительные способности этих людей, но и вообще человеческие познания, ибо тут уже надо было объяснять, в каких отношениях находятся Господь Бог, Христос и Святой Дух, тончайшие различия между самыми невероятными версиями, настолько тонкие, еретически тонкие, что и не очень-то объяснимо, почему столько символической или реальной крови было пролито по поводу столь незначительного, так называемого теологического вопроса, то есть из-за вопроса о Пресвятой Троице: одни доказывали, что есть только Бог-Отец, были такие, кто признавал превосходство и исключительность Христа, и такие, кто признавал равенство Сына с Отцом, и, наконец, были сторонники полной равноценности — равночестности и сопрестольности Отца, Сына и Святого Духа, — последняя точка зрения в итоге одержала верх, а понятие о единстве и троичности природы Бога стало основой христианского догмата, появились и те, кто все это понял, а так называемый спор о филиокве, то есть о том, исходит ли Святой Дух не только от Отца, но и от Сына, внес окончательный раскол в христианской религии любви, и возник мир православной любви, и огромная, на тысячу лет пережившая грандиозный распад Запада, загадочная Византийская империя, где жизнь подчинялась одновременно жажде роскоши, чувственных удовольствий и религии и где после седьмого собора уже никакие потрясения, расшатывающие

все устройство восточной церкви, не угрожали этому фундаментальному догмату; последнее, естественно, вовсе не означало, будто вопрос разрешился окончательно, вопрос не разрешился, любое определение в отношении Бога и воплощения Его в Христе, а также связи со Святым Духом, оставалось в недостижимой мгле, или, если смотреть с точки зрения более поздней материалистической ереси, в сфере логического провала, защищать который было довольно сложно, и помочь тут могут лишь уважение к авторитетам и вера сама по себе, ведь для самых почитаемых святых восточной ортодоксии — от Иоанна Златоуста до преподобного Сергия Радонежского — вопрос об устройстве Триединства никогда не стоял, такая проблема была и оставалась лишь для мирян, не способных, как святые, увидеть воплощение Создателя и постичь мистерию Троицы, не задавать вопросы, но испытать, пережить исключительную концентрацию сотворенного и несотворенного миров, чарующую, чудесную, неизмеримую наивысшую реальность божественной мастерской и творящей силы, облечь которую в слова невозможно, чтобы Церковь или священный собор определил через них, через их святую суть, в чем же заключается не подлежащий более сомнению тезис веры о визуальном выражении, об изображении мистерии Триединства, то есть что Христос, Сын, Вочеловеченный Бог может быть изображен — решение было принято после некоторых споров, правда, эти споры, растянувшиеся лет на сто, о том, что он может быть “писан и воображен”, ведь, как формулируется соответствующее решение Стоглавого собора, если Авраам видел их под мамврийским дубом, раз уж так вышло, значит, их можно изобразить — то есть если Авраам узрел Его в трех ангелах, повторяли тысячи и десятки тысяч монахов в монастырях от Афона до Троице-Сергиевской лавры, то ничто не мешает иконописцу написать Святую Троицу, причем в строгом соответствии с предписанием Собора, а практически следуя описаниям источников, согласно которым Авраам увидел однажды в дубовой роще, элоней Море, или в дубраве Мамре, трех крылатых юношей, усадил их за стол, угостил, услышал, что было сказано о будущем Сарры, а в продолжение этого и без того любопытного диалога между Авраамом и знаменитым образом Бога в виде трех ангелов еще и о Содоме и Гоморре; финалом беседы стало обещание Бога помиловать Содом и Гоморру хотя бы ради десяти праведников, однако, судя по тому, что Бог в итоге уничтожил-таки оба города, следует, что Он так и не нашел даже десяти праведных и чистых жителей ни в Содоме, ни в Гоморре, ну да Бог с ними, перейдем к тому факту, что после памятного

диалога каждый из его участников вернулся к своим делам: Бог, в каком-то обличии — по поводу обличия как раз и возникают возражения — направляется в Содом и Гоморру, а Авраам мог еще долго размышлять, кого или что он видел, и что ему рассказали под дубом, в общем, именно из знаменитой встречи прародителя Авраама, точнее, из описания этой встречи в главе 18 Первой книги Моисеевой исходит соборное обоснование того, что́ после сотен вариантов родилось и сохранилось по распоряжению настоятеля Никона Радонежского в память о преподобном Сергии по снизошедшей на Андрея Рублева высшей милости от кроткой кисти и смиренной души иконописца посредством непрестанной молитвы и внушением силы Всевышнего; весть об этом образе, точно волшебным вихрем облетела всю Русь, чтобы в конце концов поколение спустя воспламенить воображение Дионисия — тогда копию с образцовой рублевской иконы заказали для какого-то храма, и заказ выполнил Дионисий, но сегодня уже не доказать, мог ли он один сделать тот самый список, или был кто-то еще, последователь или мастер из артели Дионисия, доказать это невозможно, ведь это произведение, непонятным образом оказавшееся в Третьяковской галерее и более пяти веков спустя после своего создания прибывшее в Барселону в рамках передвижной выставки после Парижа, швейцарского Мартиньи и Канн, по сути своей, настолько совершенная копия оригинального совершенства, что автор уровнем ниже Дионисия не мог бы ее написать ни тогда, ни в другую эпоху — после Рублева художников такой величины, как Дионисий, попросту долго не появлялось на свет, так что он и только он, и притом с высшей помощью, при условии, а условие выполнения заказа могло быть только одно: чтобы поручить написание иконы Дионисию, последний должен был иметь возможность беспрепятственно созерцать оригинал Рублева, то есть Дионисию как можно больше времени надо было провести в Троицком соборе Троице-Сергиевской лавры, ведь ему требовалось продолжительное время, чтобы приобщиться к духу шедевра, духу Рублева, и приблизиться к тому, что открывает икона Святой Троицы, висящая на первом месте справа, рядом с Царскими вратами соборного иконостаса, поскольку требовалось не только с абсолютной точностью скопировать черты фигур и размеры предметов, изображенных на иконе, их форму, контуры, расположение, не просто изучить и понять цвета и пропорции, но и дать обет изобразить Святую Троицу — он обязан был осознавать опасность, угрожающую художнику — будь то даже знаменитый иконописец XV века Дионисий, — если в процессе созерцания иконы выяснится,

что он не достоин выполнить священный список с сергиевской Троицы; Дионисий лучше других знал: если душа его не почувствует то же, что чувствовал Рублев в момент написания иконы, то сам он, наверняка, попадет в преисподнюю, а список не получится, превратится в обман, подделку, пустой и жалкий хлам — напрасно поставят его в местном ряду соборного иконостаса, напрасно освятят, помочь людям он уже не сможет, ведь такая икона ничего не дает, ни о чем не напоминает, лишь обольщает, обещая вести куда-то.

За липовой доской отправился самолично, вообще хотел сделать все сам, от начала до конца, но остальные артельщики, включая сына Феодосия, так ратовали за то, чтобы мастер не работал в одиночку, столько лет до сих пор делали и то, и это, и будут делать, что в конце концов он согласился — возраст уже не тот, да и раньше подобные дела точно так же заканчивались из соображений удобства, так что нужную липу, ту, что больше всего подходит к рублевскому оригиналу, дали ему выбрать самому, пускай, а вот выстругивать, подгонять, клеить доску для иконы, обрабатывать шпонки из бука — две планки, предназначенные для укрепления тыловой стороны, вырезать углубления для так называемых врезных встречных шпонок, на это расходовать священный дар нельзя, потому начал работу тот, кто стругал, долбил, подгонял, проклеивал и стягивал лентой, затем приступил тот, кто ставил шпонки, потом приготовили ковчежец иконы: сделали поле и уступ от полей к ковчежцу — лузгу, и тот, кто умел это лучше всех, следуя уже проложенной лузге, выбрал обозначенную таким образом, словно бы обрамленную поверхность для писания иконы, ведь у этого образа, как и у остальных, в первую голову нужно было подготовить как следует поля, лузгу и ковчег, а в этом, особом, случае, требовалось, чтобы все три элемента по всем параметрам совпадали с оригиналом, то есть ширина поля, угол скола лузги, глубина и степень выработки ковчежца — должны быть такими же, как описано для иконы из Троице-Сергиевской лавры, чтобы артельный мастер-грунтовщик мог взять дело в свои руки и вместе с помощниками замесить левкас и нанести его на паволоку, наклеенную на поверхность под письмо; левкас — жидкий клей с добавлением размолотого в порошок мела — нанесли на доску, в этом случае ровно в восемь слоев, и, когда последний слой левкаса окончательно просох и стал совершенно гладким и чистым, приступил знаменщик, мастер по созданию рисунка будущей иконы, один из самых важных людей в артели, особенно при таком известном иконописце; следуя рисунку, который Мастер выполнил

с иконы Рублева, знаменщик безошибочно верно и с безукоризненной точностью процарапал по высушенной поверхности левкаса очертания фигур и предметов: трех бесконечно кротких ангелов с огромными крыльями, рассевшихся вкруг стола, за ними обозначил храм, дерево и скалу, перед ними — стол с чашей и блюдом телятины, а вся артель, затаив дыхание стояла у него за спиной и смотрела, как он орудует иглою — делает графью, чтобы инструмент не дрогнул; само собой разумеется, весь процесс, начиная с подготовки доски и заканчивая работой знаменщика, проходил таким образом, что не только артельщики и их помощники следили друг за другом, но и сам Мастер присутствовал на каждом этапе, стоял и смотрел за его выполнением, так было до самого конца, стоя за спинами работников, Мастер следил, в точности ли соответствует краска — лазурь, киноварь, охра, изумрудная зелень, белила и даже взбитый желток — тому, что навеки запечатлелось в памяти, когда он стоял перед рублевской иконой в Троицком соборе, погруженный в глубокое созерцание; Дионисий стоял сзади и молился, пока доличник, а за ним и личник делали свое дело, личник, в этом исключительном случае, писал не лица, а только руки и ноги, а доличник — хитоны и прочие одежды, что бы они ни изображали, Мастер направлял каждое их движение, словно водил рукой и личника, и доличника — поэтому можно смело утверждать, что Мастер выполнил все сам, от начала до конца, было очевидно, что артельщики подчинялись его воле, то есть в итоге, через молитву Мастера, — Высшей воле, до тех пор, пока работа не дошла до той стадии, когда Мастер уже не мог доверить ее другим, когда ему самому полагалось взяться за кисть, опустить ее в чашу с краской и начать писать лики, уста, носы и глаза, после чего завершить письмо должна была следующая группа, но не приступила — Мастер настоял, чтобы провести все описи и росписи личнóго, наложить движки и проложить золочение на ассист самому, тут он принялся молиться еще сильнее, повторял Иисусову молитву, видимо, думал, что традиции надо отдать должное и надлежит верить, будто Андрей повторял Иисусову молитву про себя постоянно, но особенно во время работы, вот и он должен это делать, пока работает, Дионисий не прекратил молиться даже тогда, когда, не спуская глаз с иконы, уступил место тем, кто наносил олифу — прозрачный защитный слой для предохранения поверхности иконы, которая с этой минуты появилась на свет, явилась, повторяли люди из артели Мастера, и глаза их светились от счастья, готов список с рублевской иконы, вот перед нами снова Троица, и пришли из соседних монастырей все, кто смог, и

смотрели на икону, и не верили глазам своим, ибо видели тот же образ — не список, не икону, но саму Святую Троицу во всей ее сияющей красоте, только Мастер удалился из артельной мастерской, как только нанесли последний слой олифы: встал перед готовой иконой, долго смотрел на нее, потом вдруг резко развернулся и больше ни разу на нее не взглянул, а ведь должен был прийти, когда заказчик устанавливал ее в своем храме, должен был стоять рядом, когда епископ освящал образ, стоять и слушать, как после начальной молитвы освящения — шестьдесят шестого псалма — иерей читает нараспев: Господи Боже, во Святой Троице славимый и поклоняемый, услыши ныне молитву нашу и низпошли благословение Твое божественное, и освяти образ сей окроплением воды сея священные, во славу Твою и во спасение людей Твоих — он слушал это, смотрел, как иерей кропит икону, слышал и видел все и осенил себя крестом и произнес: Аминь, а потом сразу: Господи, помилуй и Господи, помилуй, и Господи, Господи, Господи, помилуй, но оставался в смятении и не отвечал, когда к нему подошли выразить признание и восхищение, промолчал весь день, молчал неделями, каждый день ходил исповедоваться, в конце концов совершенно удалился от мира, и с той поры, если кто-то из любопытства или по незнанию осмеливался упомянуть при нем, как чудесно выполнен список с рублевской Троицы, то рисковал либо напороться на непонимающий вопросительный взгляд Дионисия — он будто не понимал, о чем речь, либо — как перед смертью Мастера, когда его артель расписывала Благовещенский собор в Москве — знаменитый иконописец вдруг бледнел, лицо его искажала гримаса, и, вращая налитыми кровью глазами, он набрасывался на оторопевшего смельчака с громогласной, совершенно неразборчивой руганью, и только сыну Мастер прощал подобные вопросы, потому что прощал ему все и всегда, до последней минуты.

Воскресенье было подобно чудовищу, которое наваливается на человека и не отпускает, только грызет и гложет, кусает и рвет; воскресенье не желало ни начинаться, ни продолжаться, ни заканчиваться, у него всегда так было — ненавидел воскресенья куда сильнее остальных дней недели, в каждом дне было нечто, благодаря чему невыносимые тиски бытия хоть немного, да ослабевали, пусть на несколько минут, но воскресенье не отпускало, здесь было все точно так же, даром что перебрался в Испанию, даром что эта Барселона совсем не похожа на тот Будапешт, даром что все здесь другое — на самом деле, все здесь было такое же, и воскресенье с той же мучительной силой давило на душу: не хотелось ни начинать,

ни продолжать, ни заканчивать, он сидел в ночлежке городской социальной службы под названием Центр комплексной помощи по адресу: авенида Меридиана 197, куда однажды случайно попал — в самом начале, почти потеряв надежду найти здесь работу, он шел по так называемой Диагонали, просто шел и шел, неизвестно сколько прошло времени, не меньше часа, хотел отвлечься от временного ощущения безнадежности и вдруг оказался на авениде Меридиана перед каким-то зданием, в которое входили похожие на него типы, он тоже вошел, никто ничего у него не спросил, он тоже ничего не сказал, ему указали на кровать среди множества других кроватей, и с той поры он стал ночевать здесь, вот и теперь сидел тут на краю койки, было воскресенье, а значит, предстояло провести весь день в ночлежке — куда пойдешь в воскресенье, тем более, после того что произошло с ним вчера на перекрестке Пасео де Грасья и Каррер-де-Прованс, можно было побыть в одиночестве, поваляться на кровати, в двенадцать получить тарелку еды и порадоваться, что уже полдень, только и этому он уже не мог радоваться — так растерялся главным образом из-за того, что не понимал причины, от этого растерялся еще больше, не находил себе места, прыгал, не мог остановиться, никого вокруг его состояние не интересовало, каждый занимался своим делом, большинство спали или делали вид, будто спят, он попробовал сосредоточиться на неимоверной вони, витающей в воздухе, чтобы не зацикливаться на том, как тянется время, высоко на противоположной стене висели часы, хотелось их чем-нибудь сбить и раздробить на мелкие кусочки, но часы висели слишком высоко, да и шум нечего устраивать, но смотреть на них было невыносимо, поэтому он пытался сосредоточиться на вони и не следить за временем, но ноги так и просились встать и пойти куда-нибудь, и от этого сразу вспоминал, что время не идет, все еще двадцать минут первого, господи, что делать, по округе не погуляешь, кто-то в самом начале на пальцах ему объяснил, что кругом тут Ла Мина, опасный район, сущий ад, где его убьют, так и показали, мол, туда ходить нельзя, Ла Мина, повторили несколько раз, си, ответил он и не ходил по окрестностям, пользовался только бесконечным проспектом Диагональ, который всегда приводил его в центр города, но сейчас он чувствовал себя слишком усталым, таким усталым, что даже думать не мог туда отправиться, хотя так день прошел бы быстрее, но от самой мысли о Диагонали становилось дурно, столько раз по ней ходил, такая она длинная, в общем, остался в постели, как и остальные, в помещении был телевизор, опять же где-то под потолком, но он не работал, оставалось

ждать и смотреть по часам, как проходит время, он понаблюдал за стрелками, потом повернулся на левый бок, закрыл глаза и попробовал уснуть, но не получилось: как только закрыл глаза, появились три огромных ангела, их он видеть не хотел, никогда больше, но, к несчастью, они постоянно возвращались, хоть закрой глаза, хоть открой, он сел на кровати, койка — дрянь, между прочим, посередине провисает, снизу в спину или в бок упирается какая-то жесткая решетка, приходилось без конца вставать, даже ночью, чтобы как-то подправить, увы, все попытки были напрасны, он взбивал матрац, но это лишь на время облегчало положение, под весом тела вся конструкция очень быстро провисала снова и упиралась в жесткую железную сетку, или что там было внизу, вот и теперь: он встал и взглянул на постель — опять провал посередине, еще раз посмотрел и вышел в место, отведенное для курения, внутри курить запрещали, сам он не курил, но хоть побыть в другом месте, не там, где был до этого, однако проблему это не решило, из курилки тоже было видно часы, странным образом их вообще было видно отовсюду, не укроешься, их следовало видеть всем и всегда, тем, для кого эта ночлежка была временным пристанищем, видеть, что время идет, идет быстро или очень медленно, ясно было одно: тот, кто сюда попал, должен помнить, думать о времени, и особенно сегодня, в воскресенье, подумал он с горечью и направился обратно к кровати, снова улегся на провисший матрац и принялся наблюдать за соседом-стариком, который вытащил из-под койки нечто, завернутое в газету, и медленно развернул, а когда вытащил из обертки нож с длинным лезвием, оглянулся и заметил, что за ним наблюдают, смотрят с соседней кровати; старик поднял нож, и в том, как он его продемонстрировал, была некая гордость, кучильо, произнес он и головой показал на нож, увидев, что у соседа на лице не дрогнул ни один мускул, показал нож еще раз и пояснил: кучильо хамонеро — нож для ветчины, но мужчину ничего не интересовало, старик с оскорбленным видом убрал нож обратно, но сосед вдруг сел на кровати, повернулся к старику и жестами попросил, мол, повтори слово, да-да, те два слова, кучильо, кучильо хамонеро — заставил его произнести несколько раз, пока не запомнил, потом дал понять, что хочет еще раз взглянуть, старик обрадовался, вытащил пакет еще раз, развернул и начал приговаривать — явно хвастался ножом, мол, красивый, правда, по лицу можно было определить, тогда он взял нож в руки, покрутил, потом вернул и попытался объяснить, что хочет узнать, где старик его купил, но тот не понял вопрос и отрицательно замотал головой, быстро завернул нож и сунул под матрац, мол,

нет, не продается, ничего не оставалось, опять попробовал жестами объяснить, что хочет узнать, где такой нож можно купить, старик уставился на него, пытаясь разобраться, какого черта соседу надо, даже говорить по-нашему не умеет, но неожиданно лицо его прояснилось и он спросил: ферретерия? — конечно, сосед понятия не имел, что это значит, но подтвердил: си, на что старик вытащил откуда-то клочок бумаги и карандашом что-то нацарапал, вот что там было написано:

УЛИЦА РАФАЭЛЯ КАСАНОВАСА 1,

разобрав неуклюжие каракули, он кивком поблагодарил старика и дал понять, что хотел бы оставить бумажку себе, старик тоже кивнул в знак согласия, протянул было руку, чтобы засунуть клочок соседу в карман рубашки, но это было уж слишком — чтобы кто-то до него дотрагивался, его трогать нельзя, всегда терпеть не мог, когда кто-то его трогал, всю жизнь ненавидел, и теперь никто не может до него дотрагиваться, тем более этот старик своей вонючей, грязной рукой, он резко отодвинулся и, чтобы старику и в голову больше не приходило приставать, повернулся к нему спиной и пролежал так какое-то время, пока не удостоверился, что старик понял: ни в какие разговоры он больше вступать не хочет, вопрос исчерпан, никакого панибратства, полежал неподвижно, снова закрыл глаза, опять появились ангелы, открыл глаза, встал, вышел в курилку, постоял там немного, перешел в туалет, там посидел подольше — единственное место, где чувствовал себя нормально, как и все остальные, здесь можно было закрыть дверь на задвижку и побыть в одиночестве, как сейчас, его никто не видел, и он никого не видел, посидел, надоело торчать тут над горами дерьма — в свободной кабинке, куда он сел, унитаз был забит дерьмом, слив не работал, попробовал спустить несколько раз, перед тем как сесть, — напрасно, так что ему тут довольно быстро прискучило, вернулся в спальню, лег, уставился в мертвый экран телевизора под потолком, перевел взгляд на стрелку часов, снова на телевизор, на часы, так прошел день, в итоге окончательно потерял власть над ногами, особенно над левой — так и тряслась в воздухе, пока лежал, или выстукивала чечетку, когда стоял или шел по полу или по мостовой, к вечеру устал как собака, мышцы не выдерживали, думал, наконец-то поспит как следует, никто мешать не будет, но и сегодня, как всегда, больше чем на полчаса, заснуть не получалось, вокруг храпели, кашляли, хрипели, от звуков он постоянно просыпался, да еще эти ангелы, а к полуночи зазвенел мерзкий комар — натянул на голову одеяло, ста-

ло жарко, полежал в полутьме, встал, пошатываясь добрел до туалета, вернулся, все повторилось по новой: получасовой сон, потом ангелы, чертовы комары, храп, наконец настал час, когда он с надеждой ощутил приближение рассвета, к первым лучам солнца он уже умылся, кое-как привел в порядок одежду и ботинки и выбрался из ночлежки, утреннего чая дожидаться не стал, слишком вымотался, дольше терпеть не было сил, пошел по улице, но не к Диагонали, а в противоположном направлении, просто так, чтобы спросить у кого-нибудь дорогу, но поначалу никого не было видно, улицы здесь были совершенно пусты, но потом попался-таки прохожий — показал ему бумажку с адресом, потом еще одному, и еще, пока не добрался до улицы Рафаэля Касановаса, было еще слишком рано, все закрыто, присмотрелся, прикинул, в каком из домов может быть нужная ему лавка, наверняка в том, где написано Сервисио эстасьон, оно самое, принялся шагать туда-сюда перед входом до тех пор, пока не пришел человек — мрачный, с помятым лицом, поднял наружные жалюзи, открыл магазин, смерил раннего посетителя недоверчивым взглядом; немного выждав, он зашел в лавку, хозяин взглянул на него с таким видом, словно хотел сказать: убирайся-ка отсюда, но он не убрался, подошел к прилавку, вытащил пятьдесят евро, четыре евро потратил вчера на бутерброд и напиток, показал деньги, смял в руке и оперся этой же рукой на прилавок, навалился всем телом и, слегка подавшись вперед, к продавцу, тихо произнес: кучильо — понимаешь? — кучильо хамонеро, и добавил, чтобы никаких сомнений не оставалось, ножик нужен, старик, очень острый ножик.

Марианна Грубер

Скажи им: они должны выжить

Рассказ

Перевод с немецкого Марка Белорусца

ЛЕТОМ 1940 года стояла жара, дождей не было. Земля пересохла, появились трещины шириной в ладонь. Уровень воды в колодцах настолько упал, что приходилось телячьими поводками наращивать колодезную цепь, чтобы достать воду. У ручья, что, сбегая с лесистого пригорка, тек мимо церкви и пересекал деревенскую улицу, выгорела вся зелень. Даже акации вокруг кладбища высохли и зачахли. Когда солдаты шагали по улице, поднимались столбы пыли. Пыль оседала на сухой траве. С южной стороны, где безграничная равнина сразу переходила в линию горизонта, немногое открывалось взгляду: кроме раскаленного воздуха и сверкающего неба, лишь одинокие деревья с безлиственными сучьями да приплюснутые крыши цыганского селенья.

© Marianne Gruber, 1986
© Марк Белорусец. Перевод, 2013
Редакция благодарит автора за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации рассказа на страницах журнала.

Дальше к северу большинство цыган, как только началась война, отправили в лагеря, где их убила тоска по вольному небу, опередив жуткую участь, выпавшую им наряду с другими лагерниками. Цыган на юге дольше не трогали, поскольку они жили постоянно в домах, не кочевали по всему краю и на родном языке больше помалкивали. Утром пораньше они приходили к колодцу на рыночной площади набрать воды. А когда бывали в деревне солдаты, являлись ночью, или Иво, отрываясь от работы в поле, завозил им воду. На тележке стояли бочки, темные от влаги и белые по краям, выгоревшим на солнце. Все лето до самой осени он с рыночной площади привозил воду в селенье и выглядывал Сильву. Сильва заплетала черные волосы в косы и была такой легконогой, будто вовсе не касалась земли.

Осенью в деревню прибыли иностранные рабочие, они должны были заменить на тяжелых работах мужчин. Предстояли новые сражения, повсюду шел призыв в армию. В октябре Иво получил повестку, и Сильва подарила ему на прощание пестрый платок. Он бормотал о возвращении и письмах. Сильва кивала, рисуя какие-то знаки в уличной пыли. Пока ее было видно, она махала ему рукой, после подобрала юбки и побежала в дом.

Поднявшийся к вечеру ветер чисто вымел улицу.

Следующий год принес много побед. Греция капитулировала, Югославию разгромили и заняли Крит. Немецкие армии продвинулись далеко на восток, почта из России шла бесконечно долго. Иво писал письма, а Сильва вместо ответа слала ему засушенные цветы. Только через год Иво, похудевший и посерьезневший, на несколько дней приехал в деревню. Его наградили орденом. У домашних орден вызвал восхищение. На рыночной площади лежала гора досок. Иностранные рабочие складывали их в штабели, стоявший рядом крестьянин отдавал команды на языке недоразвитых.

— Нет тут класть, — кричал он, — там класть.

Иво спросил у одного из иностранных рабочих, что здесь собираются строить.

— Новые бараки, господин обер-ефрейтор, — ответил тот, — только не здесь.

— А где?

— Это еще точно неизвестно, господин обер-ефрейтор.

— Меня зовут Иво, — сказал Иво.

Рабочий оторвался от работы и улыбнулся.

— Пьер.

— Вы хорошо говорите по-немецки.

— Раньше мы жили в Эльзасе. У меня мать из Эльзаса. Потом переехали в Париж.

– Да-а, Париж, – сказал Иво.

Ему рассказывали много всякого о Париже, о парижских женщинах, о вине, о том, что там можно прямо на улице с любым – если захочется – завязать дружбу; что все французы, особенно в Париже, немножко сумасшедшие и в какой-то мере загнивающие; и что там может показаться, что никакой войны нет. А это самое, самое прекрасное.

– Париж, говорят, красивый город.

– Очень, очень красивый, – Пьер благодарно улыбнулся. – Вы с Западного фронта?

– О нет, с востока. Поближе к Смоленску.

Иво достал пачку сигарет и протянул Пьеру.

– Как вы сюда попали? – спросил он.

Пьер, опустив глаза, крутил между пальцами сигарету. Крестьянин, надзиравший за работой, подошел ближе.

– За политику, за что еще, – вмешался он. – Всё теперь политика. Куда не сунешься. Потом повернулся к Пьеру:

– Нет разговаривать, работать! Нет каникул. Стараться.

Один из рабочих выругался по-французски.

– Нет французский, – выкрикнул крестьянин, – здесь немецкий.

Иво спросил по-хорватски, как продвигается дело.

– Смотри, поплатишься за свой язык, – вполголоса буркнул крестьянин по-хорватски и громко добавил на немецком, искоса глянув на Пьера. – Хочешь, можешь его взять. Пусть тебе поможет.

Пьер поднял голову.

– Я беру его, – сказал Иво. Крестьянин кивнул, и Иво повел Пьера к себе. Его дом находился возле пункта сбора молока. В кухне накрывали праздничный стол, и они прошли в сад. Иво спросил, как ему в деревне.

– Неплохо. Люди в общем относятся сносно. Вот только ортсгруппенляйтер[1] устраивает спектакли время от времени, когда в деревне солдаты: науськивает крестьян на иностранных рабочих и цыган. Но солдаты редко появляются, по большей части здесь тихо. Мы, бывает, даже получаем письма из дома.

Сидя на садовой изгороди, Иво обводил взглядом голые фруктовые деревья и пожелтевшую траву.

– Не могу вас понять, – внезапно сказал Пьер.

– Почему?

1. Руководитель местной организации национал-социалистической партии в Третьем рейхе. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— У вас награда за храбрость. Вы — немец. А мы здесь сидим будто войны нет.

— Я — хорват. А с этой наградой... просто случайность. Я не мог по-другому.

Он предложил Пьеру еще одну сигарету. Некоторое время они, молча, курили. Иво думал, что ему через пару дней снова на фронт, туда, где война, и хорошо тем, кто остается. Потом он спросил Пьера, не придет ли он в обед: будет маленькое торжество.

— У вас дома?

— Да.

— Простите, но вы очень наивны.

Иво бросил на землю окурок и растоптал огонь каблуком.

— Наверное, — сказал он. — А почему?

— Вам не следует громко говорить то, что вы говорите. Что вы — хорват. И вы не должны так долго разговаривать со мной, тут, на виду. Еще нужно дать мне какую-нибудь работу, чтобы у вас не было неприятностей.

Иво спросил, чем бы ему хотелось заняться.

— Все равно, — сказал Пьер.

Сошлись на том, что Пьер очистит сад от палой листвы и подрежет кусты с краю у изгороди. Повозившись в саду, они вдвоем отправились помыться к колодцу, потом зашли в парадную комнату, из которой успели убрать всю лишнюю мебель, чтобы хватило места для длинного стола. Собралось несколько друзей и родственников, заглянул и ортсгруппенляйтер поприветствовать Иво и расспросить о наступлении. Потом пришла старшая дочь соседа справа, все чуть подсмеивались над ней и Иво. Говорили, что он теперь вроде снова вольная птица, с цыганщиной наконец-то, слава Богу, покончили, но такому как он парню, пожалуй, и нужно было перебеситься, никто не против. Иво выпил немного лишнего, как всегда, когда заговаривали о войне, и рассказал, как брали один город, который прежде обстреливали много часов подряд, и как убегали из этого города люди: женщины, дети и старики. И как его камрат рядом рухнул мертвый. Выстрелили из чердачного окна дома, на нем висел белый флаг. Убитый был хорошим товарищем, настоящим другом, Иво захватил чердачного стрелка. Стрелял очень пожилой мужчина. По дороге к месту, где его временно заперли, он, не переставая, твердил, что ни о чем не жалеет, только досадно, что попал лишь в одного, а смерть — когда больше ни разу не будет никакого утра — хорошая штука.

Ортсгруппенляйтер выпил за здоровье Иво и объявил, что война скоро закончится, победят самое позднее через

год. Франция повержена, Англия долго не продержится, Россия — созревший плод, она только и ждет, чтобы ее освободили от большевиков. Это стало возможным благодаря таким парням, как Иво, фюрер наверняка гордится ими. А Иво вспоминал, как он напивался, чтобы все выдержать: войну, беженцев, мертвых, и как он лежал без сна ночами — думал о Сильве, и, безразлично пьяный он был или трезвый, после каждой ночи утро наступало ясное и неумолимое, не оставлявшее времени для размышлений, и жалко было того очень пожилого мужчину, у которого убили всю семью, — и ничего тут не поделаешь, ничего, вообще ничего. Он таких стрелков и в дальнейшем будет хватать, пока самого его не прихлопнут.

В кухне, у печи, сидел Пьер, посматривал через открытую дверь в парадную комнату и прислушивался к разговорам; выпивка у него была. Однако ортсгруппенляйтер Пьера заметил и осведомился, что он тут делает.

— Он нужен мне, — сказал Иво. — Потом я сам отведу его обратно.

Ортсгруппенфюрер скривился, но, поскольку только что сам утверждал, что фюрер гордится Иво, пришлось промолчать.

Почти сразу после обеда Иво снова пошел с Пьером в сад. Они, не произнеся ни слова, проработали до темноты и тогда лишь остановились.

— Я вас доставлю обратно, — сказал Иво. — Съедите еще что-нибудь или выпьете?

— Не знаю, можно... Могу я взять с собой?

Иво кивнул и завернул ему все съестное, что сумел найти. Пьер удивленно смотрел на него. По дороге к рыночной площади, он предложил:

— Если вам что-нибудь понадобится... Кажется, ваша девушка — цыганка. Она здесь живет?

Иво ничего не ответил.

— Я мог бы ей передать какие-нибудь вести от вас, если вы сами... Нам иногда позволяют прогулки. Так, пожалуй, и будет, если кто-нибудь не сбежит. Нам ничего не стоит зайти в селенье. Я хочу сказать, нам ничего не стоит это сделать.

— Я сам пойду, — сказал Иво.

Пьер остановился.

— Вы — славный парень. Но вы, и вправду, очень наивны. Вы не очень-то полагайтесь на мундир, орден и все такое. Поначалу это подействует. Но войну Германия проиграет, победить ей не удастся. И чем ближе к концу, тем хуже будет. Везде.

— Мы везде побеждаем.

— Пока что. Россия — большая. А еще есть Америка.

— Если вы наденете мундир и окажетесь напротив меня, что вы станете делать?

— Буду стрелять. Но это не какие-то личные счеты.

— Ну а если вы меня узнаете?

— Буду стрелять, — повторил Пьер. — Потому что война. И вы будете стрелять.

— Мы в самом деле можем стать врагами?

— Мы никогда, Иво, не станем врагами, отныне никогда, но мы будем стрелять, оба, потому что на нас разные мундиры, потому что на войне не нужно особых поводов — только другой мундир да какая-нибудь безумная идея, нередко под названием "отечество". И такой способ умерщвления людей похуже всех других. Я бы хотел... я мог бы растолковать вам это за стаканом вина, если бы проклятая война не дышала в затылок.

На рыночной площади они разделились, и Иво пошел в сторону цыганского селения. Но там его встретили только запертые двери и занавешенные окна, а Сильва, появившаяся из соседнего со своим дома, бросилась от него прочь, будто от чужого. Он нагнал ее за церковью, уже на опушке леса. Лес стоял голый, наполненный осенью, как год назад, когда он уходил в армию. Сильва убегала все дальше между свежими пнями недавно срубленных деревьев, по взрытой земле, на которой лежали выкорчеванные кусты. Когда Иво снова обнаружил Сильву, она, съежившись, сидела на земле.

— Ты не должен был приходить, — сказала она.

— В деревне то же самое говорят.

— Вот тебе и нужно было держаться подальше.

— Почему?

— Ты же теперь герой.

Иво покраснел и покачал головой. Он поднял Сильву и показал ей платок. Рассказал, что однажды перевязал ее платком пулевую царапину, что порой засыпал с этим платком под головой.

— Так делают маленькие мальчики.

— Да.

— Но ты уже не маленький мальчик.

— Я хотел бы им быть. Пока ты маленький, можно заниматься лишь одними замечательными вещами: руками ловить рыбу в ручье, или бросаться снежками, или...

— ...или дергать за косички маленьких девочек.

Иво рассмеялся. Вспомнил, как гнался за Сильвой, потому что она не хотела говорить, что кричала им вслед ее сестра.

— Не забыл еще? — спросила Сильва. — Тогда ты очень злился.

— Ты отказывалась перевести. Еще сказала: “Нельзя, чтобы кто-нибудь понимал цыганский язык, если он не цыган”. А я пообещал стать цыганом.

— И не стал. Теперь хорошо, что не стал.

— Нет, не хорошо, — возразил Иво. — И лучше бы мне не быть солдатом.

— Да вы ведь и тогда играли в войну. А нашим единственным оружием был наш язык. Вы никогда не знали, о чем мы сговариваемся.

— Мы играли в войну, но вечером, перед тем как идти домой, снова относились друг к другу по-доброму.

Они прошли дальше, вглубь леса, вспоминая, как бывало тогда, и все было почти как тогда. На пригорке они увидали облако, над горами оно плыло на север. Солнце казалось блекло-желтым, вдруг стало очень холодно, неожиданно они очутились посреди облака. Пошел снег, ранний первый снег в этом году, и они поняли, что зима настанет суровая и долгая. За церковью попрощались. Иво бормотал, что вернется, что придет еще, но Сильва покачала головой.

— Ты не можешь больше рисковать.

Он крепко прижимал ее к себе и уверял, что готов всем рисковать. Возможно, Пьер доставит ей весточку от него, Пьер — иностранный рабочий, француз...

— Никто не должен знать.

— Да пусть все знают.

Сильва поглядела на него и сглотнула комок в горле.

— Ты не понимаешь, — выдавила она из себя, — совсем ничего не понимаешь. Возможно, ты вернешься. Возможно, будешь потом здесь жить. Если тебе повезет. Но нас к тому времени давно тут не будет. Теперь уходи.

— Куда?

— Куда хочешь. Только уходи.

— А ты?

Она достала из кармана камешек. Из тех, что попадаются на дне ручья.

— На, возьми. Только это от нас и останется.

— Бессмыслица какая-то. Ну давай.

Возвратившись обратно в деревню, Иво заметил, что за ним тянется след. По деревенской улице пролегли в снегу следы от ворот к воротам, и каждый мог узнать, куда ходил сосед.

Попозже Иво наблюдал из окна трактира, как снежные хлопья мельчали и уплотнялись. Напротив него сидел ортсгруппенляйтер и рассуждал об охоте. Он завел новую собаку: редкие способности, особенно пригодна для охоты на лис. Разговор шел о собаках и ружьях, пока они напивались, а по-

том снова о войне, о потрясающих победах. Старая Ага[1] прошла мимо окна и быстро отвернулась, почувствовав на себе взгляд Иво. Когда ортсгруппенляйтер заговорил об опасности загрязнения германской расы неполноценными расами, а Иво увидел, как медленно и тяжело ложится снег, понятно стало, что его путь в цыганское селенье легко прослеживается и отпуск у него закончился.

Через день он покинул деревню, но перед тем отдал Пьеру все деньги, какие у него были.

В июне 1942 года было новое наступление, немецкая армия продвинулась еще дальше на восток. На северном фланге войска перешли Дон, на юге армия генерала Паулюса продвинулась к Сталинграду. Бои шли жестокие и кровопролитные. В октябре Сталинград все еще не был полностью взят. Подоспели главные силы Красной армии, и в ноябре немцы оказались в окружении. Они в ноябре и в первой половине декабря еще надеялись, что их вызволят из "котла" ударом с юга или отдадут приказ прорываться. Но прорыв запретили, а попытка снять окружение провалилась. Прямо перед тем, как кольцо у Сталинграда замкнулось, Иво зацепило. Возле него взорвалась граната, разносчика пищи, которого он сопровождал, убило, кругом валялись осколки. У Иво раздробило бедро, левой руке тоже досталось и голову задело. Он долго лежал в беспамятстве и не понимал, что у него жар и что врачи пытаются сохранить ему ногу. Сначала, правда, они хотели ее ампутировать, но все же решили этого не делать и в конечном счете оказались правы. Иво сперва научился ходить на костылях, потом ходил с палочкой. В феврале сорок третьего ему сообщили, что Паулюс капитулировал, и хирург, сшивший ему ногу, поздравил его задним числом с той гранатой, благодаря которой он ускользнул из "котла" и стал, вдобавок, непригодным для фронта. Они выпили за гранату и за послевоенную жизнь. Врач повторил, что Иво очень повезло: в плен не попал, отделался всего только негнущейся ногой. В лагерях у русских почти так же скверно, как и у немцев. Самые худшие немецкие лагеря, где над входом написано: "Труд освобождает", Иво разве не слыхал? И хирург рассказал про Аушвиц и ему подобные места, где теперь приспособились убивать заключенных газом и согнали туда евреев со всей территории рейха. Только Италия, Венгрия и Румыния на это не согласились. Дерьмо — война, и рейх — дерьмо. А Иво хорошо те-

1. Сокращенное имя, от немецкого Агата.

перь, он не сможет этому паскудному режиму полноценно служить, да и не обязан. И Иво — он надеется — языком болтать не будет. Иво его заверил и спросил про цыган: обходятся ли с ними так же, как с евреями. Врач подтвердил.

— В этом треклятом фатерланде кто не соответствует норме — не имеет права жить. А норму определяет партия...

Но вдруг он замолк и не проронил больше ни слова. Откуда-то выползло недоверие, и нашел страх. Разговор закончился, врач внезапно вскочил и вышел из комнаты. Иво все это время думал о Сильве и о камешке, но мундир, где в кармане лежал камешек, разодрала в клочья граната.

В конце февраля его выписали из госпиталя и отправили домой, в отпуск. Повсюду лежал толстым ковром снег. Пути в сторону от шоссе оказались временно непроезжими, и, если ты шел пешком, видно было лишь небо и дорогу, а между ними отдельные вертикали, будто эскизные зарисовки: древесные стволы, оконные переплеты, дверные косяки.

Была уже середина марта, когда он наконец добрался домой. По дороге он еще навестил семью одного камрата, которому не удалось выбраться из Сталинграда. Потом на два дня заехал к родственникам в Оденбург[1]. Они, глядя на Иво, никак не могли забыть про его ногу и о том, что он калека.

К дому он подошел огородами, оставил свои вещи у копны сена и пошел по деревне, не показавшись домашним. На рыночной площади развевался флаг со свастикой, позади школы появился барак, в котором размещались иностранные рабочие. Лужайка за бараком стала, видно, чем-то вроде плаца, где собирались по утрам рабочие, перед тем как их посылали на разные работы: в поле, в лес или еще куда-нибудь. Посреди лужайки стояла мачта, на ней тоже вился флаг со свастикой. Иво понаблюдал за девушками, которые слонялись возле барака; заметив его, они поспешно убежали. Двух он помнил по школе, другие были знакомы по танцам в церковные праздники и перед работой в поле, но они его не узнали. Иво стоял, опираясь на палку, и глядел им вслед, как они бежали вдоль улицы и друг за другом скрылись в каком-то доме. Потом он увидел, как спускается с пригорка груженная дровами повозка, а со стороны деревни подъезжает телега. Когда обе они скрылись, он отправился в цыганское селенье. Снег на дорогах был бурый, потемневший, Иво пришло в голову, что только он начнет таять, спокойствию в деревне придет конец. Не-

1. Венгерское название — Сопрон, город на западе Венгрии, в непосредственной близости от австро-венгерской границы, до 1921 г. считался австрийским.

бо заполнил фён, теплый сухой ветер, Сильве постараться бы убраться в Венгрию или даже подальше, на родину ее прадедов, в Румынию, где они чувствовали себя дома. Добравшись до селенья, он увидел, что дома в нем брошены и разрушены. А чего он ждал, спросила его старая Ага, ведь война, война и война, везде: внутри и вовне война. У нее в завернутом подоле передника лежали латунная чашка и ложка, должно быть, она нашла их в развалинах. Иво перелез через поваленный забор и пошел к другим домам, они были покинутыми, как и дом Сильвиной семьи. На взрыхленной земле, перемешанной с тающим снегом, остались свежие следы. Видать, подожгли. Везде лежал еще не развеянный ветром пепел, и сажа на стенах еще липла.

— Когда? — спросил Иво.

— Четыре дня назад, — ответила Ага. У нее руки были в саже, щеки — в саже, и на волосах — пепел.

— Кто?

— Все мы, — думаю.

Она засеменила ему вслед, на ходу распахнула еще не сгоревшую дверь, висевшую на одной петле.

— Мы молчали. Как зайцы, прижимали уши. И научились хохотать над каждым, кто умирает.

Раньше Ага была повитухой, помогала почти всем роженицам в деревне. После того как армия Гитлера вступила в Австрию, она закрылась у себя в доме и указала на порог ортсгруппенляйтеру, когда тот спросил, не хочет ли она вступить в партию. В деревне появилась новая повитуха, но пробыла недолго, никто не хотел ее помощи.

— Мы не могли знать, — сказал Иво, — ведь сначала так не было. Он, однако, понимал, что они могли всё это знать. Ага рассмеялась. В смехе звучала горечь.

— На неправде нет никаких знаков, да? Смотришь, а она уже здесь. Это они там, в городе, верят всему, что им говорят. А мы должны были почуять нашими крестьянскими носами. Вонь от неправды ее опережает.

Иво вошел в лес, и, передохнув, поднялся на пригорок, откуда вдали видна была Венгрия, пуста[1] и небо. Там он последний раз был с Сильвой. Потом он спустился в деревню и стал напиваться в трактире. Подошел ортсгруппенляйтер, расспрашивал Иво, давно ли он приехал, получил ли снова орден и как случилось с ногой. Немного погодя он спросил, как, по мнению Иво, пойдет дело дальше.

1. Пуста (*венг.* Puszta) — степные пространства в низменной части Венгрии и в восточной части земли Бургенланд в Австрии.

— Зима всех зверски измучила, — ответил Иво.

— Дед Мороз, да? Русские еще сильнее будут мерзнуть, у них — никаких идеалов, не то что у нас. Идеалы согревают.

Он подсел к Иво за стол. Иво подумал, что надо бы его послать к черту, но промолчал.

— К фронту ты, пожалуй, непригоден, — сказал ортсгруппенляйтер.

Иво кивнул.

— Но можно послужить фатерланду и не на фронте. Есть много всякой работы, кто-то же должен ее делать.

Иво молчал, ортсгруппенляйтер объяснял молчание Иво ранением и пьянством. Когда они дошли до трех литров, и Иво почувствовал, как тяжесть вина, соскальзывая с языка, забирается ему в ноги и в тело, а голова постепенно опустошается и задурманивается, к ним подошел старый крестьянин и спросил про русских. У него сын пропал без вести в Сталинграде. Вслед за ним еще один спросил сначала о русских солдатах, затем — о женщинах. И Иво рассказал о девушках, которые приходили к солдатам в расположение роты, хотя это было запрещено. Как солдаты подменяли друг друга в караулах, чтобы девушек не заметили. Еще описал, как его ранило, но прежде упомянул случай, из-за которого его наградили второй раз.

— Да-да, — вмешался ортсгруппенляйтер, — война — это место для полноценных мужчин. Здесь он, смутившись, осекся, потому что Иво больше полноценным мужчиной не был, по крайней мере, полноценным солдатом.

— Почему бы вам не пойти вахманом в какой-нибудь лагерь, — посоветовал он, — стрелять, на худой конец, вы сможете. Руки целы, правда же?

— Ну да, — сказал Иво и сжал кулаки. Около полуночи он вышел из трактира и направился к дому. Домашние уже спали, Иво постучал в окно спальни. Когда и повторный стук никого не разбудил, он залез на сеновал над хлевом, там слышно было, как шуршали соломой коровы, к нему наверх поднималось тепло от их тел. Холод по дороге к дому его протрезвил, и голова больше не была пустой. Все время, пока не заснул, Иво думал, что, если он станет вахманом в лагере, можно будет поискать Сильву; он — дурак, если верит, что это удастся, но нужно попробовать и хотя бы помочь бежать каким-нибудь ее сородичам. Чтобы они выжили, наперекор желанию их истребить. Хотят уничтожить — пусть живут, хотят извести — пусть вернутся. И если стараются, чтоб следа не осталось, — пусть свой след отпечатают на лбу мира. Пусть умножатся — раз их хотят искоренить. И думал он, что не хотел бы здесь жить, но живет, это — его родина, и все здешние такие, как он, а он такой, как они.

Иво до конца года, а затем весну следующего пробыл переводчиком. Он хорошо говорил по-венгерски и сносно на чешском, его гоняли по всему краю. За это время он познакомился с врачом, который, если ему передать привет от тети Эммы и добавить, что она чудесная женщина, выписывал молодым парням освобождение от армии и ничего за это не брал, кроме шнапса. Для некоего человека, называвшего себя Францем, Иво выносил из канцелярий служебные бланки и дважды штемпели. Это давало возможность выписывать отпускные документы и помогать таким способом людям бежать. Он запоминал места, где были спрятаны консервы и одеяла, чтобы бежавшие не умерли от голода и не замерзли. В мае Иво поступил вахманом в Аушвиц. Венгрию в начале марта оккупировали немецкие войска, теперь день и ночь в лагерь катили товарные вагоны. Когда Иво прибыл в лагерь, уничтожение шло полным ходом, до конца года нужно было умертвить 700 тысяч евреев. Иво понял, что сопротивляться этому едва ли имело смысл. Сделать ничего нельзя, разве что поменьше избивать и не наступать потом на лежащего. На утренней перекличке, когда он впервые увидел эту массу истерзанных, изломанных тел, его вывернуло, и вместо него поставили другого. Утро выдалось светлое, сверкающее солнце обводило четкими контурами происходящее. Несколько облаков на небе были островами, на которых души мертвых грезили о иной жизни в иных краях, пока вопли под ними нарастали и напоследок глохли, как это давно оглохшее пространство. В полдень Иво отправил два письма: одно — домашним, другое — старой Аге. Оба письма совпадали почти дословно: “Нужно делать, что возможно, даже если ты больше не видишь смысла в этих действиях. Дай Бог, чтобы запомнили о нас в конце концов не только то, что происходит сейчас”. Потом он сварил из табака и кое-каких снадобий питье, после принятия которого повышалась температура тела. В медчасти, куда Иво поместили, он попытался уяснить для себя общую картину расположения лагеря. Побег был возможен только через прачечную. Выйдя из медчасти, Иво стал подыскивать себе связанную с прачечной работу. К середине июля он уже не сомневался, что сумеет трех-четырех заключенных доставить за территорию лагеря, запаковав их в бельевые мешки. Он раздобыл гражданскую одежду и спрятал ее в леске поблизости, где можно было укрыться днем, чтобы ночью пробираться дальше. К началу августа все было готово. Ему к тому времени исполнилось двадцать четыре года, и дожить до двадцать пятого дня рождения представлялось маловероятным. За плечами у него было восемь классов сельской школы и три с половиной года войны. Он

имел двух братьев и трех сестер, и в его солдатской книжке значилось немецкое имя Ханс, соответствующее его имени – Иво.

Во вторую неделю августа он выбрал четырех заключенных — они ему показались еще достаточно крепкими, способными вынести побег — и снабдил их сведениями об окрестностях лагеря и о предполагаемых дальнейших маршрутах. Трех женщин и одного мужчину он в третью неделю августа вывез из лагеря, одну из женщин звали Илона, она была цыганка. В июле 1945-го она добралась до деревни, где жил Иво, хотела его разыскать. Война закончилась, солдатские окопы и воронки от снарядов зарастали травой, на полях работали люди. В доме у Иво Илона увидела на стене его фотографию, обвитую черным крепом, на ней он, четырнадцатилетний, выглядел слегка строптивым и очень смущенным подростком. Илону приняли за нищенку, дали ей немного молока и хлеба, и выставили за дверь. Илона ушла раздраженной, ничего не сказав об Иво. Она отыскала бывшее цыганское селенье. Развалившиеся дома все еще оставались пустыми. Потом нашла старую Агу. Та как раз собралась белить кухню, когда пришла Илона, чтобы исполнить обещание, данное Иво на случай, если ей повезет, а ему нет. Она должна была разузнать о Сильве и Пьере и рассказать про Иво его домашним. Она рассказала о нем старой Аге.

Спустя годы я снова приехала в деревню: меня, городского ребенка, туда отправили одолевать послевоенное недоедание и туберкулез. В жаркий августовский день старая Ага мне рассказала историю Иво. Почти слепая, еле переставлявшая ноги, она теперь больше жила в своих воспоминаниях и повествовала о времени, отдаленном от меня и чужом, словно Пунические войны.

А Пьера война пощадила. Но Сильва и вся ее семья не возвратились. В цыганском селении снова жили люди. Так и осталось неизвестным, как погиб Иво. В извещении о его смерти стояло: “Пал в боях за фюрера, народ и фатерланд”.

— Они его расстреляли, — сказала Ага, — и хорошо, если только расстреляли. Она показала мне письмо Иво. Непривыкшая писать рука, почерк школьника, уже трудно было разобрать слова. На оборотной стороне надорванного листка в линейку приписка: “Скажи им: они должны выжить”.

Магдалена Тулли

Бронек

Рассказ

Перевод с польского Ирины Адельгейм

ГЕРОИНЕ этой истории хотелось бы, чтобы война закончилась наконец и для нее. Но война, однажды начавшись, не имеет конца. Во всяком случае для некоторых. Генералы подпишут акт о капитуляции, в небо взметнутся разноцветные огни салюта, солдаты напьются от счастья, что уцелели. И — на гражданку. А для гражданских продолжается тихая, незримая война. Они истекают кровью — в одиночестве, день за днем, ночь за ночью, год за годом. До гробовой доски, а кое-кто и гораздо дольше. Война, подобно имуществу банкрота, переходит в собственность следующих поколений.

Наследованию подлежит, например, участие в великих сражениях. Внукам так просто от них не отделаться. Они получили свой процент от Сталинградской битвы или, скажем, от Курской, а кому-то перепало несколько сцен уличных боев в Берлине, отдельные фрагменты, совершенно неразборчивые. По закону они унаследуют также цвет глаз, фамилию, язык, увы, со всеми вытекающими последствиями, наименее хлопотные из которых — фронтовые присказки, на протяжении нескольких поколений звучащие в домашней тиши. О самом страшном лучше не вспоминать. Трудно сказать, что луч-

© by Magdalena Tulli
© Ирина Адельгейм. Перевод, 2013

ше — фобия или маниакальность и какую из двух стратегий стоит рекомендовать наследникам. Те, кому досталась крошечная доля какой-нибудь битвы, могут считать, что им еще повезло. Бывает и хуже. Унижения, принесенные с войны вместо часов, колец, живописных полотен и прочих трофеев, на десятилетия замораживаются на вкладах с низким процентом, о чем сами заинтересованные лица предпочли бы забыть, да сделать это не так-то легко.

Как известно из курса физики, энергия не исчезает бесследно, она лишь меняет форму, порой производя при этом некоторые разрушения. Энергия насилия преобразуется в блуждающую без цели и направления энергию страдания, обиды и ненависти. В таком виде она и достанется следующим поколениям, хотят они того или нет. Ее, в сущности, можно даже использовать, хотя область применения невелика. Можно, например, обратить такую энергию в силу — но не в работу, как гласит учебник физики. Она никому не подвластна. Это она, энергия обиды и ненависти, память об унижении, берет нас в оборот — и вот мы уже сами не знаем, кем себя считать. Знаем только, что оказались в минусе. И ничего с этим не поделаешь, разве что те, кого обидели сильнее всех, решат отобрать у других то, что отобрали у них. Вот как эти, что маршируют навстречу в тяжелых черных ботинках, тесня нас с тротуара.

Героиня этой истории никаких сражений в своей доле наследства не обнаружила. Там оказались не битвы, а нечто гораздо более неприятное. Скажем, запертая шкатулка, не слишком большая, но тяжелая — несколько тонн. Без ключа — он где-то потерялся. Может, его выбросили из сострадания, чтобы облегчить вес хоть на пару граммов? Премного благодарна за такое сострадание. Будь речь обо мне, я бы знала, что деваться некуда, хочешь не хочешь, а придется найти способ взломать шкатулку и посмотреть, что тебе досталось. Налог на наследство взимается авансом испокон века, и платить его нужно до самой смерти, если не дольше. А надо сказать, что налог на эти запертые шкатулки грабительский: вечные сомнения, холодное дыхание на затылке и пустота вместо твердой почвы под ногами. Она платила, но всегда хотела узнать за что.

Взломав шкатулку, она стала обладательницей солидного отрицательного капитала. В жизни от него пользы, как от перевернутой лестницы, по которой спускаешься головой вниз, прямо под землю, в тяжелые, словно градовые тучи, залежи грунта. Забудьте о законе всемирного тяготения. Иногда он работает, иногда — нет. Вот в самый нужный момент не сработал, и все в этом мире встало с ног на голову. Если учитывать близких и дальних родственников вместе с их несовершенно-

летними детьми, наследницей которых она также оказалась, ей принадлежат кубометры тяжелой жирной почвы. Сверху растет трава, над травой плывут облака — эти облака тоже, в сущности, ее. Ей причитается множество больших и маленьких ботинок с одной знаменитой экспозиции, да еще десятка полтора, не меньше, рассыпающихся от старости чемоданов. И дым, моментально поднявшийся вверх темной тучей — да так никогда и не рассеявшийся.

Она могла бы заявить о своих правах. Но я бы на ее месте ни за что не стала этого делать. Наоборот — я стараюсь держаться от своего наследства подальше. Тщетно. Неизменно угрюмо, настойчиво, бесцеремонно преграждают мне путь будоражащие душу географические названия. Достаточно из произвольной точки А переместиться в произвольную точку Б. Для других путешественников, снабженных историями получше, эти названия остаются невидимы. Надписи над перронами легко пропархивают мимо окна вагона-ресторана, между двумя глотками кофе со сливками. Взгляд скользит по ним, не обнаруживая подтекста.

Более подробную инвентаризацию наследственной массы удалось провести, только когда мать решилась на болезнь Альцгеймера. Именно в этот момент время в ее квартире повернуло вспять. Сперва испарился из памяти вчерашний день, затем весь прошедший месяц. За стенами дома числа под названиями газет по-прежнему следовали один за другим в порядке увеличения, мать же, напротив, вернулась из конца марта в его начало. Осталось перевернуть обратно уже перевернутую однажды страничку календаря — и мы снова оказались в конце февраля. Продолжая двигаться против течения, с каждым месяцем теряя годы, мать выбрасывала из памяти известные мне обстоятельства своей жизни и припоминала другие, совершенно неведомые. Сначала она напрочь позабыла, что имеет двоих внуков и зятя. Затем пришла моя очередь.

— Вы сегодня ходили с дочерью на прогулку? — спросила как-то сиделка, сменявшая меня после обеда.

О прогулке моя мать забыла, но это была мелочь.

— С дочерью? — переспросила она с улыбкой. — Откуда вы взяли? У меня никогда не было дочери.

Мы не стали устраивать из этого трагедию, догадавшись, что как раз минуем середину пятидесятых годов. Моя мать там не остановилась. Нетрудно было предвидеть, что ждет нас дальше. Рано или поздно мы отступим к концу войны, к генералам, подписывающим мирные договоры, праздничным салютам и пьяным солдатам. Еще до того, как настал этот

день, мать начала беспокоиться. Ей непременно нужно было куда-то вернуться, но она не помнила точно куда.

"Может, в Лодзь?" — "Там я уже была, там я искала", — говорила она устало. "Может, в Милан?"

Нет-нет. Это все не то. Ей нужно было вернуться в Маутхаузен.

— Но зачем? — не унималась я.

Не за чем, а за кем. Она спрашивала, не могу ли я поехать вместе с ней. На тот момент я была ее троюродной сестрой, но понятия не имела, какую ношу фамилию. "Марыся", — обращалась к ней моя мать, глядя мне в глаза, и пришлось удовлетвориться этим именем, хотя поначалу оно ничего мне не говорило. Моя фамилия матери была известна явно лучше, чем дальнейшая судьба. Например, мать не знала, что я погибла в Освенциме. Узнала она об этом значительно позже, поэтому раньше знала, а теперь — нет. В обратной хронологии получалось именно так. А поскольку мать пока не знала о моей смерти, то могла просить о чем угодно. В том числе и об экскурсии в Маутхаузен, хотя это, видимо, было сопряжено с неимоверно хлопотными походами по учреждениям с большими мрачными приемными. Нам нужно было забрать какого-то ребенка. Но какого, чьего? Мать порывалась мне объяснить, но подводила память. Не успели мы собраться в путь, как она уже обо всем позабыла.

Наступил день освобождения — и миновал незаметно, серый и пасмурный. Генералы, пьяные солдаты, салюты? Не помню. Радоваться было нечему. В обратной хронологии освобождение вело в хаос войны и оккупации.

Прямиком в концентрационные лагеря. На протяжении нескольких тревожных ночей моя мать просыпалась каждые полчаса, словно то и дело объявляли поверку. В конце августа сорок четвертого все вдруг изменилось. Видимо, это был день прибытия ее эшелона в Освенцим и предварительной селекции. По центру нашего двора пролегала граница миров: со стороны платформы раскинулся мир прошлого, со стороны лагеря — простирался будущий. Граница миров — линия, которую не переступишь просто так, за здорово живешь. Будущее — милость, даруемая не всегда и не всем. На границе отсеивают тех, у кого будущего нет. Эти отправятся в газовые камеры, не успев даже попрощаться. Значит, вот здесь старшая сестра... Но я всегда слышала только о младшей. Так сестер было трое? Неподходящее время для расспросов — в эту минуту решалась их судьба. Старшей сестре удалось незаметно проскользнуть в колонну, в которой оказался Бронек, ее девятилетний сын.

Долгие годы мать избегала этого воспоминания — вероятно, почва памяти, точно прогнившая доска, не выдержала бы его тяжести. Колонна стоит на плацу, потом исчезает, потом над плацем повисает туча черного дыма. Хотя на самом деле колонна никогда не исчезнет, как не исчезнет и черный дым. Этот плац, рассеченный границей между мирами, — место, которое невозможно покинуть, хотя и жить в нем тоже нельзя.

Следует признать, что в мироустройство заложен элемент сострадания к человеку: людям не дано заранее заглянуть за кулисы, туда, где им суждено испустить дух. Так же рекомендуется поступать с убойными животными. Их смерть должна быть мгновенной, как можно более быстрой, чтобы не слышать страдальческий рев, не видеть окровавленные полутуши на крюках. Однако тогда, когда все встало с ног на голову, события пошли по другому пути — назовем его запасным, — и судьбе удалось учинить немалый хаос, аннулировав некоторое количество уже утвержденных решений. По причине повреждения главного механизма сцены кое-кто выбрался из-за кулис, что вообще-то не предусмотрено. То, что они там увидели, осталось при них навсегда. Воспоминания о холодной пустоте, от которых никак не избавишься. Их не удавалось ни проглотить, ни выплюнуть, ни понять, ни забыть. Таким образом, смертный час, не завершившись в положенный момент и должным образом, затянулся для них на десятилетия.

Подобного рода ущерб был нанесен и нескольким переодетым в мундиры статистам, которые в ключевой сцене селекции выступили в роли судей — они также заглянули за кулисы и видели. Впрочем, их это не касалось: отсюда — гордыня, отсюда — дерзость. Но даже если они тогда и смеялись, это их не спасло. И те и другие захлебнулись в собственных сомнениях — без надежды на избавление, в одиночестве.

Согласно правилам, движение одностороннее. Не предусмотрен случай моей матери, которая в конце жизни повернула и поплыла против течения. Она, как ни в чем не бывало, перешагнула границу миров, и никакие охранники не сумели ее задержать. Очень жаль, что этот фокус никому не удался тогда, в первый раз. После того как мать пересекла платформу и плац в обратном направлении, ситуация могла измениться уже только к лучшему. И дом, и двор вдруг перенеслись в Лодзь, а стояло по-прежнему лето сорок четвертого, вероятно, начало августа. Прислушавшись, мать различала вдалеке грохот советской артиллерии.

Для грохота советской артиллерии в медицине имеется специальный термин — ушные шумы. Было даже какое-то ле-

карство, которое следовало принимать после еды, но оно, разумеется, не помогло. От такой штуки, как артиллерия, при помощи таблеток не избавишься. На самом деле мать могла тогда слышать только немецкие гаубицы, бившие по варшавским повстанцам при глухом молчании советской артиллерии, стоявшей на другом берегу Вислы. Грохот действительно разносился далеко. Еще до того, как восстание было подавлено, мать, гуляя в парке с внуками, сломала руку и носила гипс, очень ее тяготивший.

— Нам не пора идти в больницу снимать гипс? — спрашивала она каждое утро с тревогой, поскольку забыла, где находится больница. Адрес наверняка знал один из кузенов, тот, что отвел ее туда, его и надо бы спросить. Но мы понятия не имели, где найти кузена. Ведь он был застрелен на улице четыре года назад, в самом начале войны, потому что на рукаве отсутствовал знак.

— Вы правы, — признала моя мать, поразмыслив.

Но удивительно, насколько похож был на него тот, который...

— А может, вовсе не на него? Может, на кого-то другого? — допытывался мой муж. Неважно, матери было не до того. Гораздо важнее другой вопрос. Неизвестно, у кого раздобыть адрес. К тому же больница, несомненно, находилась в Лодзи, там же, где мать и ее квартира. А в Лодзи никто из нас не ориентировался. На чердаке жил с семьей второй кузен, и мать надеялась, что он что-нибудь подскажет.

— Но здесь нет чердака, — заметила я.

— Нет? — удивилась она и пальцем указала вход на чердак — дверцы антресолей. Нечего ломать голову, надо просто открыть их и сходить наверх. Мать подняла глаза и стала внимательно рассматривать дверцы.

— Как они туда забираются? Наверное, приставляют лестницу, — предположила она. Но лестницы не было. Может, они втаскивают ее наверх? Загадка казалась неразрешимой, и мать предпочла о ней забыть. Она устала от выяснений, но как раз в этот момент вдруг все вспомнила. Да ведь в больницу отвел ее Хенрик. Наверняка он. Хенрик, ее старший брат.

Так у нее был брат?

Видимо, был. Но мы не знали, где его искать. Поэтому, когда пришло время снимать гипс, мать согласилась поехать с моим мужем в ближайшую районную больницу, и мы обрадовались, что ее не отправили оттуда в Лодзь.

Хенрик появился в нашей жизни неожиданно, и мы не сразу поняли, откуда он взялся. Это выяснилось лишь в сорок третьем. Была поздняя весна, когда он вернулся из шта-

лага[1]. Пришел — молодой, чуть за двадцать, небритый, смертельно усталый, — сел на стул и сразу заснул. Он бежал через всю Германию. В польской форме? Нет, по дороге пришлось от нее избавиться, видимо, кто-то дал Хенрику гражданскую одежду, иначе он бы погиб. Безумец, почему не остался в этом шталаге? Оказывается, беспокоился о родных. В Лодзи были мать, отец и четыре сестры. Но откуда вдруг четыре? До сих пор я слышала только о трех. Четыре, точно четыре. Так говорил Хенрик, значит так оно и было.

В квартире появлялись все новые родственники, о которых я понятия не имела.

— Где Анка? — спросила однажды мать.

Я не знала, кто такая Анка. Мать посмотрела на меня изумленно, ведь Анка — дочь одной из теток, самой любимой.

Значит, были еще и тетки.

— А она жива? — спросила я осторожно. Ведь я даже о своей судьбе толком ничего не знала. Жива я или нет? Чтобы выяснить это, следовало сначала узнать, как меня зовут и кто я такая.

— Я ведь разговаривала с ней сегодня утром, — спокойно заявила моя мать. Значит, Анка где-то здесь, возможно в ванной или на кухне. В иные дни дом бывал полон людей. Они бродили по пустым комнатам, совершенно прозрачные, как воздух. Я не удивляюсь, что они потянулись к нам. Январь сорок третьего! Стояли такие морозы! Все приходили погреться. Уже давно ни у кого не осталось ни кусочка угля. Его было не достать ни за какие деньги. Оккупационные власти не видели смысла отапливать наши квартиры. В это самое время две армии замерзали на смерть под Сталинградом.

— Как у вас тепло! — сказала медсестра, которая появлялась через день ближе к вечеру и ставила в прихожей возле зеркала пакет из супермаркета.

— Тепло? Это вам кажется, — возразила моя мать, встревоженная, потому что плохо знала эту женщину. — Как ты думаешь, можно ей доверять? — спрашивала она меня, отведя в сторонку. Осторожность вполне объяснимая. Если посторонние начнут задумываться, почему это у нас так тепло, рано или поздно обнаружится нелегальная проводка, аккуратно подведенная к трамвайной линии ее отцом, электриком. Стоило ли так рисковать? Ради пары градусов тепла бросать на чашу весов жизнь целой семьи? Ведь раскройся это, всех нас расстреляли бы на месте! Конечно, стоило. Всегда стоит

1. Шталаги — немецкие лагеря для военнопленных из рядового состава во время Второй мировой войны. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

жить по-человечески. Впрочем, проводка эта, следует отметить, так и не была обнаружена, и все мы погибли по совершенно другим причинам.

Да, мы погибли. Вот почему я живу только в полсилы, каждую секунду подвергая сомнению почву под ногами, облака, траву и все прочее. Отсюда скрытое нежелание строить далеко идущие планы. Отсюда ирония — якорь спасения. Отсюда недоверие к реальности, которая — что выясняется в самый неподходящий момент — прочна лишь на вид, на самом же деле сделана из легкосгораемого картона. Больше всего тяготит отсутствие крепкой веры в существование мира. Это болезнь, передаваемая потомкам через взгляды, вздохи и касания. Я научила своих мальчиков не тому, чему следовало, причем еще до того, как они начали играть в кубики.

Говорят, что высшая справедливость — одна на всех. Но у тех более веселые глаза, на фото они словно бы более симпатичные, без этой капли горечи в уголках губ. На совместных с обидчиками фотографиях обиженные всегда выходят неудачно. На веки вечные выставлены они на общее обозрение полуголыми, отчаявшимися, униженными. Эти снимки, как оптимистически предполагается, обладают особой педагогической ценностью. Они появляются в прессе в такт годовщинам, даже в глянцевых изданиях, с которыми совершенно не сочетаются — они ведь черно-белые. Наиболее эффектно выглядят в большом увеличении, снабженные музейными табличками с соответствующей надписью. Считается, что человек непременно станет лучше, если посетит такую выставку, особенно это касается школьников, которыми педагоги всегда недовольны. Но эти люди не хотят демонстрировать себя школьникам. Мне их жалко, потому что им негде спрятаться, за спиной только стена, на которой висит экспонат.

Будь моя воля, я бы забрала эти фотографии домой. Но они, как и надпись “Arbeit macht frei”, украденная и возвращенная однажды весной[1], мне не принадлежат. Единственное в них, что подлежит наследованию, в том числе и мною, — стыд. А с этим трудно примириться. Даже унижение должно иметь свои границы. Они бы наверняка предпочли оставить после себя совсем другие фотографии. Такие, на которых видно, что раньше они жили иначе. Фотографии с теннисной ракеткой. С собакой. Им не повезло — семейные альбомы пропали.

1. Надпись на воротах концлагеря Освенцим-Биркенау (Польша) была украдена, а затем найдена в 2009 г.

Мне не нужно это наследство. Следует от него отказаться. Но если уже слишком поздно, почему бы не поставить украдкой мою тяжелую шкатулку на тротуар и, как ни в чем не бывало, свернуть за угол? Не ломая больше голову, есть ли у меня достаточно близкие друзья, у которых можно спрятать родных. Если не всех, то хотя бы одного сына — но какого выбрать? А второго куда? Я бы предпочла не гадать, как долго буду в состоянии убегать, какой мороз смогу выдержать, сколько отчаяния вместить в себя и насколько тяжел труд умирания. В нормальных условиях умирание должно быть делом быстрым, исчисляться минутами, в крайнем случае часами, должно продолжаться ровно столько, сколько мы способны вынести. Процесс должен быть запущен в последний момент, ни секундой раньше. Начатый до срока или незаконченный по причине форс-мажорных обстоятельств, он приводит к излишним страданиям, которые тянутся десятилетиями — подобно кровавому следу за смертельно раненным зверем.

Но как отказаться от того, что никто не спешит принять? В какие добрые руки отдать тучу темного дыма, зависшую над плацем? И как оттуда выбраться? Я бы хотела забыть, что погибла в Освенциме. Хотела бы вернуться к собственной фамилии. К хорошей итальянской фамилии, доставшейся от отца и не имеющей к этой истории никакого отношения. Но разве фамилия меня воскресит?

Уж лучше было бы получить в наследство свою долю в каком-нибудь сражении. Да, я предпочитаю сражения концлагерям, и не я одна. Но если уж непременно лагеря — не лучше ли наследовать этим статистам, что прохаживались по плацу, постукивая прутиком по голенищу сапога? Самая тяжкая вина кажется легче такой шкатулки без ключика. В конце концов, мы ведь вылеплены из одной глины. Разве нам не полагаются равные доли в пассивах? Все мы имеем право чувствовать себя одинаково виновными по отношению к мертвым солдатам, бездомным беженцам, брошенным детям. Разве не нужно мне просить у самой себя прощения за ту колонну, что отправилась в газовые камеры? Разве я не имею права обратиться за своей порцией вины? Мне нужен основательный балласт вины, чтобы компенсировать перекос, который произошел в моей жизни из-за проклятой шкатулки.

Продолжая плыть против течения, мать однажды проснулась первого сентября. Чтобы узнать о том, что на рассвете началась война, не пришлось даже слушать радио. Все только об этом и говорили. Мать стояла в прихожей с сумкой на плече,

взявшись за дверную ручку. Твердила, что ее где-то ждут, вероятно, в женском батальоне, что это ее долг. Долг? Какой еще долг? Пускай идут другие. Врач предупреждал, что ее нельзя выпускать из дому одну. Может, лучше сходим вместе в парк, погуляем? Что за ерунда! В парк? Ведь началась война! Пришлось переждать этот день. Следующий, который был предыдущим, принес мир. Война не кончается, но начало ее может исчезнуть из памяти, его можно вывести, словно жирное пятно.

И вот вернулось то лето. Прекрасное лето на давно забытой даче. Долгие теплые вечера при открытых окнах, мотыльки, порхающие вокруг лампы. Мы снова все вместе за столом, хотя не совсем ясно, кто есть кто. Родители моей матери, ее дядья и тетки со своими детьми, кузены, сестры и брат, а среди них — мой муж и сыновья. Очевидно, это был тридцать восьмой год, потому что говорили о будущем. Размышляли, что ждет человечество и не лучше ли на всякий случай покинуть этот уголок Европы. Мой муж помешивал чай и задавался тем же вопросом. Наконец он встал, отошел от стола и написал в строке "Поиск": "Новая Зеландия". Там, говорят, слишком мало людей, принимают всех. Если не для моих родственников, так, может, для нас самих это был бы выход? Он молча и внимательно рассматривал древесные папоротники и птицу киви. Красиво, но несколько экзотично и чересчур далеко. Что же — нам ближе марши боевиков в черной форме и с бело-красными флагами, под самыми окнами? Возможно. В нашей части Европы марши боевиков в черном — дело привычное.

Наследство непростое, заключающее в себе слишком многие беды, свою долю в которых унаследовали слишком многие люди, и никто не знает, во что ее вложить и что вообще с ней делать. В первую очередь это касается унижений, которые хотелось бы просто вычеркнуть из описи имущества, а если это невозможно, избавиться от них, отдать кому-нибудь. Но ясно, что даже самый слабый не примет такое по доброй воле, без насилия тут не обойтись. Люди примеряют разные костюмы, пытаясь как-то совладать с прошлым. Без подходящего костюма трудно изменить роль, а играть прежнюю порой просто невыносимо. Некоторые решаются надеть тяжелые ботинки боевиков.

За столом иронически комментировали текущие события, прежде всего недавний аншлюс Австрии. Ситуация в Европе внушала все большие опасения, похоже, народы посходили с ума. Однако идея бегства казалась пока несколько истеричной, а члены этой семьи были людьми мужественными, так

легко их не запугаешь. Дни стояли чудесные, в лесу полно грибов и ягод, на лугу по дороге в лес паслась корова.

С тех пор время потекло еще быстрее, срезая путь, катило свою обратную волну уже только по дачным сезонам, не отвлекаясь на зимы и городскую жизнь. Наконец, словно золотая рыбка, всплыл стишок:

"— Кто ты, мой мальчик? — Я родом поляк. Белый орел — мой наследственный знак"[1].

И волна коснулась берега.

В ящике письменного стола мы нашли указания матери на случай смерти: никаких похорон, никаких могил. Тело сжечь в крематории. Не было только сказано, как поступить с прахом. Видимо, ей не пришло в голову, что пепел соберут и отдадут нам в урне. Урну полагается захоронить на кладбище или бросить в море. В море? Мы поехали на море, но оказалось, что море тут совершенно ни при чем. Пока я что-нибудь не придумаю, буду тайком хранить урну в квартире. Время от времени я ее переставляю — с одного неподходящего места на другое, столь же неподходящее.

Дача была под Лодзью. Это место есть и сейчас, его можно найти на подробной карте. А тот лес? Кто знает, существует ли он еще?

1. "Катехизис польского ребенка" — патриотическое стихотворение польского поэта Владислава Белзы (1847—1913), написанное в 1900 г. В период существования Первой Польской Республики (1918—1939) в обязательном порядке заучивалось наизусть и регулярно скандировалось в польских школах.

Дионисио Гарсиа Сапико

Испанец в России

Из воспоминаний

Под редакцией Натальи Малиновской

ЛЕТОМ 38-го года нас почему-то перевели со Старого шоссе под Калугу, в деревню Ахлебинино. Не знаю точно, весь детдом переехал на новое место или только несколько групп. Но моя группа и многие другие ребята оказались в Ахлебинине, неподалеку от Оки (нас потом водили на реку купаться, учили плавать). Видимо, все-таки сюда переехал не весь детдом, потому что в Ахлебинине не было многих наших учителей и воспитателей.

Русскому языку учила нас Маруся Барабанова (так звали ее взрослые) — молодая статная девушка с легкими движениями и ясными глазами комсомолки, свято верящей в социализм. Очень способная, энергичная, она сразу завладела нашим вниманием. Ясно, что этому нельзя научиться. Видимо, она только что закончила педагогическое училище, и ее направили к нам "по линии комсомола". Представляю, как она обрадовалась: будет учить детей "героического испанского народа, борющегося с фашизмом!"

© Дионисио Гарсиа Сапико, 2013

В Ахлебинине особо запомнился огромный яблоневый сад (росли там и вишни и сливы, но яблонь было много больше). Когда на следующий год весной сад зацвел, мы бродили в мареве цветов, как завороженные. Наверно, сад принадлежал совхозу, потому что нам запрещали рвать даже зрелые плоды — воспитатели гонялись за нами по всему саду.

Еще мне запомнилось побивание камнями и палками портретов вождей — понятно, не всех, — висевших по стенам коридора, ведущего в классы. Видимо, это были портреты Бухарина, Рыкова, Блюхера и других деятелей, репрессированных в 1938 году. Хотя непонятно, почему их портреты не сняли. Побивали их ребята из старших классов, скорей всего подвигнутые на это взрослыми.

В Ахлебинине с нами занимался Виктор Васильевич. Он стал нашим любимым воспитателем. Я и фамилию запомнил: Андреев. Высокий, красивый парень двадцати пяти лет — возраст свой он назвал сам, когда мы, почувствовав, что он нам друг, спросили об этом. В армии он служил танкистом; не знаю, в каком — видимо, небольшом — звании. Он появился у нас позже остальных. Заходит вечером в спальню, перед отбоем, когда особенно хочется побаловаться напоследок: орем, хохочем, кидаемся подушками... Стоит — молодой, высокий, русоволосый, — смотрит на нас с интересом, и мы на него уставились. В руках держит большую палку наподобие лыжной, только покрепче, с острым металлическим наконечником внизу. Постепенно гам стих.

— Давайте знакомиться. Я — Виктор Васильевич, буду у вас воспитателем.

— А палка зачем?

— Волков бить! — ответил Виктор Васильевич и улыбнулся.

Мы пришли в полный восторг.

Шутил он или нет, не знаю, но каждую ночь, когда он напоследок заходил в спальню, в руках у него всегда была эта палка. С ней он отправлялся в обратный путь — в Калугу, где первое время жил, а дорога шла через большой лес. Спустя какое-то время ему дали жилье в детдоме.

Виктору Васильевичу я понравился. Могу примерно представить себе, что он думал: “Учится хорошо, на мандолине и на дудке играет, рисует... Маленький, но самостоятельный...” В столовой Виктор Васильевич сидел за нашим столом. Я очень любил гущу из компота — абрикос, груша, яблоко, вишня, изюм! Компоту можно было просить добавки — я и просил, гущу съедал, а жидкость оставлял. Виктор Васильевич это заметил и с явным удовольствием стал отдавать мне свою гущу. Бы-

вало, привозил из Москвы что-нибудь для меня интересное, обычно какой-нибудь механизм. Помню, например, маленький ножичек для заточки карандашей: если толкнуть большим пальцем полушарие на ручке, лезвие высунется и зафиксируется. Однажды Виктор Васильевич принес удивительную игрушку: небольшой катерок, который двигался на паровой тяге с таким же тарахтением, что и настоящий катер, только, конечно, потише. Палубу катера можно было откинуть, внутри — резервуарчик для воды, под ним ставится кусочек свечи (примерно в 1,5 см в высоту). Свеча нагревает воду, пар поступает по трубочке в заднюю часть катера чуть ниже уровня воды; там трубка заканчивается простым, но замечательным устройством: две тонюсенькие стальные пластинки закрывают выход, но пар напирает и рывком выходит наружу, распахивая пластины. Когда давление пара ослабевает, пластины снова смыкаются, пар снова напирает и выходит, толкая лодочку. Все это происходит быстро (куда быстрее, чем я рассказываю), пластины хлопают, и раздается "ток-ток-ток-ток-ток", очень похожее на рокот настоящего катера. Можно было поставить руль так, чтоб катер двигался прямо, или плавно поворачивал, или шел по кругу... Когда свеча выгорала, катер останавливался. Никогда больше я не видел такой замечательной игрушки.

Однажды Виктор Васильевич доставил мне особенную радость. Тем, кто любил рисовать, в детдоме давали краски — акварель, гуашь, цветные карандаши. Но масляными красками (из-за того, что сильно пачкают одежду и руки) мы писали только на кружковых занятиях под присмотром учителя. Цветные карандаши хранились в коробках, обычно по семь штук. Так вот, однажды Виктор Васильевич подозвал меня и вручил большую квадратную коробку, которая распахивалась на две половины, и в каждой лежало по двенадцать карандашей. Двадцать четыре цветных карандаша всевозможных оттенков! Чудо, восторг! Виктор Васильевич и сам был доволен.

Он прочел нам "Тараса Бульбу" Гоголя, пушкинского "Дубровского", "Кавказского пленника" Толстого. А читал он замечательно, причем видно было, что, учитывая и наш возраст, и способности понимать по-русски, пропускает некоторые места, что-то объясняет своими словами (так делали и другие воспитатели); мы же слушали завороженно, забыв все на свете. Как сейчас вижу: Виктор Васильевич сидит на скамейке под липой (липовая аллея вела от нашего корпуса к реке Клязьме) и читает нам "Дубровского". Мы полукругом сидим на траве и восторженно глядим на него, отождествляя чтеца с главным героем. А когда он дошел до того места, где учитель-француз гра-

бит ночью глупого и трусливого Антона Пафнутьича и услышали: “Тише, молчать, — отвечал учитель чистым русским языком, — молчать или вы пропали. Я Дубровский”, — мы так бурно обрадовались, что Виктор Васильевич засмеялся и сказал:

— Все, ребята! Хорошего понемножку. Завтра будет еще интереснее. Все! Скоро пойдем купаться.

Виктор Васильевич очень хорошо смеялся — искренне, светло и чисто, благородным таким баском. Казалось, он радуется доброй силе жизни, которую видел и любил во всем и в самом себе.

Разумеется, Виктор Васильевич был, как говорится, патриотом, что естественно для людей такого склада в те годы. После военных событий в Монголии (на Халхинголе и у озера Хасан) появилась песенка на эту тему, и Виктор Васильевич с удовольствием нам ее пел:

Японцы-самураи решили до Урала,
Границу до Урала довести.
Пошли они однажды к Уралу воровато,
Да встретились с Хасаном на пути.
На Хасане наломали им бока,
Били, били, говорили: “Ну, пока!”

Мы и сами пели патриотические песни того времени — “Широка страна моя родная”, “Катюша”, про трех танкистов... Почти все ужасно смешно уродовали слова. Например:

Награни... четучи хояхмура,
Крайсуро... витишиноябя!

Это означало: “На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят...” (разрывы в словах получались по мелодии).

Война застала нас в благословенной Тарасовке. Поначалу мы ничего особенного не почувствовали: ведь была уже война в Монголии (Халхингол, Хасан), в Финляндии, и везде Красная Армия победила. Я, “местный умник”, сказал уверенно, как опытный стратег: “Вот дураки немцы, не понимают, с кем ввязались в драку!” А взрослые сразу посерьезнели, помрачнели — знали, чем дело пахнет. Наш директор, Сергей Львович, собрал всех на линейку и сказал речь — серьезную, с драматическими интонациями:

— Товарищи! Случилось огромное несчастье: фашистская Германия напала на Советский Союз...

Слова “огромное несчастье”, как я теперь думаю, директор сказал от себя, согласно собственному пониманию событий. Меня это поразило: почему “огромное несчастье”? Однако недаром запомнилось, как ветер шевелил его волосы, обрамлявшие лысину, а выражение лица подтверждало, что в словах его была трагическая правда. Но все же я, наверно, как и другие, не понимал в чем дело. Начал понимать потом, но и тогда не почувствовал ни тревоги, ни даже печали, а только какую-то отрешенность от происходящего и веру в благополучный исход. А какое горе звучало в голосах воспитателей, когда они читали нам газету со сводками о наступлении немцев и нашем отступлении! Все военнообязанные молодые воспитатели — Виктор Васильевич, физрук Николай, замполит Василий (офицер, моряк-подводник) — один за другим стали исчезать из детдома. Странно, но я не помню проводов на фронт Виктора Васильевича. Может, он просто поехал в Москву узнать, когда и куда надо явиться, и думал, что еще успеет попрощаться, но не вышло. Скорей всего, так и было.

Скажу сразу: наш Виктор Васильевич погиб осенью 43-го года во время наступления советских войск на Киев. Хорошо хотя бы то, что он погиб во время наступления, а не раньше, что он уже видел, пусть далеко впереди, победу, а иначе — как же горько было бы ему! Известие пришло в детдом, когда мы уже эвакуировались (это слово стало тогда привычным) на Волгу, южнее Саратова. Маруся Барабанова плакала и не стеснялась слез: она, “мужественная советская девушка, педагог”, плакала на глазах у детей, как обыкновенная слабая женщина. А мы, дикари, не плакали, хоть были сильно удручены.

Вскоре начали бомбить наш район. Уж что там немцы нашли такое важное — не знаю. Нам велели строить бомбоубежища. Явился какой-то *спец*, и мы под его руководством вырыли в лесу несколько землянок (такие показывают в кино), обшили стены досками и во всю длину справа и слева устроили сидения. Сверху положили крест-накрест несколько рядов бревен и засыпали вырытой землей. Получился довольно длинный холм. Каждая группа рыла свою землянку, и располагались они в лесу на приличном расстоянии друг от друга. В этих землянках при слабом свете свечей мы и сидели ночью, когда нас поднимали по тревоге. Сонные, тихие, почти ничего не чувствуя и без всякого страха, мы слышали дальние взрывы бомб: до нас все еще не доходил трагизм происходящего — слишком мы были убаюканы, избалованы, беспечны. И вот однажды случилось то, что я уже испытал в Португалете: одна из бомб упала близко, и вся землянка задрожала. Тут мы словно проснулись и, наконец, испугались. Утром, как

только встали (уже в спальнях), тут же побежали смотреть, куда упала бомба. Оказалось, в "Белую дачу" – большой двухэтажный дом, стоявший за детдомовским забором, совсем близко от спального корпуса для мальчиков. Наверное, она действительно была когда-то чьей-то дачей, а тогда там жили несколько семей. Бомба упала совсем близко от дома и разрушила его боковую стену, обнажив угловые комнаты первого и второго этажей (по две на каждом) так, что стала видна внутренность квартир – обои на стенах, железные кровати, шкафы, оранжевые абажуры, семейные фотографии в рамках... Удивительная картина! Мы подробно рассматривали предметы чужой жизни, и в этом было что-то сказочное. Жители уже успели убрать разбитые бревна и прочий мусор, так что картина, открывшаяся нашим глазам, походила на театральную декорацию среди живой природы. К счастью, жертв не было. Жильцы что-то еще подбирали – бумаги, мелкие вещи, – о чем-то говорили, но в помещение никто не входил, боялись, что дом обрушится.

А вот еще одно событие, глубоко задевшее наши души, наш ум и окончательно прояснившее происходящее. Это была встреча с войной лицом к лицу. (Все подробности рассказаны непосредственными участниками события.)

Кому-то пришло в голову распорядиться, чтобы наши ребята старшего возраста дежурили в лесу – на случай появления в нашей местности диверсантов-парашютистов. К этому времени в старших классах было несколько четырнадцатилеток, а одному (Юлиану из нашей группы 4-А) стукнуло шестнадцать. Видимо, в Испании он вообще не учился или из-за большого перерыва в учебе все позабыл, так что ему пришлось в двенадцать лет пойти в первый класс. Мы его любили: красивый, сильный, молчаливый парень никого не обижал, хотя был сильнее всех. Учился, правда, не блестяще. Так вот, ребятам объяснили, что и как они должны высматривать в лесу, как себя вести в случае опасности. И Юлиан Приор вместе с Феликсом, тоже рослым парнем, отправились прочесывать лес, но их самих задержал патруль из местных рабочих. Ребята шли, тихо переговариваясь по-испански, и поэтому вызвали подозрения. Сзади раздался окрик: "Стой, руки вверх!" Обернулись – двое держат их на прицеле: "Кто такие? Что тут делаете?" Дальнейшее развитие событий не поддается никакому разумному объяснению.

Юлиан шепотом говорит Феликсу: "Я побегу, а ты стой и не бойся: я приведу наших!" – и побежал, петляя между деревьями. Патрульный кричит: "Стой, стрелять буду!" – гонится за Юлианом, чуть погодя стреляет в воздух. Феликс

стоит, плачет, вдруг слышит второй выстрел... А случилось вот что: когда Юлиан добежал до детдомовского деревянного забора (метра два высотой) и стал перелезать, он оказался удобной мишенью; патрульный выстрелил и попал. Юлиан, с пробитой насквозь грудью, сумел-таки перевалить через забор. Недалеко от забора стоял сарай с большой пожарной бочкой у стены; Юлиан пополз к этой бочке попить воды (говорят, что тяжелораненые всегда хотят пить), дотянулся руками до края бочки, встал... и тут же упал без сознания. Мы видели потом кровавый след от забора до бочки и пятно крови на ней. Тем временем Феликс сказал-таки патрульным то, что и надо было сказать с самого начала: что они из испанского детдома, который тут, рядом. Можно же было догадаться, что эти немолодые мужики с русскими винтовками и красными повязками на рукавах не парашютисты и не диверсанты! Патрульные пошли с Феликсом в детдом. А Юлиана наши уже нашли, принесли в санчасть, и там он через полчаса умер. Наша врачиха рассказала, что́ обнаружилось на вскрытии: пуля оцарапала сердце сверху, а попади она на 5 мм выше, Юлиан остался бы жив. Я был в спальне, когда Хосе и еще кто-то из ребят подошли к младшему брату Юлиана, Антонио (он с мрачным лицом лежал на кровати) и сказали: “Антонио, твой брат убит”. Антонио завыл страшным голосом и стал матерно ругаться.

Весь детдом всполошился. Ребята большой толпой (наверно, человек сто, не меньше) окружили канцелярию, куда зашли патрульные. У многих в руках были тяжелые железяки, палки, камни. Старшие стали колотить кулаками в дверь. Наконец вышел наш директор Сергей Львович и сказал печально и сурово:

— Ребята... Не надо... Произошла трагическая ошибка... Это наши люди. Но виновных в смерти Юлиана будут судить... Мы это так не оставим, я вам обещаю. А если вы пойдете на самосуд, сами совершите преступление, и вас тоже будут судить. Разойдитесь... прошу вас...

Мы потом долго обсуждали: неужели патрульные не знали, что здесь вот уже больше двух лет находится детский дом для испанских детей? Или они сами нездешние? Может, их послали сюда дежурить из другого района? Но разве они не видели, что перед ними почти дети без оружия и какого-либо снаряжения, в летних рубашках? Как можно заподозрить в них парашютистов?

Вскоре до нас дошел слух, что патрульных, в сущности, не наказали — мол-де, идет война, немцы близко, обстановка напряженная.

Нашего красавца Юлиана похоронили на ближнем кладбище у поселка Клязьма. Если и существует сегодня это кладбище, то уж от могилы Юлиана, конечно, не осталось и следа.

Где-то в августе весь наш детдом поднялся с насиженного места и, словно огромный цыганский табор, отправился кочевать. Нас отвезли в Москву спецрейсом на электричке; на Москве-реке погрузили на большой трехпалубный теплоход вместе со всем нашим скарбом — кровати, матрацы, постельное белье, зимняя одежда, посуда, учебники и прочее. По Москве-реке, затем по Оке, затем по Волге поплыли мы на юг, за Саратов. Плыли две недели. А что нам? Нам было интересно путешествовать, смотреть на Волгу, на теплоходы, на проплывающие мимо селенья; любопытно, куда прибудем, где будем жить, — никаких особых переживаний или тревог мы по поводу нашего будущего не испытывали. Где скажут, там и будем жить: учиться и баловаться. А война? Ну, это не наше дело.

Выгрузились на пристани Нижняя Добринка, 140 км южнее Саратова и 200 км севернее Сталинграда, — вот куда нас забросила судьба! И снова громадным табором, везя скарб на грузовиках и телегах, а сами пешком, двинулись к селу Галка, расположенному в семи километрах от Добринки на высоком берегу Волги. Это очень большое немецкое село (говорили, что в пятьсот дворов — что-то многовато). Советских немцев дня за три до нашего появления выселили, дав три дня на сборы, — так нам объяснили воспитатели. Поместили нас в большом каменном двухэтажном доме, где раньше находилась школа и нечто вроде клуба (или дома пионеров) с комнатами для кружковых занятий и актовым залом. На стене висел плакат: ES LEBE GENOSSE STALIN! (Да здравствует товарищ Сталин!)

Здание было такое большое, что в нем поместились и наши спальни (правда, стало тесновато, а самых маленьких укладывали спать по двое в одной кровати, "валетом"), и классы, и учительская, и детдомовская канцелярия. Только жилье для взрослых детдому отвели в других домах — там, где прежде размещалось правление совхоза, или даже в частных.

Пока не подвезли железные кровати, мы спали на полу — на сене, и сильно натерпелись от блох. Столько блох я никогда больше не видел. Всю ночь мы вертелись, чесались, матерились, зажигали свет, ловили блох, снова ложились, вставали... Блохи кусаются очень больно, остро. Младшие попросту плакали от изнеможения и бессильной злобы. Через пару дней кто-то из взрослых (может, из местных) подсказал: надо нарвать полыни и перемешать с соломой, а несколько стеб-

лей сунуть себе под одеяло. Так и сделали. Блохи исчезли – все до одной. Правда, просыпались мы, чувствуя, как дерет горло от полынной горечи, но, в сравнении с блохами, это пустяки.

Не забудем, что это был самый напряженный и грозный год войны: сорок второй. Немцы двигались к Волге на Сталинград – как раз в нашу сторону! А ведь отправляя нас туда, наверняка верилось: уж там-то дети будут в безопасности. Я еще расскажу о том, как и здесь война коснулась нас самым непосредственным образом.

Упомянув о Волге, я вспомнил вот еще что: весной, стоя на краю высокого обрыва, мы долго молча смотрели, как ломается лед на реке, как с грохотом и треском налезают друг на друга, ломаясь, громадные льдины, как их уносит река. Зрелище диких природных сил! От него нельзя отвести глаз, тем более, что находились мы в полной безопасности. Иногда раздавался такой могуче-гулкий, точно подземный, гром, что меня охватывал невольный трепет: "Как бы не стряслось беды!" Земля под нами дрожала – а вдруг уйдет из-под ног? Такое же впечатление производит и неожиданно близкий, сильный и страшный небесный гром, это "яростное раздражение неба", – сам себе кажешься слабеньким, хрупким и даже, как ни странно, виноватым: как будто на мгновение от мощного окрика с небес: А САМ ТЫ КТО? – пробуждается в тебе нечто вроде предсмертной совести.

Еще одна вечная тема. У нас в детдоме, оказывается, было несколько человек евреев из обслуживающего персонала; нам ведь, кроме учителей и воспитателей, требовались уборщицы, повара, прачки, кастелянша, завхоз, счетоводы, ночной сторож. Как-то мне сказали, что у нас есть евреи, включая директора Агромского. Сам я тогда не имел никакого понятия об этом народе и страшно удивился, когда однажды стал свидетелем скандала двух сотрудниц с учительницей русского языка и литературы Евгенией Абрамовной Маргулис (ее имя мне недавно напомнили), и одна из женщин крикнула: "Еврейка!", а разъяренная Евгения Абрамовна тоже закричала: "Да, мы евреи! С нами Маркс, с нами Гейне!" Я не знал, что и подумать. Странно прозвучал для меня тогда этот крик на весь мир, и я почувствовал за ним некую тайну. Спустя годы, читая Маркса (которого называют евреем, хотя он часто пишет "мы, немцы..."), я понял, что он сильно не любил евреев, считая их носителями шкурничества, торгашества, ростовщичества и приверженцами плутократии. "Деньги – вот ревнивый бог Израиля!" – заявил Маркс в какой-то статье, а Ф. Лассаль (тоже еврей и тоже деятель немецкого рабочего и

социалистического, то есть антибуржуазного, движения) жаловался на "неизменный антисемитизм" Маркса. Вот такая неразбериха с этим вопросом.

Ночные "воздушные тревоги" начались и в селе Галка. Правда, редко. Не помню точно, с каких пор, но не раньше августа сорок второго. Здесь мы землянок не рыли — прятались в многочисленных мелких овражках и в сточных канавах. Нашей группе повезло: нам выделили глубокую, с немецкой тщательностью вырытую канаву недалеко от ворот нашего детдома; над канавой там и тут были проложены мостки. Сирена выла так, что "мертвых поднимет", как мы выражались. Мы кое-как одеваемся, главное — обуться, и бежим к канаве. Лежим, смотрим в ночное небо и балагурим. И вот однажды летят над нами немцы ровным строем по трое в ряд, и так они уверены в своей силе и безнаказанности, что пускают осветительные ракеты, очень яркие, холодного зеленоватого света; от них светло как днем. Мы смотрим на небо, лишь слегка напрягшись — все-таки фашисты над нами летят, — а в общем, почти как в кино. Но вот один самолет отрывается от своей тройки и пикирует на нас. Мы шепчем: "Смотри! Смотри!" — и съеживаемся. Конечно, самолет пикировал не на нас, а на большое каменное здание — наш детдом. Пролетая, выпустил очередь — "ту-ту-ту-ту-ту-ту", — взвился с воем и встал в строй. Тут мы успокоились. А утром вышли и видим: всю крышу разворотило. Долго обсуждали: почему, зачем он стрелял? И в конце концов, вместе со взрослыми, пришли к заключению, что это было просто баловство. Допустим, командир эскадрильи говорит кому-нибудь из летчиков: "А ну, Ганс, прошей-ка это здание!" Так — мимоходом, они же летели на боевое задание, скорей всего бомбить Саратов. А нам пришлось срочно чинить крышу.

Вскоре начальство Всесоюзного Красного Креста, в ведении которого находился наш детдом, отдало нашему директору распоряжение вновь сняться с места и переезжать в Башкирию, в село Языково, в 70 км к западу от Уфы, — вот уж действительно надежное место. Как я впоследствии узнал из книг о Третьем рейхе, на эти земли, далеко за Волгой, фашистские геополитики даже не претендовали.

Но вот что произошло еще до отъезда.

В нашей группе был мальчик, довольно красивый и способный (не помню, как его звали). Отец его тоже находился в России. Он был капитаном военно-морского флота и во время Гражданской войны остался верным Республике. Звали его Педро Прадо. Высокий, с благородными чертами лица,

статный. Кто-то говорил о его аристократическом происхождении и о том, как хорошо он проявил себя во время Гражданской войны, вследствие чего *Советы* приняли его как специалиста. Он появился у нас в детдоме примерно за месяц до переселения в Башкирию. Так как я дружил с его сыном, Педро довольно близко познакомился со мной. Втроем мы беседовали на разные темы. Я показал ему свои рисунки и живопись, он обсуждал их со знанием дела: видимо, хорошо знал изобразительное искусство. В общем, он меня похвалил и даже попросил подарить один из рисунков, сделанный цветными карандашами. И вот перед самым нашим отъездом Педро говорит мне: "Я забираю сына из детдома в Москву. Если хочешь, возьму и тебя, будешь жить у нас семье как родной. Ты способный мальчик, в Москве у тебя будет больше возможностей для развития. Подумай".

Еще раз судьба поставила меня перед выбором. Я подумал и на следующий день, как мог, объяснил ему, почему отказываюсь. Что говорил, не помню, но знаю, что руководствовался тем, что называется интуицией. В четвертый раз люди пытались вмешаться и резко переменить мою судьбу — и четырежды я устоял; уверен — к своему благу. Была потом еще одна, последняя, попытка, самая романтическая, но о ней — в свое время.

Опять снялся с места наш табор в триста пятьдесят человек и двинулся к Добринке; опять грузовики и телеги везли наши кровати, матрацы, одежду, посуду, учебники и прочее. Я шел изрядно навьюченный: за спиной мандолина, завернутая в наволочку; в правой руке этюдник с красками, кистями и разными инструментами, найденными в немецких домах (отвертки, стамески, разные металлические штучки — "на что-нибудь да сгодятся", и даже щипчики для сахара); в левой руке стопка книг, связанных веревкой, и большая картонная папка с моими рисунками и живописными этюдами, а также цветными репродукциями, вырезанными из журналов. Наверное, можно было весь этот скарб погрузить на телегу или на грузовик, но я не захотел: поломают или того хуже — потеряют... Начало сентября, жара (южное Поволжье), груз тяжелый. Тащу и для утешения ищу товарищей по несчастью — смотрю, кто еще волочит тяжесть. И представьте себе, никто. Многие несли что-нибудь легкое: пару книг, маленькую сумочку, но чтобы столько, сколько я, — никто! Помню, что ни досадно, ни жалко себя мне не стало. Я подумал: "Надо же! Значит, я один такой?" — и, ощутив себя, так сказать, "мучеником идеи", зашагал уверенней и бодрей, входя в роль героя, с воодушевлением идущего вперед "без страха и сомнения". Этот

спектакль для себя самого я вдохновенно разыгрывал всю дорогу, теша свою гордость. Конечно, на семикилометровом пути были и привалы, когда мы с удовольствием растягивались на траве.

На пристани Добринка нас опять погрузили на трехпалубный теплоход с двумя лопастными колесами по бокам. Мы поплыли вверх по Волге против течения, и потому медленно. А нам что? Куда надо, туда и плывем. Вечерами усаживались на палубах по боковым проходам, хором пели испанские песни на разные голоса (у испанцев это хорошо получается). Кто-то с кем-то спорил, кто-то тихо смотрел на проплывающий пейзаж. Я иногда играл на мандолине советские песни "Дан приказ — ему на запад", "Тучи над городом встали" и разные другие, или что-нибудь испанское. Представьте себе: война, самая тяжелая из всех войн России, на фронте отчаянное положение — враг приближается к Волге, — а по реке плывет большой белый теплоход, и с палубы доносятся трели мандолины и красивые испанские песни.

Выносливое существо человек.

Доплыв до Саратова, мы опять воочию увидели войну. Поздним вечером в густых сумерках налетели на город немецкие самолеты. Наш капитан, наверно, заранее получил по рации известие и, чувствуя ответственность за нас, сотни детей, да еще испанских, принял такое решение: он направил судно подальше от города к противоположному берегу, подошел вплотную к прибрежному ивняку на мелководье. Матросы и многие из наших рослых ребят спустились по доскам и топорами и большими ножами стали рубить тонкий высокий ивняк и подавать его наверх, чтобы укрыть им верхнюю часть парохода — он же белый! Все работали, как муравьи. Через 15—20 минут пароход сверху виден не был.

А в небе Саратова началась битва: лучи прожекторов шарили в черном небе, пушки и пулеметы били по самолетам, а те бомбили порт и, главным образом, нефтехранилища. Мы стояли в полукилометре от происходящего, и значит, это был не другой берег Волги (она здесь больше километра шириной), а берег крупного острова. Сейчас, описывая это событие, я захотел проверить по карте, так ли это, но обнаружил на том месте лишь Волгоградское водохранилище, поглотившее все острова. А карты того времени теперь не найти. Может, конечно, я ошибся в оценке расстояния, но как бы то ни было, мы ясно видели перекрещенные лучи прожекторов, немецкие самолеты, попавшие в перекрестия, и взрывы. Крупнокалиберные пулеметы били очередями трассирующих пуль, и картина, в общем, получалась ве-

ликолепная. Бомбы попали-таки в нефтехранилище, нефть разлилась, достигла берега, и нашим глазам предстало ошеломляющее зрелище:

Волга горела почти до середины реки оранжевым пламенем с шапкой свирепо клубящегося багрово-черного дыма. В довершение всего одна из бомб упала в воду сравнительно близко от нашего парохода — метрах в ста или чуть больше. Некоторые ребята уверяли, что своими ушами слышали, как осколки врезались в судно. (Не знаю, могут ли осколки выскочить из воды и так далеко отлететь.) От поднявшихся больших волн пароход закачался. Воспитатели закричали: "Всем вниз — по каютам!" Ожидая неприятных неожиданностей, мы толпились во внутренних коридорах нижних палуб, но ничего страшного не случилось... Бой постепенно стих, и мы разбрелись кто куда.

Между прочим, и в этот раз (как и в селе Галка) мы обсуждали, почему эта одинокая бомба упала от нас так близко. Может, кто-то из немецких летчиков все же заметил пароход в свете пожара и решил сбросить бомбу на всякий случай? А может, летчик, ускользнув от прожекторов, сбросил последнюю бомбу куда попало, чтобы вернуться на базу пустым — отбомбился! — и, никому ничего не объясняя, отдохнуть от этого ада? Много чего выдумывали. Странно все-таки, что эта бомба упала посреди реки.

На другой день рано утром мы почувствовали, что пароход двинулся было, дернулся, но не поплыл. Оказывается, он довольно прочно застрял в ивняке и донном иле и теперь высвобождался, давая попеременно передний и задний ход. Только через час, а может, и больше (уже и завтрак прошел), мы, наконец, поплыли по середине Волги. На следующий день нас нагнало грузовое судно с оторванным носовым отсеком — новый нос был наскоро сколочен из досок, да и то только в нижней части, чтобы хоть как-то резать воду. Судно двигалось на всех парах, наверно с каким-то ценным грузом.

Примерно через две недели мы прибыли в Уфу, на пристань на реке Белой. Оттуда, на автобусах и грузовиках, нас отправили в село Языково, где детдому выделили большой четырехэтажный дом и еще здание бывшей церкви (уже без колокольни и куполов), где устроили клуб, а боковое помещение приспособили под кухню. Скорее всего, в церкви и до нас размещалось какое-то общественное учреждение, или кинотеатр, или еще что-то в этом роде, потому что в глубине имелась сцена, рядом, по бокам, комнатки, а в "зале" стояли ряды стульев, схваченные позади планкой. Едва ли все это устроили к нашему приезду. Учителя, воспитатели, а также "обслу-

живающий персонал" жили в домах барачного типа: длинный коридор и ряды комнат по обеим сторонам.

В Языкове тоже произошло много интересных событий, но, как и до сих пор, буду рассказывать только о самых важных или колоритных.

Языково — село большое, оно даже обозначено на карте в географическом атласе Советского Союза. Здесь находились сельсовет (наверно, объединявший несколько соседних деревень), отделение милиции, почта, школа, библиотека, клуб, двухэтажная баня, куда нас водили мыться, и даже парикмахерская. Здесь мы пережили самое напряженное время войны — великую Сталинградскую битву. По-детски беспечные днем, мы каждый вечер собирались у репродукторов (эти черные тарелки висели в каждой спальне) и внимательно слушали сводки "От Советского информбюро". До нас уже начала доходить серьезность положения — мы повзрослели. В одной из больших комнат (наверное, в красном уголке) висела большая карта европейской части СССР, на которой кто-то передвигал флажки, обозначавшие линию фронта. Примерно раз в неделю нас собирали в клубе, разъясняли общее положение на фронтах с упором на то, что "все равно победим". А когда в конце ноября произошло окружение немецкой группировки, а в январе сорок третьего ее уничтожение, мы не раз слышали от повеселевших взрослых: "Ну, все! Теперь погоним их до самого Берлина!" Мы верили им и радовались.

К началу 43—44-го учебного года группу учеников, выбранных из шестых классов (а у нас, к этому времени, кажется, были только шестые и седьмые классы), совершенно непонятно почему отправили в другой детдом — № 8, в город Миасс на Южном Урале, восточнее хребта, то есть уже в Азию. Поскольку мне всю жизнь везет на приключения, я, естественно, оказался в этой группе. Сколько потом я ни думал, по каким таким соображениям меня включили в число переселенцев, внятного объяснения этому я не нашел. Но что же — в итоге я только выиграл: обрел новых друзей, познакомился с красивым городом, с его музеями, парками, впервые побывал в настоящем городском кинотеатре.

Детдом находился на набережной реки Миасс. Река золотоносная, и часто, сидя на каменном парапете, мы смотрели, как моют золото. Группами по трое или четверо длинной вереницей старатели располагаются вдоль реки на мелководье; на всех высокие — во всю ногу — резиновые сапоги. Берут со дна совковой лопатой песок и кладут на наклонный лоток с ребристой поверхностью, трясут лоток, льют воду... Однаж-

ды кто-то из нас крикнул им: "Эй, много золота намыли?" Старатели знали, что поблизости есть испанский детдом, и решили показать нам свою добычу. Позвали старшего, стоявшего неподалеку, тот вынул из сумки туго завязанный мешочек (наверное, кожаный), размером с небольшое яблоко, поднял над головой и помахал им. По моим теперешним расчетам, там было больше килограмма золота.

Группами в разные дни нас водили в кино. Кроме фильмов военного времени (шел там, например, уже совершенно забытый сегодня "Антоша Рыбкин"), мы там смотрели американский фильм "Багдадский вор". Этот "Вор" заворожил нас — на какие хитрости мы только ни пускались, чтоб посмотреть его еще и еще раз. К примеру, проскальзывали мимо билетерши с использованным билетом в руках, норовя побыстрее скрыться в толпе; искусно приклеивали к вчерашнему билету бумажку подходящего цвета, на которой писали "контроль" и меняли число (но эту уловку чаще всего разоблачали). Главное было пробраться внутрь, из зала уже не выгонят, потому что кинотеатр продавал, кроме сидячих, *билеты без мест* — с ними можно было встать у стены. Сам я решил проблему фундаментально: нарисовал билет — где подходящими чернилами, где акварелью. При беглом взгляде мои "билеты" невозможно было отличить от настоящих, что доказано тем, что с ними никто ни разу не попался. Конечно, рисование требовало, помимо сноровки, времени (долго приходилось возиться с мелким шрифтом), так что делал я два-три билета, не больше.

В Миассе я впервые увидел настоящий русский рынок, с непременной тогда *барахолкой*. Денег у нас не было, но на рынок мы все равно ходили — что-то разглядывали, приценивались. Как-то толстая баба, торговавшая пирожками, стала рассказывать, что мальчишки подсунули ей рисованную сторублевку и удрали. (Сто тогдашних рублей были как при Брежневе десять.) Я попросил показать поддельную сотню, рассмотрел ее и понял, что "фальшивомонетчик" имел несомненный талант: хорошо передал главное — рисунок и цветовую гамму, то есть то, что образует зрительное впечатление от денег. Я попросил торговку отдать мне это "творение", она отдала: "Бери, что мне с ней делать?" Добродушная баба. Довольно долго я хранил эту "сторублевку" среди своих рисунков, а после она куда-то делась. Сейчас очень жалею об этой утрате, как и о многом другом потерянном или просто легкомысленно выброшенном. Представьте себе, что я показал бы вам эту "сотню": "Вот сторублевка сталинского времени, нарисованная в 1944 году каким-то мальчишкой из Миасса". Каково?

В Миассе нас часто кормили морковной кашей. Это запомнилось, потому что нигде больше я этой каши не ел. Странного вкуса, сладкая, но с каким-то неприятным, надолго остающимся горьким привкусом, как от картофельного или свекольного сока. Не все могли доесть свою порцию, однако, надо полагать, морковь изрядно укрепила наше тело и кровь.

Интересно, что в Миассе нас с седьмого класса впервые стали учить в обычных школах вместе с другими советскими ребятами, но отдельными группами. И хорошо: так мы привыкали к совместной общей жизни в Советском Союзе.

Из преподавателей нашей школы мне особенно запомнилась учительница русского языка и литературы — милая, женственная и добрая русская женщина, с тихим проникновенным голосом, наверно, очень любившая свое дело. Видно было, что она глубоко чувствовала литературу, во всем она видела поэзию. С ее уроков началась у меня настоящая, неизменная любовь к русской литературе, к русскому языку, да, видимо, и у многих других: все сидели тихо, не сводя с нее глаз.

Как бы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали.
Как бы на меня не кручинушка,
Не сидела бы я подпершися,
Не глядела бы во чисто поле... —

говорила она печальным голосом, слегка склонив голову, — так, будто она и есть та неведомая страдалица.

Вскоре мы заметили, что у нее растет живот. Меня очень удивляло то, что сама она при этом не изменилась — оставалась такой же, как была, во всех мелочах. Весной у нее родился мальчик. Наши девочки, узнав об этом, достали где-то шерсть светлых оттенков (может, распустили что-то свое или попросили взрослых купить нитки) и связали учительнице разные детские вещички, причем, как умеют испанки, очень красиво уложили подарки в большую коробку, написали на ней "Дорогой учительнице" и еще какие-то подходящие слова, положили ей на стол. Она пришла, поздоровалась с нами, как обычно, взглянула на коробку, прочла надпись, открыла коробку и... словно ноги у нее подкосились — опустилась на стул, уткнулась головой в коробку и заплакала. Наверно, эта любовь и забота о ней детей в суровое время войны потрясли ее. Да и кто знает, что за жизнь у нее была дома, с родными, соседями... Может, она жила одна,

может, это был вообще единственный подарок... Потом она вытерла слезы, встала и сказала: “Спасибо, ребята. Ну, давайте начнем занятия”.

Кстати о литературе. Было в детдоме одно упущение: не доставало своей библиотеки, откуда мы могли бы брать книги, по своему вкусу или по совету взрослых, и читать, читать и читать, обдумывать, развиваться — каждый по-своему. Появлялись иногда и ходили по рукам какие-то журналы, и то редко. Один из них запомнился мне на всю жизнь, поскольку я, от нечего делать, много раз брал его, перечитывал, рассматривал рисунки. Это был не периодический журнал, а специальный агитационный антифашистский выпуск под названием “Блиц криг” (по немецки — “молниеносная война”), созданный совместно художниками Кукрыниксами (Куприянов, Крылов, Николай Соколов) и поэтом Сергеем Михалковым, автором “Дяди Степы”. Кукрыниксы нарисовали карикатуры, а Михалков сочинил к ним стихи. Такие, например:

Юный Фриц, любимец мамин,
В класс пришел держать экзамен.
Задают ему вопрос:
— Для чего фашисту нос?
— Чтоб вынюхивать измену
И строчить на всех донос!
Вот зачем фашисту нос!

— Для чего фашисту руки?
— Чтобы резать, жечь и[1]
— Для чего фашисту ноги?
Чтобы топать по дороге,
Левой, правой, раз и два!
— Для чего же голова?
Чтоб носить стальную каску,
Или газовую маску,
Чтоб не думать ничего —
Фюрер мыслит за него.

Из такого молодца
Можно сделать подлеца.
Рада мама, счастлив папа:
Фрица приняли в Гестапо!

1. Текст Михалкова: “Вопрошает жрец науки: / — Для чего фашисту руки? / — Чтоб держать топор и меч, / чтобы красть, рубить и жечь”.

Рядом со стихами было много рисунков, изображающих Фрица, его родителей, экзаменаторов и все остальное.

Или еще: на фоне карты, где обозначено окружение немцев под Сталинградом, нарисован Гитлер в виде бабы в платке с цветочками, лицо подпер рукой и плачет. Под рисунком подпись: “Потеряла я колечко! (А в колечке 23 дивизии)”.

Вот еще строфа из стихотворения про немецкого офицера:

Днем кричал он хуторянам:
“Шапки с головы долой!”
Ночью отдал партизанам
Шапку вместе с головой.

И рядом соответствующие рисунки.

Еще был там нарисован Гитлер в виде кота, стоящего на задних лапах перед портретом Наполеона, изображенного в виде льва, а ниже стихи:

Один котенок, обнаглев,
Решил, что он похож на льва,
И льва увидев на портрете,
Воскликнул: “Двое нас на свете!
Как сильно я похож на льва...”

– Дурак, – ответил лев с портрета, –
Владел я половиной света
И с половиной вел войну,
А кончил жизнь свою в плену.
Но люди бешеных котят
Держать в зверинце не хотят,
Они их топят в грязной луже.
Иль в чем-нибудь еще похуже.

Были в журнале рисунки и стихи по поводу первой бомбардировки Берлина советской дальней авиацией (которую немцы объявили делом англичан). Вот отрывок:

– Как? – удивились англичане,
Проснувшись в утреннем тумане. –
Кажись, из наших ни один
Не залетал вчера в Берлин!

Не буду далее утомлять читателя цитатами из этого уникального издания 1943 года (как видите, стихи простенькие и

сугубо агитационные), но скажу, что привел их, помимо колорита времени, для того чтобы убедить читателя в том, что память у меня была отличная, и сейчас не плохая, так что не надо удивляться (или считать их выдумкой) подробностям, которые я привожу в своих рассказах.

Интересно, остался ли в архиве Сергея Михалкова тот журнал? Я бы с великим удовольствием просмотрел его снова. Представляю себе, как вспыхнула бы зрительная память, как оживились бы те дни, события, лица! Наверное, даже запахло бы нашим миасским общежитием.

Познакомился я в Миассе с одной замечательной семьей. Глава ее — директор (или главный инженер) Миасского напилочного завода, одного из немногих в Советском Союзе, работал, видимо, хорошо, потому что на пиджаке у него я увидел орден Трудового Красного знамени. Имени этого человека я, к сожалению, не помню, поэтому буду называть его "директором". У них с женой не было своих детей, только два приёмыша: юноша лет 16–17 и девушка примерно того же возраста. Юноша учился в военном училище и с видимым удовольствием носил форму с большим гвардейским значком на груди. Девушка училась в одном из миасских институтов. Эта семья каким-то образом познакомилась с некоторыми ребятами из нашего детдома и стала приглашать их к себе домой, мальчиков и девочек, не помню сколько, кажется, человек пять или шесть. Среди них был и я. Они устраивали для нас вечеринки, чаепития с тортом, пирожками, конфетами, медом, сливками. Было в этом что-то восхитительное, и дело не во вкусной еде: само сидение у самовара за большим круглым столом, ласково освещенным абажуром с бахромой, вместе с этими добрыми людьми, почему-то полюбившими нас, и разговоры, разговоры — о войне, о приближающейся победе, о будущем, о России, об Испании, о разных знаменитых людях, об искусстве, о жизни... Иногда я приносил с собой мандолину и играл для них. Я, можно сказать, влюбился в ту девушку и стеснялся этого: она была высокая и старше меня. Сама же она, заметив мои чувства, отнеслась к этому очень просто, благородно.

Однажды я принес им в подарок свой цветной рисунок, скопированный из большого зоологического атласа, — на нем был изображен великолепный рогатый лось в лесу. Рисовал я его с особым усердием — акварелью и цветными карандашами. Все семейство пришло в восторг, и к следующему моему приходу рисунок в рамочке висел на стене. Конечно, я сделал эту красивую картинку для нее. В другой раз я принес свою копию с иллюстрации к поэме Руставели "Витязь в тигровой шкуре": всадники в доспехах и с копьями стоят у подъемного

моста старинного замка, чернеющего на грозовом небе. “Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой”, — словно говорила эта картина. Подлинник был гравюрой, а я сделал имитацию пером и черной тушью.

Летом 44-го года нас решили вернуть из эвакуации поближе к Москве. Директор с семьей устроили нам прощальный вечер. Видно было, что им грустно расставаться с нами. Когда мы собрались уходить, директор попросил меня задержаться. И вот, совершенно неожиданно (до того никогда и намека на это не было), он предложил мне остаться в их семье: они с женой меня усыновят и обеспечат любое образование, какое только захочу. Я сказал, что мне очень хочется в Москву. Он ответил, что его вот-вот переведут на другую работу, именно в Москву. Я сказал, что мне трудно расставаться с друзьями. Он заметил, что друзей в жизни еще будет много, что в Москве у него будет машина, и меня повезут, куда я скажу, повидаться с друзьями. Уговаривал он меня долго, но я стоял на своем: нельзя, не могу. При разговоре присутствовала вся семья, они молча, не вмешиваясь в разговор, выжидающе смотрели на меня. Я иногда поглядывал *на нее*, — такая взрослая и такая высокая! — и что-то со мной происходило. Кто знает: если бы она была чуть младше и пониже ростом, я, может, и согласился бы.

Странная образовалась у этой семьи привязанность к нам: всей семьей они пришли на вокзал провожать нас — в последний раз повидались и простились друг с другом. А потом они махали вслед уходящему поезду, увозившему нас навсегда. Мне часто вспоминалась эта удивительная семья и мое участие в их семейной идиллии.

В Москву из эвакуации возвращался не только наш детдом № 8, но и многие другие. Поначалу всех нас временно разместили под Москвой в больших домах, стоявших в лесу близ Нахабина. В этом “Нахабине” (детдом всегда получал свое прозвище по месту нахождения) тоже произошли примечательные события.

Шастая по лесу, мы набрели на разбившийся самолет — почему-то не помню, немецкий или советский, хотя мы, конечно, установили это по надписям на приборах в кабине. Самолет уткнулся носом в землю и, что странно, был более-менее цел: обычно в фильмах показывают, как подбитый самолет камнем падает вниз, взрывается и горит. Здесь же фюзеляж и крылья были на месте — эдакая ажурная конструкция из дюралюминиевых трубок, а в кабину со множеством сложных приборов можно было залезть. Правда, обшивка почти вся была содрана — наверно, она представляла для окрестных жителей какую-то

ценность, и они "раздели" самолет. Почему самолет оказался в лесу и что случилось с летчиком, никто не знал. Наверное, только военный летчик мог бы внести какую-то ясность.

Я где-то достал ножовку по металлу, пошел к самолету и спилил несколько дюралюминиевых трубок подходящей толщины для изготовления блок-флейт; сделал три штуки для тех, кого учил играть.

Находили ребята в лесу и винтовочные патроны. Что с ними делать? Разожгли костер на поляне (на старом кострище), подождали, пока как следует разгорится, и бросили патрон – посмотреть, как взорвется. Взорвался патрон впечатляюще: разбросал костер и поднял тучу пепла. Мы в восторге. Затем кто-то придумал такую игру: разжечь костер, всем стать вокруг, довольно близко, и кинуть патрон. Суть в том, чтобы проверить, кто сбежит еще до взрыва, а кто останется. Я единственный раз решил испытать себя и удовлетворился тем, что отбежал не первым и не вторым. Игра была по-настоящему опасной: ведь патрон и гильза разлетались в разные стороны с немалой скоростью. Но что нам, когда так и тянет повыставляться друг перед другом. К счастью, никто не пострадал.

Странным образом, совсем рядом с детдомом, метрах в ста от нашего корпуса, находилась база десантников, почему так далеко от фронта – непонятно. Территорию базы окружал забор из бетонных столбов и металлической сетки, так что нам хорошо было видно, как они там жили. Десантники в этом лагере отдыхали, выздоравливали после ранений и заодно учились своему делу и тренировались. Было у них и свое стрельбище, откуда часто слышалась стрельба. Жили десантники в землянках. Наши ребята познакомились с тамошним кладовщиком – молодой приветливый парень. Как-то он предложил ребятам пострелять из пистолета. Мой новый друг Альфредо Бильбао (из другого детдома) взял с собой и меня. Стрельбище находилось в лесу за оградой: на одном из склонов естественного холма был вырыт до середины холма вытянутый котлован, так что получилась вертикальная стена, которую обшили тесом. Там вешали мишени. Кладовщик поставил нас метрах в пятнадцати от стены (или поменьше), и почему-то прикрепил к ней не обычные мишени с концентрическими кругами, а тетрадные листы с угольным черным кружком посредине, размером с тогдашний пятак. Показал, как заряжать пистолет, вдевать обойму, ставить на предохранитель, как взводить курок, целиться, держать руку и спускать курок мягко, без рывка. Ребята стали стрелять – каждый по три выстрела. Дошла очередь до меня. Пистолет оказался неожиданно

тяжелым и неудобным для моей руки. Я сделал первый выстрел; пистолет странно дернулся вверх и вбок. “Крепче держи руку!” — сказал кладовщик. Я выстрелил еще два раза и не попал даже в тетрадный лист. Обнаружив это, я сказал явную глупость: “Может, пистолет не в порядке?” Кладовщик улыбнулся, вставил новую обойму, прицелился и очень быстро, с промежутками меньше секунды, выпустил восемь патронов. Мы побежали смотреть: все пули попали или в черную точку или рядом. Непостижимо, как ему удавалось после каждого выстрела, за долю секунды, возвращать дернувшийся пистолет к прицелу и стрелять поразительно метко! Он поглядел на нас, улыбнулся, сунул пистолет за ремень, и мы пошли домой.

С этим замечательным кладовщиком случилась трагедия. Мне рассказал о ней со всеми подробностями тот же Альфредо. Ребята нашли в лесу запал от противотанковой гранаты (так его назвал кладовщик) и принесли ему показать. Он сказал, что это опасная штука, и лучше всего сразу же ее обезвредить. Попросил ребят отойти на всякий случай подальше и вошел с запалом в маленький сарайчик. Через какое-то время раздался сильный врыв, стекла вылетели, фанерную дверь сорвало с петель, и ребята увидели кладовщика — он лежал ничком. Прибежали солдаты и унесли его. Говорили, что он погиб сразу, потому что держал запал у живота и близко к лицу. Мы очень жалели этого парня, долго еще вспоминали о его гибели и рассуждали: “Вот если бы... а если бы он...” Очень нам хотелось, чтоб он остался жив. Но если б не он, то убило бы кого-нибудь из наших.

Случилась с десантниками еще одна беда: один из них, в пьяной потасовке, зарезал своего друга. Мы видели, как убийцу выводили из землянки на прогулку, без ремня, руки за спину. Он ходил, мрачный, туда-сюда, а за ним с пистолетом наготове и с видом совершенного безразличия ходил часовой. Ребята спросили у часового, что сделают с убийцей. Он ответил, что разберутся, — может, в штрафную роту отправят, а может, и расстреляют.

В Нахабине из разных детдомов выбрали несколько групп и отправили в Черкизово (это совсем близко от нашей родной довоенной Тарасовки), где образовался новый детдом, не помню его номера. Туда я и попал, и там случилось со мной нечто, как теперь любят говорить, судьбоносное или, если угодно, провиденциальное.

Мы сразу невзлюбили директора детдома: высокий, сухой, весь вытянутый, он ходил в гетрах (сегодня мало кто знает, что это такое), всегда быстрым шагом, глядя не на нас, а куда-то поверх голов, короче, “сама строгость и недоступность”, а

по-нашему — шут гороховый. Мы прозвали его Тараканов, — по фамилии очень противного и смешного персонажа из кинофильма "Антон Иванович сердится", где главную роль играет Кадочников. Так вот, перед учебным годом обычно происходил отсев, и Тараканов решил познакомиться с теми, кого наметили к отсеву и лично решить их судьбу: оставить в детдоме до окончания школы или отправить на учебу в училище или техникум. Почему-то позвали к нему и меня. Когда я вошел, он просматривал какие-то бумаги. Поднял голову и говорит суровым голосом:

— Ну, что будем с тобой делать?

— А в чем дело? — спрашиваю я, искренне недоумевая.

— Ты прекрасно знаешь, в чем дело! — заорал он, тряся пальцем.

— Ничего я не знаю! — тоже заорал я, потому что он был мне невыразимо противен.

— Еще и кричать на директора вздумал?! Во-о-он!!!

— Идиот! — ответил я про себя и покинул директорский кабинет.

Впоследствии я не раз пытался понять, в чем он меня обвинял, но так ничего и не придумал. Разве что меня спутали с другим учеником по фамилии тоже Гарсиа (это распространенная в Испании фамилия). Меня зовут Дионисио (это имя), а дальше идут две фамилии — Гарсиа Сапико, но в документах пишут сначала фамилию (отчества у испанцев нет), а сокращенно могут написать "Гарсиа С. Д.". Другой ученик мог называться, скажем, Демесио Гарсиа Серрано, и записали бы его тоже "Гарсиа С. Д". Как бы то ни было, эта ошибка (или какая-то другая случайность) направила мою жизнь по иному руслу — совсем не по тому, что было уготовано: окончив десять классов, я поступил бы в какой-нибудь ВУЗ, как это произошло почти со всеми нашими детдомовцами, и стал бы инженером, ученым или еще кем-то в этом роде (только врачом — ни за что), и жизнь моя в результате оказалась бы более однообразной и совсем не такой интересной. Но этого не случилось, и мой жизненный путь, если оглянуться, похож на извилистую дорогу среди разнообразных живописных пейзажей.

Я попал в группу (человек двадцать), которую отправили в Орехово-Зуево. Там находился (и, наверно, находится до сих пор) большой завод "Карболит" (говорили, что там работает 8ооо человек). При заводе — химико-механический техникум, где мы и должны были, сдав экзамены, учиться. Узнав директорское решение, я удивился: Орехово-Зуево? Химико-меха-

нический техникум? Какое это может иметь ко мне отношение? Но если я откажусь и потребую разбирательства "моего дела" и меня в результате оставят в детдоме, значит, еще три года — ежедневно — Тараканов? Вынести это невозможно, и я решил: "Будь что будет, а главное — свобода!" Замечательно выразился по этому поводу Андрей Платонов: "Оставляй для судьбы широкие проходы".

Итак, я в Орехове-Зуеве, одном из старейших центров хлопчатобумажной промышленности России. Ряды больших добротных кирпичных домов, построенных для рабочих известным русским текстильным промышленником Морозовым. В техникуме было общежитие, но, видно, мест не хватало, и нас расселили по несколько человек в частных домах (собственно, в избах); считалось, что эти комнаты хозяева сдают заводу. В одной комнате со мной жили: Мануэль Перес, Калисто Альдаитурриага (это басконская фамилия) и русский парень Саша Пименов из Павловского Посада.

С хозяевами нам повезло — это были добрейшие русские люди, улыбчивые, всегда помогавшие нам, чем только могли. Иногда они звали нас к себе — вволю поесть вареной картошки с подсолнечным маслом, солеными огурцами и, конечно, с хлебом. Смотрят, как мы уплетаем за обе щеки, и радуются. Были у них три дочери. Младшая Катя, полненькая, кудрявая, голубоглазая, влюбилась в меня и не скрывала этого: глядит, улыбается и вся сияет. Я относился к этому *с пониманием* — дружелюбно; был внимателен, но не более того. Родители глядели на нас с улыбкой: может, были не прочь выдать дочку за испанца. Не забудьте, что мандолина, блок-флейта, папка с рисунками и живописью и любимые книги всегда со мной. Как обычно, я все это "задействовал", что и произвело впечатление на девчушку. Между прочим, Саша Пименов тоже играл на мандолине, причем по нотам. Он где-то достал альбом простых пьес И.-С. Баха — прелюдии, менуэты, сарабанды, марши и т. п. в переложении для мандолины, помогал мне разучивать пьесы (ноты я плохо читал — "по складам", было мало опыта), и мы с ним недурно играли по очереди — к удовольствию слушателей.

Техникум тоже оказался подходящим местом. Приятные учителя и очень хороший директор: красивый молодой человек (лет 30—35, не больше), энергичный, умный и в то же время дружелюбный. И, что замечательно, он тоже играл на мандолине! У завода был свой клуб, где показывали кино, выступали приезжие артисты, а к праздникам готовили выступление художественной самодеятельности завода (естественно, при моем участии).

Мы, детдомовцы-испанцы, составляли отдельную группу. Из учителей особенно запомнились двое: учительница русского языка и литературы и учитель химии. Учительница была старой женщиной, и значит, дореволюционного образования, что чувствовалось в ее обращении и речи. Когда наши девочки, отвечая по литературе, должны были говорить о любви, о страсти и замолкали, не умея найти слов, учительница подсказывала с улыбкой: "Говорите, что он *увлекся ею*".

Учитель химии — мужчина средних лет, высокий и горбатый — нравился мне не только как учитель, но и потому, что свой горб он нес без всякого душевного неудобства — так, будто не знал о своем уродстве. На меня это произвело сильное впечатление. Если б я был горбатым, то не знал бы куда деться, как общаться с людьми, особенно с женщинами. А он был добрый, улыбчивый и, видимо, физически сильный человек. Мы ему положительно нравились. Иногда, вызывая к доске, он произносил по слогам фамилию: "Аль-да-и-ту-рри-а-га", — и добродушно улыбался.

Мы, испанцы, получали от Красного Креста повышенную стипендию, которой хватало на оплату трехразового питания по талонам в заводской столовой, и еще оставалось немного денег на личные нужды. Привыкшие к организованному трехразовому питанию, мы были вполне довольны.

Проучился я — "дотянул" — в орехово-зуевском Химико-механическом техникуме, примерно, до конца апреля. И к этому времени ясно понял, что профессия химика-технолога мне совершенно не по душе и, вместо того чтоб мучиться на экзаменах, подал директору заявление об отчислении.

Поскольку до поступления в какое-либо из художественных училищ Москвы оставалось больше трех месяцев, а стипендии я лишился, то пришлось поступить работать на завод "Карболит" в цех *ширпотреба* (то есть товаров широкого потребления). Для начала меня там научили простейшему делу: зажимаешь в патроне токарного станка заготовку из цветного оргстекла для производства мундштуков и просверливаешь с торцов два отверстия: одно тоненькое, другое побольше, куда вставляется сигарета, — и все дела. Получив первую зарплату за полмесяца, я почувствовал, что в моей жизни произошла значительная перемена: я стал независимым тружеником. На свои деньги я покупал те же талоны трехразового питания, мог купить на рынке еще что-нибудь вкусное, мог купить краски, бумагу, холст... Благодать! А одеждой, обувью, постельным бельем детдом обеспечил нас на несколько лет: всё это нам привезли в Орехово-Зуево.

Начальником цеха ширпотреба был Лазарь Моисеевич; людям старшего поколения это имя знакомо: так звали небезызвестного члена политбюро Кагановича. И здесь мне повезло: начальник цеха оказался доброжелательным, внимательным человеком. Я пришел к нему в кабинет и сказал, что мне надоело сверлить дырки. "Ну что ж, — сказал он, — молодому работнику нужно овладевать разными профессиями", — и велел научить меня делать расчески на фрезерном станке. Дней через десять я опять к нему все с тем же. На сей раз он поставил меня обтачивать, клеить и полировать пудреницы, портсигары, шкатулки, их делали из молочно-белого оргстекла со вставками других цветов. Довольно красиво. Овладел я этим нехитрым мастерством и в третий раз (прямо как в сказке) иду к Лазарю Моисеевичу и вижу у него на столе наши изделия, но только красиво расписанные красками. "Лазарь Моисеевич, — говорю, — я тоже могу так сделать, я же художник!" — "Что ж ты молчал! Нам очень нужны художники, их-то нам и не хватает, а потому мы вынуждены пускать в продажу нерасписанные изделия. Сделай на пробу, что нравится, и оригинал возьми, скопируешь. А как работать нашими красками, покажет тебе такой-то, сейчас его позову".

Пришел мастер, показал. Надо было сначала слегка процарапать рисунок обычной иглой так, чтобы обвести место, куда ляжет данный цвет, отделить его от других; затем накапать краску так, чтобы каждый цвет занял свое место в очерченных границах — получалось нечто вроде мозаики. Когда краска высохнет (очень быстро), можно кистью дорисовать детали; наконец шкатулку полируют до блеска на станке (это делали другие). В итоге получалась очень изящная и прозрачная живопись. Материалом же для нее служили тонко тертые сухие пигменты и жидкость дихлорэтан, между прочим, сильно ядовитая, так что держать флакон с этим химикатом нужно было подальше от себя, на вытянутой руке, а расписывать изделие, не склоняясь над ним, а держа его поодаль. Ну и лучше работать на сквозняке. Лазарь Моисеевич сказал, чтоб я не очень-то боялся: дихлорэтан ядовит, если его выпить, а пары не очень вредны, хотя предосторожности не помешают, в особенности, если работать годами.

Я взял для пробы портсигар и выбрал понравившуюся мне картинку на готовом изделии. Это была "собака на стойке": лесная лужайка, редкие маленькие елочки, на переднем плане собака вроде сеттера с поднятой передней лапой, а откуда-то из-под нее вылетает куропатка (или тетерка). Были и другие мотивы. Дали мне для упражнений простые молочно-белые пластинки. Вскоре я понял, как надо работать, и сделал пер-

вый экземпляр с такой тщательностью, что Лазарь Моисеевич пришел в полный восторг: “Что ж ты, милый, молчал!” Я очень обрадовался новому делу, но не меньше обрадовала и хорошая — сказочная для меня — зарплата. Так как я не ленился, а платили по количеству изделий, то зарабатывал я в среднем 1500 рублей в месяц (или 150 после реформы). Я весь преобразился внутренне. И явственно почувствовал это, когда впервые пообедал с друзьями в ресторане: я ощутил себя могущественным человеком, а мне еще не было семнадцати.

Однажды, зайдя к Лазарю Моисеевичу, я увидел у него на столе новую картинку: на портсигаре был изображен казак, курящий трубку, с картины И. Репина “Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану”. Я взял образец и тоже стал делать этот мотив. Увидев в каком-то журнале цветную репродукцию с портрета А. С. Пушкина работы Тропинина, я, с согласия начальника, стал изображать поэта на портсигарах.

В Орехове-Зуеве мы встретили день Победы. Хорошо помню ту атмосферу — радость одних рядом с печалью других. В город прибыла большая группа пленных немцев, и где-то неподалеку от нас для них устроили лагерь. Многие работали на стройках, рыли канавы (для водопровода или телефонного кабеля). Такую канаву рыли и около нашего клуба. Запомнился один немец: крупный, сильный, с бараньей папахой на голове (хотя зима прошла) и очень злым выражением лица. Мы смотрим, как он копает, а он иногда бросает на нас взгляд, полный нескрываемой ненависти и презрения. Я спросил у охранника: “Кто он? Почему так зло смотрит?” Тот ответил: “Ничего, на днях пустим его в расход”. И действительно: иногда по ночам были слышны автоматные очереди. Говорили, что идет *чистка* — избавлялись от эсэсовцев и всяких иных неугодных элементов. В основном же немцы были добродушными, некоторые нам улыбались, пытались что-то сказать немного по-русски, немного по-немецки, а охранники спокойно, не зло, говорили им и нам, что разговаривать с военнопленными запрещено.

Там я получил удостоверение личности, паспорт, а точнее “Вид на жительство в СССР для лиц без гражданства”. Этот документ специально придумали для нас, эмигрировавших детьми и не имевших никаких испанских документов. Дело было так. Пришли к нам люди из МВД, пригласили к себе и стали расспрашивать “что, где, когда”, чтобы зарегистрировать нас у себя и оформить наш “главный документ”. Когда спросили о дне рождения, я сказал, что не знаю; спросили, сколько мне лет, я ответил, что приблизительно семнадцать. Они переглянулись, улыбаясь: “Что будем делать? В документе должен

быть указан день рождения". Я сказал: "Давайте придумаем, мне все равно. Пусть будет, к примеру, 23 февраля, день Красной Армии". Они засмеялись: "Ну что ж, так и напишем". Что касается года рождения, то я им показался маловат для семнадцати лет, и написали "1930". Так и стоит до сих пор в моем "виде на жительство" эта ошибочная дата вместо правильной — 1928-й. А вот день и месяц рождения, когда я узнал от матери точную дату, как-то при очередном продлении документа согласились изменить: 19 ноября.

В 1990 году я принял испанское гражданство, и теперь мой документ называется "Вид на жительство иностранного гражданина". Однажды, задержавшись глазами на этих словах, я подумал: "Власти полагают, что я в России не живу, а только *делаю вид* на жительство".

Настало время ехать в Москву искать место учебы. Я уже поговорил об этом с Лазарем Моисеевичем, и он сказал: "Жаль тебя отпускать, но ты правильно делаешь: молодым нужно учиться, двигаться вперед!" Истинно советский человек. Однако я завозился и отправился в Москву уже где-то в середине августа. Ночевал я несколько дней в общежитии авиационного завода (кажется "Тридцатого"), где работало много испанцев. В больших общежитиях всегда кто-нибудь отсутствует, и можно занять его место. Выпускалась тогда для молодежи такая брошюра "Куда пойти учиться". Там я нашел "Художественно-ремесленное училище по специальностям: альфрейная живопись (художественная роспись стен), лепка и моделирование, краснодеревщики, художественная обработка камня, художественная штукатурка. Требуется справка об окончании 7 классов средней школы. Экзамены по рисунку и живописи". Это мне подходило. Адрес: метро "Аэропорт", улица... (сейчас это ул. Черняховского, а тогда, кажется, Инвалидная), дом № 9.

Выхожу на "Аэропорте" и тут же рядом вижу большую доску объявлений этого самого училища с подробными разъяснениями: трехлетнее обучение, день практики и день специальных общеобразовательных предметов (история, история искусств, рисунок и живопись, части здания, материаловедение). Но главное: трехразовое питание, полное обмундирование и общежитие для иногородних. Как раз для меня! Я направился по адресу, захожу в белое четырехэтажное здание училища и узнаю, что судьба в который раз идет мне навстречу: оказывается, это новое, только что образованное училище, с обустройством его немного запоздали, и экзамены начнутся только с 10 сентября. Однако приемная комиссия

работает. представил справку, показал свои рисунки и живопись, меня записали. Вернулся в Орехово-Зуево, прожил там в безделье с полмесяца, затем вернулся в Москву, сдал экзамены в училище, устроился в общежитие и только тогда покинул незабвенное, ставшее родным Орехово-Зуево. Еще бы: там я получил "боевое крещение" в самостоятельную жизнь!

Поступил я на отделение резьбы по камню, но не совсем по собственному желанию: я хотел на альфрейное отделение, но так как я записался туда позже других, когда группа была уже набрана, последним в списке стали предлагать другие профессии. На краснодеревщиков тоже не было мест. Я выбирал между лепкой и моделированием, художественной штукатуркой и резьбой по камню. Выбрал резьбу — и очень рад, что так получилось.

Я давно заметил: меня судьба ведет. Почему я замешкался с приездом в Москву на учебу? Не знаю: ведь умел считать дни и месяцы. Почему благословенное мое училище запоздало с экзаменами — как раз к моему приезду и к моему благу? Почему учебных мест на альфрейщиков не оказалось? И какая разница, кто когда записался? По способностям к живописи должны были бы зачислять в эту группу по результатам экзамена, а в таком случае меня, без сомнения, взяли бы, что для меня было бы хуже. И во многих других случаях — всю жизнь — происходило со мной нечто подобное, как будто кто-то говорил мне *оттуда*: "Иди, куда тебя несет, не сопротивляясь и особо не рассуждая, — и все будет как надо". А уж если я начинал самовольничать, идти против естественного течения событий, что-нибудь обязательно меня останавливало.

Где-то в конце второго года обучения из нашего Испанского центра мне принесли письмо, в котором незнакомый человек, хорошо знавший моего отца, известил меня о его гибели. Помню, что это меня не ошеломило, я как будто давно *так и знал*. Опечалился, конечно, и ночью, лежа в постели, во всех подробностях вспоминал о нем, о моей жизни в Орильесе.

Однажды начальники-коммунисты из нашей эмиграции решили устроить радиопередачу для Испании о нашей счастливой жизни в Советском Союзе. В числе других избрали для беседы троих из нашего училища: Кармен Селис, Эмилио Родригеса и меня. Приехала машина звукозаписи, в форточку нашей мастерской просунули кабели микрофонов (хотели записать как фон перестук инструментов во время работы) и началась подготовка к *беседе*, которая, по порядкам того времени, была уже расписана "на три голоса" — как певцам. Каждому вручили бумагу с машинописным текстом "роли", чтобы читали текст по очереди, притворяясь, что говорим *от себя*,

совершенно искренне, дополняя один другого, примерно в таком духе: "Да, Кармен, но не только это, еще..." В театре это называется *читкой* пьесы. Был, конечно, и режиссер. Для начала нас попросили ознакомиться с текстом, чтобы в дальнейшем читать его проникновенно, с выражением. И вот я натыкаюсь в своем тексте на такую примерно фразу: "Только благодаря заботам родного и любимого товарища Сталина, мудрого отца всех трудящихся, я смог..." Тут я посмотрел на руководителей (их было двое) и говорю:

— Я про Сталина читать не буду. Пропущу.

— В чем дело? Почему?

— Я Сталина плохо знаю, какой же он мне *родной?* И потом у меня есть отец, вот его я люблю. (Наверно, для убедительности, я им не сказал, что отца уже нет на свете.)

— Не говори глупости! Сталин всем нам отец. Это же символически говорится!

— Не важно! Я этого просто выговорить не могу. Да и не я это писал. Кто написал, не знаю. Противно. Или я про Сталина пропущу, или совсем читать не буду.

Они переглянулись, замялись, затем один из них прикрикнул:

— Ты здесь не один! Не порть передачу!

Поняв, по выражению лиц, что они все равно не отстанут, я положил "роль" на верстак, вышел из мастерской, побежал на третий этаж и спрятался там в одной из кабинок туалета. Рядом с лестницей была дверь на улицу, и я подумал, что искать меня будут на улице. Время от времени, до меня доносилось: "Дионисио-о-о!" (это испанцы звали) или "Гарсиа-а-а!" (это русские). Подождав минут двадцать, а может и больше, я вышел на разведку, попросил приятеля выглянуть на улицу — стоит около нашей мастерской машина типа УАЗ или уехала — и никому не говорить, что он меня видел. Вскоре приятель вернулся, сказал, что никакой машины нет, и я ему все рассказал.

Через несколько дней позвали меня в Испанский центр — разбираться. Поначалу начальники были настроены грозно, но я их убедил, что слушатели в Испании — не дураки, что слушают передачи не только "свои", но и "неприятели". Они же смеяться будут над нами, куклами заводными, и над ними, руководителями, поскольку фальшь ясно видна! Я сказал, что общую идею поддерживаю, что мне действительно хорошо и легко живется — я люблю свое училище и свою работу, люблю социализм и Советский Союз, но говорить об этом я буду своими словами, и скажу куда убедительнее, чем они понаписали, да еще сыграю на саксофоне. Они, скрепя сердце, согла-

сились: “Этот юнец, да притом не комсомолец, еще и учит нас — критикует старших!” Но ведь они и сами не дураки, — хитрые бестии! — знают, что такие передачи обязательно прослушают сначала здесь “на высшем уровне” (в секретариате Испанской Компартии), да еще куратор нашей эмиграции из КГБ, так что если передача получится своеобразной, удачной, политически нужной, то похвалят в первую очередь их. Договорились о дне, пришел я со своим саксофоном в какое-то помещение радиокомитета, обсудили передачу — “интервью”, — и все получилось, кажется, очень неплохо. Между прочим, я в конце беседы самовольно обратился к своим родным — к матери, братьям и сестрам: “Вдруг вы меня слышите? Так вот, скажу вам главное: мне живется здесь хорошо, я всем обеспечен, в Советском Союзе никого из молодежи не бросают на произвол судьбы, тем более нас, испанцев, живущих без родителей. Можете за меня не тревожиться, уж вам-то я бы не стал лгать”. В конце передачи я сыграл для испанских слушателей на саксофоне что-то красивое русское и что-то испанское.

Я не вступил в комсомол ни в детдоме, ни в училище. Разумеется, мне, хорошему ученику, предлагали вступить, но я всегда отказывался, говорил, что не люблю собраний, что и так учусь и занимаюсь общественной деятельностью вполне “по-комсомольски”. Но дело было, главным образом, в том, что я не хотел дополнительных начальников: *сам все понимаю и сам сделаю, что нужно.*

Во время каникул мой приятель из лепщиков-модельщиков Кашкадов (имя я забыл, поскольку мы чаще всего называли друг друга по фамилии) позвал меня поработать на строительстве Московского Автомобильно-дорожного института (МАДИ). Здание строилось совсем недалеко, в каких-нибудь трехстах метрах от нашего училища. Надо было лепить различные потолочные розетки, декоративные кронштейны и модульоны, лепные бордюры и отливать их из гипса. И заработок очень неплохой. Я обрадовался: опять появятся у меня свои деньги!

На строительстве работало много пленных немцев, там я и познакомился с незабываемым Зигуртом Мерцем, артиллерийским офицером, старшим лейтенантом. Красивый стройный парень выше среднего роста, лет, кажется, двадцати шести. По образованию — архитектор, причем, как он сам объяснил, главным образом декоратор. Зигурт отлично рисовал, лепил и знал форматорское дело (то есть работу с гипсом). Его нам дали как помощника, хотя он ни в чем нам не ус-

тупал — хорошо лепил и мог предложить разные дельные поправки к чертежам. Его мобилизовали в 44-м. За два с лишним года плена Зигурт научился прилично изъясняться по-русски. Как услышит незнакомое слово или выражение, говорит: "Айн момент", — вынимает записную книжку, спрашивает, что это значит, и записывает. Мы с ним быстро сошлись.

Надо сказать, что, по-видимому, немцы жили в плену неплохо (понятно, плен есть плен — не обрадуешься). Проходя по стройке (были возведены только стены первого этажа, и всюду, как в лабиринте, зияли дверные и оконные проемы), я наблюдал за немцами, видел их спокойные лица, слышал разговор, часто веселый, со смехом. Работали они тщательно, размеренно. А однажды я видел, как они выходят из столовой почти строем (по привычке), но медленно, лопоча что-то по-своему, вроде го-го-го, как сытые гуси; некоторые почесывали животы и издавали задом "постыдные звуки", что ничуть их не беспокоило. Крепкие рослые мужики. Я спросил Мерца о питании (мы с Кашкадовым чаще всего его звали по фамилии). Он сказал, что норма хлеба на день — 700 граммов, что кормят их сытно и часто дают любимую пищу немецких солдат — фасоль с салом. Кстати сказать, и у нас в детдоме во время войны, и в нашем училище была та же норма хлеба — 700 граммов. Руководил их работой тоже немец — средних лет, грузноватый, видимо, сам архитектор или инженер-строитель. Он сидел под парусиновым навесом за столом с кучей бумаг и чертежей и деловито управлял муравейником.

И по виду и по настроению Мерца было видно, что его ничто особо не тяготит: работал он с охотой, говорил с нами, почти всегда улыбаясь. Мерц с явным удовлетворением говорил: "У золдатен есть клопик" (и показывал пальцами, какие они — клопы — маленькие); "у офисиег — нихт клоп". (Иногда он, зная русские слова, второпях говорил немецкие).

Забавный случай.

Однажды явились к нам какие-то строительные начальники, судя по всему, сам архитектор проекта и кто-то из инженеров-строителей. Стали смотреть, как идут дела с декоративными изделиями. Показываем чертежи, они их сравнивают с нашими работами, что-то обсуждаем. Архитектор делает какие-то замечания, что-то предлагает, и Мерц, тоже архитектор, вдруг говорит со всей профессиональной искренностью и самым учтивым тоном:

— *Ниет... Это будет хуйево...*

Начальники переглянулись и захохотали.

Снова обсуждаем, мягко спорим по поводу каких-то деталей: ведь мы действительно что-то изменили в лепке относи-

тельно чертежей, по нашему мнению — к лучшему. Мерц вместе с нами очень учтиво объясняет им, почему мы сделали хорошо, а как было начерчено — *это хуйево*. Начальники опять тихо посмеиваются. В конце концов, видя что мы все же хорошо лепим, умело, они одобрили работу в целом и ушли. Мерц спрашивает меня с недоумением:

— Дэнис, почему они смеяться, когда я говорю?

— Потому, что ты сквернословил.

— Что такое? Сквер... нос... ловил?

Я ему сказал, что *хуйево* — это грубая народная замена слову "плохо", и объяснил в чем дело. Мерц схватился за голову:

— Айяяй! Это мне русский шофер сказал!

Теперь уже смеемся мы с Кашкадовым: нашел, у кого спрашивать! Мерц мягко картавил, так что у него вышло еще смешнее и жальче: "Гусский шофе-е-г!" Говорят, что такое произношение у немцев — признак аристократизма. Интеллигент Зигурт Мерц страшно удручился этим происшествием, а мы его утешали, мол-де, начальники привыкли к подобным выражениям и даже остались довольны тем, что немецкий офицер успешно усвоил *русскую речь*. Мерц, оказывается, знал слово "плохо", но, видно, новое выражение больше ему понравилось: он же был художник, и музыку любил, а слово "плохо", согласен, звучит куда менее выразительно.

Мерц, узнав, что я испанец, стал чаще беседовать со мной. Кашкадов же был неразговорчив, он молча, несколько угрюмо, энергично работал и делал больше всех. Когда же мы оставались вдвоем, Мерц оживлялся и начинал какой-нибудь разговор, часто не прерывая работы. Говорили мы больше об искусстве. Я, бывало, хотел обсудить с ним то, что случилось с Германией — нацизм, войну, — хотел узнать, как он на все это смотрит, но Мерц не поддерживал разговора на эту тему, молча махал рукой, и я не настаивал. Ясно: тяжело ему было, слишком неприятно.

Когда Мерц в который раз повторил, что столько ржаного хлеба, сколько им дают, невозможно съесть, и что хлеб у них остается, я предложил: пусть они, несколько человек, попросят дать им их норму ненарезанными буханками (немцы в столовой обслуживали себя сами). Я продам хлеб на рынке, а на эти деньги куплю им что-нибудь — что они скажут. Мерц очень обрадовался и поддержал идею. Вскоре он стал приносить из столовой по две буханки ржаного хлеба, уложенные в немецкую военную сумку темного зеленоватого цвета. Вечером я продавал этот хлеб на Инвалидном рынке, который находился между строительством и нашим училищем. Мерц по-

думал, что ему нужно купить на вырученные деньги и наконец сказал:

— Дэнис, можно зеркальце? — и показал, раскрыв ладони, что он имеет в виду маленькое складное карманное зеркальце. На следующий день я принес зеркальце. Оно ему понравилось, и Мерц заказал еще несколько штук для своих приятелей. Я купил для них несколько зеркалец, тюбиков зубной пасты (им давали порошок), красивых батистовых носовых платков, записных книжек со вставленными внутрь тоненькими карандашами, еще что-то, а как-то раз и французские булочки — вкуснейший белый хлеб, которого они давно не ели.

Однажды Мерц сказал, что скоро день его рождения, и он хочет накопить на угощение. За день до торжества начали мы с ним соображать, что купить к столу. Я перечислил ему всё хорошее и вкусное, что было в магазинах — а было тогда многое (в так называемых "коммерческих магазинах"), только дороговато для простого труженика. И Мерц выбрал: окорок вареный, осетрину, сыр, маслины, какие-то овощи ("оккурци", как он говорил), фрукты, бутылку шампанского, десертного и сухого вина, белый хлеб и, конечно, торт. Учтите, деньги были общие, не его одного, а нескольких офицеров, так что не Мерц угощал, все вместе угощались.

И вот, в день рождения, перед самым концом рабочего дня (я был один, Кашкадов часто уходил раньше, у него были дела где-то еще), появляется Мерц, с тремя или четырьмя другими немцами, тоже офицерами, знакомит меня с ними (они кланяются и я тоже, без всякого рукопожатия: понятно, что это уж слишком), и Мерц говорит (вставляя в свою упрощенную русскую речь немецкие слова), что он и его друзья имеют честь пригласить меня на праздник, что они питают ко мне самые хорошие чувства, будут очень рады и так далее. Затем добавил, что надо только попросить разрешения у начальника лагеря. Я, конечно, обрадовался: посмотрю поближе, как живут пленные, попирую с ними, поговорим.

Иду к начальнику лагеря. В дверях охранник с автоматом. Я показываю ему пропуск на стройку, с фотографией, он открывает дверь, и мы входим в кабинет начальника. Охранник говорит:

— Вот просится к вам, что-то ему нужно.

Начальник посмотрел на меня и говорит тому:

— Хорошо, иди.

И обращаясь ко мне:

— Ну, что у тебя?

— Я тут работаю лепщиком-модельщиком. С нами работает немецкий офицер Зигурт Мерц...

— Ну, знаю Мерца.

— У него сегодня день рождения, они там соберутся в офицерской комнате и Мерц приглашает меня посидеть с ними. Нужно только ваше разрешение.

Начальник посмотрел на меня очень внимательно, как-то пронзительно, и говорит:

— Иди отсюда!

Я растерялся и от неожиданности слабым голосом спрашиваю:

— Что?..

— Иди отсюда — быстро!

Я обиженно, как маленький мальчик, опустил голову, повернулся и ушел. И уже на улице стал соображать, что должен был бы ему ответить, как объяснить... Затем до меня самого дошло — ведь это лагерь немецких военнопленных, недавних врагов наших, стрелявших в наших бойцов, убивавших их... А я — между прочим, тоже не русский — прошусь к ним... на день рождения! Ну и ну! Хорошо еще, если обойдется...

На другой день я все объяснил Мерцу. Он понял, счел поведение начальника нормальным, рассказал мне, как хорошо попировали, что выпили и за мое здоровье.

А опасения мои не оправдались. Тот начальник, видно, был неплохим человеком, посмотрел на все обыкновенным житейским, а не *политическим* взглядом. А я ведь был уже вполне пригоден для лагеря: 18 лет.

Проработав на стройке почти до конца августа, мы с Кашкадовым должны были уволиться — начинался третий год обучения. Я заранее сказал об этом Мерцу, и, когда настал день прощания, он меня удивил. Я и раньше видел, что он очень ловко лепит небольшую фигурку (сантиметров 15 в высоту) обнаженной девушки, сидящей в очень изящной позе. Затем он отлил ее из гипса. Оказывается, это был подарок для меня! Он принес еще небольшое изображение Богоматери с младенцем, вырезанное из дерева низким рельефом и слегка, очень прозрачно, раскрашенное акварелью; внизу надпись по-немецки “Guten Mutter”. Я спросил, кто это сделал, и тогда Мерц пошел куда-то и вернулся вместе с незнакомым рослым немцем средних лет, очень смиренного вида: смотрит на меня, опустив руки, не шевелясь, и, не решаясь улыбнуться, молчит. Я поблагодарил его, он поклонился и ушел.

Дней за десять до этого Мерц сказал мне, что в деревообрабатывающей мастерской могут сделать для меня что-нибудь нужное. Я понял, что он хочет как-то меня поблагодарить, и спросил, могут ли сделать этюдник. (Разъяснение для тех, кто не знает: этюдник — это небольшой ящик с отделениями для

красок и кистей, открытую крышку которого можно зафиксировать с нужным наклоном, чтобы закрепить на ней холст или картонку и заняться живописью на природе — писать этюды). Через некоторое время Мерц принес готовый этюдник, аккуратно, "по-немецки" сработанный и покрытый лаком. Я был очень тронут его заботой. Мы, детдомовцы, отвыкли от обычных семейных подарков: в детдомах никогда не праздновали ничьих дней рождения, не отмечали подарками чьи-то успехи, давали только похвальные грамоты, а дети ценят подарки.

Когда я писал это, опять вспомнил нашего любимого Виктора Васильевича, воспитателя из тарасовского детдома, единственного, кто дарил мне разные приятные вещи. **Виктора Васильевича, убитого немцами под Киевом...** И вот теперь немцы, пленные солдаты, убивавшие наших, с сердечным расположением дарят мне подарки! Мерц командовал батареей и, значит, указывал, куда направлять огонь, называл наводчикам прицел и кричал "огонь!" Что, если как раз по команде Мерца и погиб наш Виктор Васильевич? Ведь это могло быть! А даже если и нет, то сколько наших солдат было убито по его наводке! А Мерц — симпатичный человек... Вот и это — война.

Кстати о войне и о немцах. Вспомнился мне рассказ Анатолия Кассирова из нашей группы про то, что он пережил, будучи (недолго) в оккупации не так далеко от Москвы. Его рассказ произвел на меня особое впечатление.

Кассиров, очень неглупый человек и способный ученик, во время общего разговора о войне, о немцах, сказал, что это, мол, вы всё взяли из кино, из газет, а вот он был в оккупации и своими глазами видел немецких солдат и знает, как они себя ведут. Учтите, Анатолий вообще любил противоречить и никогда ни с кем не соглашался. Вот что он рассказал.

В деревне идет бой. Советские войска отступают, сдают деревню. Крестьяне попрятались по домам. И вот около Толиного дома останавливается военная машина с немецкими солдатами. Они с матерью смотрят то в одни окна, то в другие, чтоб знать, что происходит (а младшим не велят смотреть: пуля или осколок может попасть в окно). Наших солдат уже не видно. С улицы слышны крики немцев — какие-то приказы, наверно, "Хальт! Хенде хох!" Ни Толя, ни мать никак не поймут, кому они кричат, и вдруг видят: по соседскому огороду, между грядками картошки, ползет солдат, медленно, размеренно и как-то совершенно спокойно. Хорошо запомнились слова Кассирова: "Мы стали волноваться за него: ну, что же ты! Встань, беги куда-нибудь! Или сдавайся! Убьют ведь!" А

он все ползет. К забору ползет, где у самой земли дыра. Немцы все кричат, а он ползет. Наконец раздалась автоматная очередь, и бедняга затих в картофельной борозде.

Толя так живо рассказывал, что я прямо-таки видел, как все произошло. Я думаю, что тот солдат глубоко проникся идеей "Лучше смерть, чем позорный плен". Пожалуй, он относительно своей жизни поступил правильно: известно, сколько мучений и унижений пережили советские военнопленные (а ведь их было несколько миллионов!), прежде чем их почти всех уничтожили.

Вот что еще рассказал Толя.

Немцы варили пищу в полевой кухне, а затем, рассевшись на траве, ели свою похлебку. В деревне уже тихо, и некоторые из детей, в том числе и маленький Толя, вышли на улицу — стоят и смотрят издали на немцев. Те тоже смотрят на ребят, что-то говорят. Когда кончили есть, стали показывать знаками, чтоб ребята принесли посуду, — мол-де, дадут и вам поесть. Детишки сбегали за посудой, и каждому немцы наложили фасолевой каши. Они смотрели на ребят и явно были довольны — может, вспоминали своих детей.

Через несколько месяцев фронт снова стал приближаться к деревне. Теперь отступают немцы. Стояла зима. И вот они сзывают жителей и на плохом русском языке объявляют приказ командования: в течение полчаса покинуть дома, деревня будет сожжена. Толина мать сразу стала готовить небольшие хлебы, сунула их в печь. Собрали в чемоданы и тюки все самое ценное и необходимое. Заходит к ним немец с канистрой бензина и велит выйти. Мать подзывает его к печке, показывает на хлеб и объясняет на пальцах, что надо еще пятнадцать минут подождать, пока хлеб испечется. Немец сказал: "Гут", — и ушел. Через какое-то время вернулся, мама вынула из печи хлеб, все вышли на улицу, и немец поджег дом. Кассиров говорил, что было ужасно больно и жалко смотреть, как горит родной дом. Вся деревня ушла в лес, и там устроились, кто как умел. Вскоре появились наши. На сей раз стрельбы в деревне не было — немцы просто заблаговременно оставили ее, бежали.

Вот так Толя Кассиров наперекор другим подправил ходячее мнение о немецких солдатах. Между прочим, оставив профессию резчика, он сам стал впоследствии военным и дослужился до майора.

Первое место работы в моей самостоятельной жизни — Трест передвижки и разборки зданий. Начальник — Глызденко (почему-то запомнилась фамилия). Однако никакой передвиж-

кой и разборкой мы не занимались, а делали прямо противоположное — строили здания на улице Горького. Естественно, нам, резчикам по камню, досталось украшение этих зданий.

Первое рабочее общежитие размещалось в громадном красивом здании — бывшем костеле на Малой Грузинской улице.

Сначала расскажу о работе, затем о жизни в нашем общежитии, которая теперь представляется мне просто-таки фантастической.

Работал я с ребятами нашей группы в трех домах: один около Телеграфа — дом с большими полированными гранитными арками окон первого этажа. Другой — угловой дом на Пушкинской площади напротив дома с башней, увенчанной фигурой женщины (отсюда пошло выражение "встретимся на Пушкинской под юбкой"), теперь этой фигуры уже нет. Третий дом — между Маяковской и Белорусской.

Запомнилась работа на Пушкинской. Во-первых, я там опять встретился с пленными немцами. Они делали самую простую и грубую работу: передвигали большие гранитные блоки, помогали ставить готовые изделия и раскалывать камни по нужному размеру. Это была уже *тонкая работа*: специальным пневматическим сверлом (типа шахтерского отбойного молотка) немцы делали ряд дырок в камнях, мы вставляли туда железные клинья между двумя железными пластинами — "щечками" — и умелым битьем большим молотком по клиньям раскалывали камень. Пока мы делали свое дело, немцы, скрестив руки на груди, наблюдали: тук-тук-тук-тук по клиньям то здесь, то там — и через две-три минуты каменная глыба весом в несколько тонн раскалывается пополам. Затем мы снова намечали, где продолбить дырки, немцы брались за пневматический инструмент, сверлили, а затем мы кололи гранит на меньшие куски сообразно размерам будущего изделия. Когда немцы, стоя на гранитных глыбах, долбили дырки, руки с работающим инструментом у них тряслись, раздавался ужасный дробный треск, и я представлял, как они, солдаты, стреляли из пулемета. Один из немцев умел делать кольца вроде обручальных из серебряных монет. Ему приносили такие монеты, и он стал зарабатывать деньги, на которые ему покупали разные вещи и лакомства. Запомнился другой немец, которого все звали Костей, почему — не знаю; может, его немецкое имя было похоже. Рослый, молчаливый, работящий. Однажды русские ребята при встрече с ним приветливо спросили: "Как жизнь, Костя?", и тот, бегло оглянувшись, нет ли поблизости начальства, ответил: "Как собака!", — и быстро удалился. Помню, мне стало любопытно: по-

чему “как собака”? Что с ним такое? Кем он был до войны в своей Германии?

Теперь расскажу о нашей жизни в костеле.

— “Где живешь?” — “В костеле”. Или: “Я — *костельский*,” — сегодня это звучит странно и смешно, а тогда — вполне естественно. Мы привязались к этому совершенно необычному для Москвы громадному диковинному зданию в готическом стиле. Ну представьте себе, что вас по какой-то необходимости поселили в одной из кремлевских башен. Каково?

Внутреннее пространство костела разделили на три этажа: на первом этаже женское общежитие, на двух других — мужское. Были еще полуподвальные помещения с кухнями, подсобными комнатами, какими-то мастерскими. Помню, что там работали чеканщики по металлу из других художественных училищ (в нашем не учили чеканке). Сделали лестницу, которая вела на верхние этажи. Длиннющий коридор, справа и слева — ряды комнат. В конце коридоров большие круглые залы на месте алтарной части. В нижнем зале обычно происходили собрания, а в верхних — танцы, игра в шашки, шахматы, домино и просто встречи общежитийцев, разговоры. В самом верхнем зале под куполом висела на цепях большая металлическая птица с распростертыми крыльями размахом больше полуметра: ребята назвали ее орлом. Говорили, например: “Сегодня танцы под орлом”. Вообще-то это образ Святого Духа в виде голубя, но ребята правы: какой же это голубь?

В каждой комнате жило по десять-двенадцать человек. Окна почти во всю стену от пола до потолка, причем с фигурным переплетом — это ведь громадные окна готического собора. вытянутые, высоченные, разделенные на три этажа. Третьему этажу, естественно, достался стрельчатый верх.

Жило в этом костеле, как говорили, пятьсот человек, и, конечно, происходили там разные события, случалось, и драматические.

Однажды сильно засорился один из туалетов (они были типа вокзальных), и как ни старались прочистить его своими силами, ничего не вышло. Пришли какие-то мужики, стали прочищать профессионально и с помощью гибкой проволоки с крючком на конце вытащили оттуда человеческого эмбриона (кажется, говорили, пятимесячного), завернутого в тряпки. Нынешние молодые не могут и представить себе, что значило такое событие в те времена, в 1949 году. Пришла милиция, следователи, несколько дней допрашивали молодых женщин (а пожилых у нас и не было) — и не нашли виновной.

Назначили общее собрание, на котором кроме комендантши общежития выступали незнакомые люди (кажется, врач и какой-то начальник) — анализировали, разъясняли, стращали. Я был на этом собрании, хотя и не до конца. Для меня, детдомовца, это событие тоже было чем-то исключительным — сценой из фильма ужасов.

У лепщика Анатолия Крякушина как-то украли новенький костюм. Он догадался, кто это сделал — из своих, костельских, — заявил в милицию, вора уличили, был суд, и виновный получил, кажется, два года тюрьмы. Приятели вора с Малой Грузинской — тоже из воров и шпаны — сильно избили Крякушина. Тогда он позвал нас, испанцев, отомстить чужим и неправым, чтоб *впредь неповадно было.* Выследив главного виновника по кличке "Нос" (у него действительно выдавался нос), а с ним был еще один, мы втроем — Альфредо Бильбао, я и сам Крякушин — напали на них, взяв в руки всякие твердые предметы, и тоже крепко побили. Я обычно участвовал в драках без энтузиазма и не очень усердствовал, можно сказать, формально выполнял свои неприятные приятельские обязанности.

Подобных событий было в костеле много. А более приятных и светлых? Такое тоже было. Геннадий Некрасов, камнерезчик из нашей группы (сам с Кургана, с Южного Урала), полюбил какую-то девушку, они поженились, и мы пировали в подвале костела. Правда, Некрасову не повезло: лет через двадцать, то есть совсем еще молодым, он разбился на машине в горах Кавказа.

Некоторые из наших резчиков, как и я, не любили гранитные работы на стройках и постоянно искали более достойную и художественную работу — по мрамору, известняку и ради этого даже терпели нужду. Однажды Саша Синельников, один из лучших резчиков и вообще талантливый человек (тоже из Кургана), сказал нам радостно:

— Всё, ребята, — нашел хорошую работенку.

— Где? — спрашиваем.

— В морге!

Все смеемся, а Саша говорит:

— Я серьезно!

— И что ты там делаешь?

— Ясно что — мертвецов обмываю.

Общий хохот. А Синельников, серьезнейшим тоном:

— Конечно, это временно, чтобы перебиться... Зато заработок хороший. Правда, денег дают мало, а остальное — натурой...

— Как — "натурой"?

— А так: девять обмоешь — десятого бери себе.

Не знаю, сам ли Саша придумал эту шутку (а он был шутник) или где-то подхватил, только больше я нигде ее не слышал.

А Костя Иванов устроился... милиционером! Прослужив несколько месяцев, он уволился (или его уволили), причем оставили ему милицейские форменные брюки. Пожалели его что ли? Ходить в них он не хотел, решил продать и обратился ко мне за помощью: мол-де, не умею торговать. Пошли на Тишинский рынок, что поблизости от костела. Я выставил хорошую цену и стал весьма убедительно расхваливать товар, а он, и правда, был высокого качества, только узенький красный кантик-лампас портил дело, но я и эту деталь расхваливал: "Оригинально!" В итоге хорошо продали брюки.

Между прочим, вспомнил странную, установившуюся тогда на рынке формулу торговли. Например: "Сколько просишь?"

— Пятьсот.

— А *как отдать?*

— Четыреста пятьдесят.

Я не соблюдал эту форму, говорил: "Так и отдать!" — и на меня злились, мол, ненормальный. Ну а затем, разумеется, зашли мы с Костей в "Чайную" (нелепое название), попросили знаменитые тогдашние "сто пятьдесят, кружку пива и сосиски с капустой" (или с горошком), ну и хлеба, а горчица на столе. Сначала "хлоп" по сто пятьдесят, затем едим, пиво пьем, разговариваем... И никакого чая. Полное счастье.

Рассказывая о нашем замечательном училище, я еще ничего не сказал о своих друзьях. Вообще доброжелателей было у меня много, неприятелей же — ни одного, даже самого незначительного. Это можно считать следствием особой черты характера: я должен быть всегда "на уровне", иначе *неприятно, ненормально.* И я за этим следил — сознательно и бессознательно. Если бы я стал для кого-нибудь *неприятным типом* — это было бы для меня "смерти подобно". Естественно, такое требование к себе в большом обществе "разноперой" молодежи потребовало от меня выработки особой *культуры поведения* с элементами тактических хитростей, но, в основном, я "брал" своими способностями, обходительностью и всяческой помощью.

Из друзей хочется выделить двух: москвича Игоря Капкалло (его предки приехали из Белоруссии) и Сашу Синельникова из Кургана (Южный Урал), он тоже жил в общежитии. С Игорем мы подружились *сердечно*, то есть произошло не вполне объяснимое *притяжение душ*, а с Сашей сошлись на дело-

вой, профессиональной почве. Он, несомненно, был одним из лучших учеников, и мы с ним, рассматривая альбомы с репродукциями или посещая музеи, любили обсуждать произведения скульптуры и архитектуры. Талант есть талант, поэтому я не удивился, когда в последствии он, научившись у приятеля, стал замечательным ювелиром.

Игорь восхищался моими способностями, а я — его ясной душой и искренними чувствами. Он был сильным и смелым парнем, несколько агрессивным в спорах, так что серьезно сцепиться с ним охотников не находилось. Но ко мне это не имело отношения. Раз или два в неделю, когда после учебного дня ему почему-то не хотелось час или полтора дожидаться ужина, он отдавал мне свою порцию. Мы с ним сидели за одним столом, так что раздатчица ставила на стол четыре порции — я съедал две.

В нашей дружбе с Игорем возникло очень серьезное, можно сказать драматическое, напряжение "на женской почве". Он полюбил девушку Лиду, которая работала в канцелярии Художественного фонда, помещавшейся на первом этаже того же дома, где он жил (на улице Горького около Моссовета). У Игоря была очень приятная семья: мама, хорошая русская женщина, добрая, заботливая; ее сестра, горбатенькая, однако словно не замечавшая этого, веселая, разговорчивая и тоже добрая; сам Игорь да младшая сестренка. Все они были мне симпатичны. Почему-то было заведено, что именно у них собиралась по выходным дням соседская молодежь, немного, человек пять-шесть. Танцевали под патефон и пили чай с домашним печеньем и тортом, который всегда, сияя улыбкой и радуясь, что доставляет удовольствие гостям, ставила на стол Игорева тетка. В эту компанию стала приходить и Лида (они были знакомы с теткой — вместе работали в Худфонде).

Как-то я принял Лидино приглашение и пришел к ним домой. Адрес помню: Товарищеский переулок, дом 31; у них была комната в коммунальной квартире в старинном двухэтажном кирпичном особняке. Рядом Андроников монастырь, памятник архитектуры XV—XVII веков, где теперь помещается Музей иконописи им. Андрея Рублева. Семья у Лиды была такая: мать Анастасия Ивановна, ее *полоумная* сестра, которую временами забирали в психбольницу, брат Володя четырнадцати лет, учившийся в ремесленном училище на токаря, и сестренка восьми лет. Была еще старшая сестра Тамара, которая уже вышла замуж и жила у мужа, замечательного человека Евгения Худякова. Глава семьи Иван Коннов умер вскоре после Великой Отечественной войны.

Все пятеро жили в одной небольшой комнате, дружно и довольно счастливо. Человек — выносливое существо, и, в сущности, ему мало что надо, если есть работа, какой-то кров, необходимая пища, мир на земле и дружеские отношения с ближними — только не надо уводить человека от этого, развращать бесконечным потребительством. В этом я убеждался множество раз. Такие люди могли, увидев в кино, как живут богачи за границей, сказать: "У-у, сколько у них всего! Комнат не сосчитать! А какие платья!.." И тут же забывали об этом — и не чувствовали себя несчастными. Обычный мирный порядок, обычные заботы, простые радости, дружба — этого оказывалось достаточно для ощущения хорошей жизни. И хотя можно, конечно, не менее дружно жить в лучших условиях, это совсем не означает, что ту стесненную жизнь надо именовать *жалким существованием.* Так полагает только алчное и ненасытное современное шкурье.

Мать Лиды Анастасия Ивановна работала в канцелярии Худфонда и с удовольствием рассказывала мне, как, получая зарплату два раза в месяц (она ее выдавала), некоторые известные тогда художники — Соколов-Скаля, Дейнека, Кукрыниксы и другие — оставляли ей какие-то деньги. Так что семья жила не бедно, я это видел во время праздничных застолий. Они стали меня звать на свои семейные праздники, а затем и на воскресные обеды. Молодому человеку всегда приятно вкусно поесть и немного выпить с хорошими людьми, так что я стал привыкать к таким посещениям. Так я познакомился с сестрой Лиды Тамарой и ее мужем Женей, симпатичнейшим человеком. Он провоевал танкистом всю войну, был легко ранен и уволился в чине капитана. Очень интересно он рассказывал про войну, главным образом о неприятных случаях со своими. Один рассказ, самый драматический, я приведу...

Хотя, конечно, я не помню его рассказ дословно, буду говорить от его лица, тем более что все, что Женя говорил, запомнилось очень хорошо — сам потом не раз пересказывал.

"Однажды, осенью сорок третьего года, мы стояли в резерве. Я получил приказ отправиться со своей тройкой танков на север — на правый фланг нашей дивизии в расположение такого-то полка. Двигаемся тылами на полной скорости. Я высунулся из башни, чтоб лучше ориентироваться, и вдруг вижу: метрах в трехстах впереди и левее широкой лощиной неспешно идут в нашем же направлении немецкие танки. Я приказал сбавить скорость, чтобы меньше шуметь, и взять правее, чтоб уйти из зоны видимости немцев. Поравнявшись с немцами (я понял это по звуку), мы тихо подошли к краю склона и видим: ползут один за другим пять танков. Мы рассредоточились по

всей длине немецкой колонны и по условленному знаку открыли огонь по первому танку и по последнему. Передний танк остановился и задымил. Немцы поняли, где мы, быстро рассредоточились, повернули к нам пушки и открыли огонь. Мы маневрируем, то скрываясь от них, то появляясь в других местах; немцы тоже не стоят на месте. Бой длился довольно долго и не так успешно, как нам хотелось. Наконец мы подбили у них вторую машину. Тогда немцы на полной скорости спустились вниз и, продолжая стрелять, стали удаляться и скрылись за холмом. Я направил свою машину за ними — посмотреть, что они там затевают, но немцы неслись во всю мочь — видно было, что останавливаться не намерены. И правильно: раз не вышло скрытно зайти с тыла, бесполезно идти дальше, тем более что и снарядов осталось мало. Я потом думал: как им удалось незаметно пройти линию фронта? Наверное, была тут какая-то хитрость: то ли отступая, они замаскировали где-нибудь в овражке эти пять танков, то ли что-то еще. Двигаемся дальше к командному пункту полка.

Подходим, соскакиваю с машины, хочу доложить полковнику, что и как, а он, раздраженный тем, что неважно идут дела на его участке, как закричит: 'Почему опаздываете?! Немедленно в бой, вон на ту возвышенность, подавить батарею противника!' Я говорю: 'Товарищ полковник, разрешите доложить...', а он: 'Какие еще доклады? Выполняйте приказ!' Но я, наперекор ему, все равно доложил и сказал, что в бой идти не можем, поскольку израсходовали почти все снаряды, только пулеметные ленты почти в целости. 'Что-о-о?!!' — завопил он в полном бешенстве. 'За невыполнение приказа командования во время боя — расстрел на месте!' — и ушел.

И что ж вы думаете? Расстрельная команда — старшина с двумя автоматчиками — тут как тут. И ведут меня за блиндажи, в поле. Пока идем, я им рассказываю, что у нас случилось, говорю: 'Ведь это проверить можно, тут, не далеко, два немецких танка дымят... А если б мы их не остановили? Но полковник и слышать ничего не хочет. Подождите немного, ребята, может, опомнится...' Ребята, видно, верят мне и жалеют, но старший говорит: 'Видишь, тебе за невыполнение приказа расстрел, а мне что — за невыполнение приказа?' Я опять: 'Ну подождите немного... И подумайте, каково вам самим будет, когда станет известно, что невиновного расстреляли! Ведь свидетели есть — восемь танкистов!' В конце концов я не выдержал и заплакал от страшной обиды, от страшной несправедливости. Ребятам совсем стало тяжело. Старший говорит: 'Ну, сядем, покурим...' А я — как чувствовал! Вскоре около командного пункта началось какое-то движение, офицеры с би-

ноклями бегают, смотрят на бой, что-то говорят, радуются... Значит, погнали немцев. Ребята это поняли, сидят, курят. Наконец старший говорит: 'Пойду-ка узнаю...' Через некоторое время возвращается, вижу – доволен: 'Я ему, мол, относительно тебя... Подождать, – говорю, – просишь...' А он: 'Кто? Чего?' Я напомнил, а он, махнув рукой: 'Ну его на х..!' – 'Так что можно тебя отпустить'. Я плачу, обнимаю его, говорю: 'Спасибо, ребята, век вас не забуду'".

Я спросил Женю:

– А ты потом показал какому-нибудь начальнику подбитые танки? Ведь за это нужно было наградить, а не расстреливать.

– Не до того было, скорей бы уйти. Какой-то офицер приказал нам отправляться в свою часть, ведь снарядов-то у нас почти не осталось. Мы сели по машинам – и полным ходом оттуда.

Я того полковника, будь на то моя воля, разжаловал бы в рядовые. Какое легкое отношение к жизни людей, к бойцам, какое *непонимание*! И все, наверно, оттого, что у него не ладилось руководство боем, видно, боялся, что "достанется" ему за это от командования.

Помню, мы оформляли два музея: музей И. Павлова и музей Тимирязева, который, кстати сказать, находится на Малой Грузинской улице, недалеко от костела.

Расскажу об одном ярком событии.

В мастерской работало несколько картонажников. Там я впервые познакомился с этой профессией, раньше даже не знал, что такая есть. Острыми ножами разной формы, различными металлическими линейками и прочими приспособлениями мастера вырезали из плотного картона утонченнейшие рамки для картин или фотографий, украшенные по углам объемными орнаментами. Едва ли сейчас существует такая профессия: видимо, мастера были *дореволюционные*. Не забудем, что это происходило в 1950 году, и, если какому-то мастеру было, скажем, 55 лет (а похоже, что так), значит, родился он в1895 году.

Так вот, однажды за работой мы слушали по радио (на стене висел черный картонный круг репродуктора) последние известия. Как всегда сообщалось, что труженики такого-то колхоза рады доложить дорогому товарищу Сталину о досрочном выполнении плана поставок таких-то продуктов, что только благодаря заботам партии, правительства и лично тов. Сталина труженики села... – и т. д. и т. п. Одна за другой следовали верноподданнические формулировки, обычные для того времени. Старший из картонажников (я сразу его выделил: серьезный, молчаливый, хороший мастер) повернул го-

лову к репродуктору, прислушался, потом взял со стола какую-то большую деревянную чурку и с силой бросил в репродуктор. Продырявленная черная тарелка свалилась и замолкла. Мастер (жаль, не помню имени), потрясая кулаками, с огромной болью в голосе почти крикнул: “Это мое село!!!.. Там мать моя страдает!!!” Уткнулся лбом в стол и зарыдал. Мы остолбенели. Молчим. Один из художников — выпускник Суриковского института, высокий молодой человек лет тридцати (опять не помню, как звали), секретарь одной из партячеек Худфонда — подошел к мастеру, похлопал его по плечу и говорит, обращаясь к нему по имени-отчеству: “Ничего — репродуктор починим, и дело с концом. Работайте спокойно”. Этот *парторг* за укрывательство такого поступка (да еще совершенного в присутствии многих людей) мог лишиться партбилета и *загреметь в лагерь* на многие годы. Значит, он не только был хорошим человеком, но и полностью доверял всем присутствующим.

Заработав деньги, я ходил в кино, слушал музыку в концертных залах или дома на проигрывателе (нужные пластинки я с великим рвением искал по всей Москве), читал необходимые мне книги в библиотеках — делал выписки в специально заведенную для этого толстую тетрадь; разучивал новые пьесы на мандолине и на гитаре, писал натюрморты или пейзажи, реже портреты (в том числе автопортреты), ходил по музеям. Очень любил я, вглядываясь в памятники древности разных народов, проникать в их жизнь, в их дух; постепенно это превратилось в потребность, в своеобразную “наркоманию”. Наступали иногда, почему-то, дни растерянности, безделья, пустоты и вдруг — вот оно! — египетские залы в Музее имени Пушкина! — и я мчался туда, как пьяница в винный магазин. Проведя там часа полтора или два, я оживал, загорался, становился годным и готовым к делу.

Из самых приятных времяпрепровождений больше всего я любил вот что: беру билет на электричку километров на тридцать-сорок от Москвы, сижу, вглядываюсь в проплывающие пейзажи Подмосковья. Увижу особо красивую местность, сойду на очередной остановке, иду туда — к бугристым полям среди лесов, к речке, окаймленной ивами... Я всегда брал с собой этюдник с масляными красками, книжку, которую изучал (чаще всего по философии), тетрадь для записей и, конечно, вкусную пищу и питье — вареного цыпленка, помидоры (вкуснейшие тогда были помидоры, сейчас таких нет), сыр, полулитра минеральной воды и бутылку “Мукузани” или “Саперави”. Брал с собой и блок-флейту. И вот, написав один-два этюда, я углублялся в лес или ходил вдоль опушки, выискивая

подходящее дерево, повыше других — обычно это был дуб, растущий скорее вверх, чем вширь, или липа, или береза, или раскидистая сосна на опушке леса, — залазил как можно выше (лишь бы ветки держали меня, не ломались) — и устраивался там, *как дома.*

Чтобы добраться до первых ветвей, я искал большую упавшую ветвь, обрубал боковые ветки (маленький топорик я всегда брал с собой), оставляя небольшие сучки, чтобы потом за них хвататься, а в верхней части оставлял довольно большую развилку. Затем заострял толстый конец ветви, вонзал его в землю на нужном расстоянии от моего дерева, а развилку прилаживал к стволу, так чтобы ветвь не падала. Получалась *одноствольная лестница* метра три-четыре в длину. Затем, спрятав этюдник в густом кустарнике (мало ли что!), надеваю рюкзачок со всем необходимым и лезу по этой лестнице до первой ветви дерева, а там уже дело не особо трудное, да и занимательное, спортивное, если только руки сильные — а уж у каменотесов-то руки не слабые. Конечно, есть тут свои трудности, но выход из положения всегда можно найти.

Добравшись до вершины, прежде всего нахожу самое удобное место и устраиваю сиденье. Это обычная разделочная доска средних размеров (не маленькая), по узким ее краям два полукруглых выреза: один пошире, чтобы обхватить более толстую ветку, другой поуже. Крепко, враспор, вставляю ее между двумя растущими вверх ветками, и получается хорошее сиденье; или же прикрепляю доску веревкой к развилке горизонтальной ветки, тоже получается хорошо. Выбирая место, я учитывал всё: чтобы рядом можно было закрепить рюкзак; чтобы ноги не болтались, а упирались в нижние ветки; чтобы можно было опираться руками или спиной на ствол дерева или соседние ветки... Ведь я "жил" на дереве часа три или больше.

Первым делом вкусно, как следует, поем, попью вина. После этого читаю (иногда вслух) стихи, подходящие к случаю.

Затем играю на флейте, чаще народные испанские мелодии — кастильские, астурийские... Думаю: "Что чувствуют при таком звуковом вторжении птицы?" Затем читаю интересную для меня книжку, например "Опыты" Мишеля Монтеня или какое-нибудь *дореволюционное* (как тогда говорили) "Введение в философию", купленное в букинистическом магазине или взятое у приятеля; размышляю и записываю свои идеи (иногда с восторгом — ибо *гениально*, хотя потом, спустя годы, с улыбкой вымарывал именно этот "гениальный" абзац). Для отдыха, для разнообразия, *путешествовую* по веткам дерева, рассматриваю далекую округу, нахожу другие, удобные для си-

денья места: ведь если очень понравится, я снова сюда приеду, опять устроюсь, но иначе, на том же дереве; затем снова читаю, снова играю на флейте и, наконец, допиваю вино, закусив сыром, маслинами или фруктами; слезаю с дерева — это уже проще, ибо пустую бутылку, рюкзак с топориком, доской и веревками можно, прицелившись между ветвями, сбросить вниз.

Такое времяпрепровождение, такая жизнь была для меня (при моем характере, конечно) самой приятной, самой счастливой, ни с чем не сравнимой: одиночество среди благородной природы под голубым небом, тишина — слышится только пение птиц да шелест листвы, — любимые занятия, чистое мышление — *высшая свобода.* Поэтому я, много позже, сразу понял и оценил слова Андрея Платонова: "Наедине с собой — как вдвоем, вчетвером: и собеседование, и дружба, и безнаказанно, и интересно".

Как-то гуляя в одиночестве во дворе нашего дома, заросшего деревьями и кустами, гляжу я на главную улицу и вижу: идет мимо молодая цыганка с младенцем на руках. Она почувствовала мой взгляд, оглянулась, остановилась и затем уверенно пошла ко мне. Подошла и предлагает погадать. Я не любил (да и сейчас не люблю) это дело, отказываюсь и отхожу в сторону. Она настаивает, я взглянул на нее внимательнее: вижу, красивая женщина с приятными лучистыми глазами и ребеночек милый (ему, видать, около года), смотрит на меня вполне осмысленно и улыбается. Я незадолго до этого получил за что-то деньги и мне дали целую банковскую упаковку одних пятерок, значит сто штук. Я держал их в кармане пиджака, без бумажника — было приятно вынимать эти бесконечные пятерки, считать их вслепую — пальцами, и покупать, что нужно. Так вот, я нащупал несколько бумажек, вынул и дал ей:

— Нате для вашего ребеночка, — повернулся и пошел прочь. Цыганка кричит мне вдогонку:

— Ты пришел из-за моря... Папа и мама недолго кормили тебя... Не тревожься о будущем, живи смело — все будет хорошо, счастливо. Две женщины сейчас в твоем сердце — черная и блондинка... Выбери черную, другая тебе не годится... А проживешь ты на свете восемьдесят два года.

Повернулась и удалилась быстрыми шагами.

При первых ее словах я обернулся — она стоит, вытянув ко мне руку, как бы приказывая стоять на месте, и глядит на меня пронзительным взором. Я был ошеломлен, сел на скамейку между кустами и стал думать о том, что произошло... Что это?!

Каким бы оно ни было, это предсказание вошло в коллекцию чудес, случившихся со мною. Некоторые чудеса совершенно не поддаются разумению. Об одном из них я расскажу тут же, поскольку это случилось примерно в те же годы.

Однажды я шел со своим этюдником один по летнему полю "во время солнечного сияния" (слова А. Платонова), присел отдохнуть, посмотрел на небо и вдруг... увидел — необъяснимым образом, вроде бы отсутствующим у нас "зрением" — бесчисленное количество вещей (назовем это так). Именно *бесчисленное*, в самом прямом смысле этого слова, то есть как будто бы вижу разом все вещи, какие только возможны, какие были, есть и будут в вечности. Разумеется, я не мог сосредоточить внимание на каждой вещи, но было такое чувство, такое понимание, как будто тогда я осознал, как устроены вообще все вещи, и мог бы любую видеть насквозь, зная, *как она устроена в Универсуме*. Причем они существовали не отдельно, а *взаимопроникали*, переплетались, сливаясь в *Одно*, охватываемое моим "виденьем". Это *Одно* не было чем-то безграничным, необъятным (поскольку я видел его все целиком) — скорее это была некая *всёвмещающая Точка*, но и это не совсем верно.

То особое состояние длилось (как мне потом говорили знатоки эзотерики, которым известно это явление) две-три секунды, хотя мне казалось, что дольше — примерно минуту. Они и это подтвердили: "Так обычно и кажется". И опять я задумался, пытался что-то понять, объяснить, даже вынул из сумки тетрадь и стал писать: "*Всё* — это..." Но сколько ни напрягал память и мысль, ничего не получалось. Такого рода случаи — "опыт" — научили меня внимательно и серьезно относиться к разного рода мистическим учениям, а в дальнейшем привели к мысли о том, что мы, люди, образно выражаясь, — очень высоко развитые тараканы.

Прерафаэлиты: мозаика жанров

Переводы с английского

Летом нынешнего года в Пушкинском музее откроется выставка художников-прерафаэлитов — большая и долгожданная. В ближайшее время выйдет книга "Поэтический мир прерафаэлитов", составленная по итогам переводческого семинара, который вели Г. М. Кружков и я. В книге акцент сделан на поэзии и живописи, "перекрестно" иллюстрирующих друг друга; там представлен более широкий круг авторов, включающий и тех, от кого вдохновлялись поэты-прерафаэлиты, и тех, кого вдохновили они.

Здесь же, на страницах журнала, представлены лишь несколько имен — и практически все "словесные" жанры, в которых пробовали себя многоликие "братья-прерафаэлиты". Воспоминания, критика, полемика, эссе, стихи и проза — всего понемножку. Подборка получилась пестрая, зато не нуждающаяся в дополнительных разъяснениях: читатель все узнает из первых рук. От Уильяма Майкла Россетти (младшего брата Данте Габриэля) — о том, как сложилась эта компания "викторианских авангардистов", от художника Уильяма Холмана Ханта — о том, как мореплаватель Колумб и поэт Браунинг оказались рядом в "Списке бессмертных" и при чем тут Рафаэль и другие "возрожденцы". Уильям Моррис, поэт, прозаик (основатель жанра фэнтези), публицист, певец ремесел и ручного труда, график, дизайнер, гравер и кто только не! — расскажет, как он пришел к социализму, еще не слышав о Марксе, но видя, что "красота покидает мир"... А убийственные (и, надо признать, уморительно смешные) нападки Чарльза Диккенса попытается отразить взявший юных иконоборцев под крыло поэт и критик Джон Рёскин.

Возможно, эти фрагменты мозаики и не сложатся для вас в целостную картину — но хотя бы позволят ощутить колорит эпохи. И на миг позавидовать Ханту и Миллесу, склонившимся над гравюрами с фресок Кампо-Санто (фресок, которым суждено погибнуть во Вторую мировую) и не спеша обсуждающим "их прихотливое, затейливое очарование".

Марина Бородицкая

© Марина Бородицкая, 2013
Данная публикация осуществлена при поддержке Британского совета. Стихи Данте Габриэля Россетти и Уильяма Морриса, напечатанные в номере, войдут в сборник "Поэтический мир прерафаэлитов" (издательство "Центр книги Рудомино", совместный проект Британского совета и Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино).

Уильям Майкл Россетти

Братство прерафаэлитов

Эссе

Перевод Марии Фаликман

В 1848 году среди студентов и недавних выпускников Королевской академии художеств были четыре молодых человека – Уильям Холман Хант, Джон Эверетт Миллес, Данте Габриэль Россетти и Томас Вулнер. Первые трое были художниками, четвертый – скульптором. В январе 1848 года Ханту было 20 лет, Миллесу – 18, Россетти – 19, Вулнеру – 22. Миллес с ранних лет слыл необычайно одаренным учеником, не раз выходил победителем всяческих конкурсов и уже успел выставить две или три картины, не по возрасту профессиональные, однако же лишенные отчетливых признаков самобытности и глубины. Хант тоже выставлялся и, хотя уступал Миллесу в выразительности, был основательнее и упорнее. Россетти не выставлялся и не был особо выдающимся студентом, однако среди своих однокашников слыл гением и самородком. Вулнер считался многообещающим скульптором и тоже успел представить публике несколько работ.

Сойдясь и обменявшись мнениями, эти четверо молодых людей обнаружили, что в целом ряде случаев им не только нравится одно и то же, но и решительно не нравится одно и то же, и постановили, что все вместе и каждый по отдельности попытаются выработать принципы, которые кажутся им

© Мария Фаликман. Перевод, 2013

здравыми, и, руководствуясь этими принципами, реформировать живопись и скульптуру тогдашней Англии. Среди того, что всем им безусловно нравилось, была убедительная простота раннеитальянского искусства, царивший в нем дух благоговения и благочестия, отсутствие уловок и жестких канонов, но тут следовало бы пояснить, что речь шла о тех канонах, которые с непререкаемой педантичностью насаждались во всех академиях художеств; наконец, прилежное внимание к деталям, свежий и легкий привкус личной пристрастности, лишенный даже намека на стремление блеснуть своим мастерством. А с другой стороны, среди того, что они на дух не переносили, были слабость и невнятность методов современного искусства, его деланые непринужденность и самодостаточность, соскальзывающие в поверхностность и претенциозность; бедность идей, скрывающая за собой невежество: ни глубины чувства, ни богатства воображения, ни изобразительной точности; жеманная бесхребетность и дряблое умничанье; безразличие к логике сюжета и неточность деталей. Мешая энтузиазм с иконоборчеством, эти молодые художники взяли за образец средневековых художников дорафаэлевой эпохи и, когда сложились и окрепли их предпочтения и созрел общий план, назвали себя Братством прерафаэлитов. На протяжении первого года-двух они подписывали свои работы буквами “P. R. B.”, что означало брат-прерафаэлит. Полагаю, моему читателю нет нужды объяснять, что за их чувствами и деяниями стояло не только некоторое мальчишество, но и вполне серьезный умысел.

Трудно сказать, кого из четверых перечисленных мною молодых людей можно было бы по праву назвать основателем движения прерафаэлитов. Пожалуй, Хант и Вулнер чаще других негодовали и выражали презрение к недостаткам и уловкам современного им массового искусства; именно они привнесли в движение этот привкус желчности и враждебности. Кроме того, оба были крайне умны, энергичны, работоспособны и страстно стремились добиться наглядного, ощутимого успеха в том, что они делали. Россетти с самого начала был поэтом ничуть не в меньшей мере, чем живописцем; лишь он один из четверых к тому времени был в достаточной степени начитан, что сочеталось в нем с самобытным, идеалистическим, или (как сказали бы некоторые) романтическим, складом ума и увлечением рыцарским средневековьем. Он был главный зачинщик, порождал новые, неожиданные идеи, придумывал всем должности и звания, измышлял разнообразные затеи интеллектуального свойства. Миллес был художник во всем, он не питал столь выраженной внутренней тяги

к решительным преобразованиям в работе живописца, как Хант и Вулнер, и был лишен широты кругозора и богатства воображения Россетти. Но, разделяя убеждения трех своих собратьев, он "ринулся вперед", и его одухотворенная целеустремленность в сочетании с превосходной техникой вскоре сделала Миллеса в глазах публики первым среди живописцев, способным помериться силами с самыми признанными мастерами.

Кроме этих четырех художников, к Братству прерафаэлитов примкнули еще три молодых человека: двое были художниками, третий же художником не был, однако вскоре его ждала судьба художественного критика — это Джеймс Коллинсон, Фредерик Джордж Стивенс и автор этих строк Уильям Майкл Россетти. Таким образом, братьев-прерафаэлитов было семеро, и никогда не состояло в Братстве каких-либо иных членов, кроме этих семерых.

По-видимому, сама идея Братства прерафаэлитов окончательно оформилась вскоре после открытия выставки в Академии 1848 года и постепенно стала обретать завершенность; пять живописцев, вошедших в Братство, приступили к созданию картин для выставочного сезона 1849 года. В тот год Хант, Миллес и Коллинсон выставлялись в Королевской академии художеств, а Россетти — на так называемой "Открытой выставке", впоследствии названной Национальным институтом, или Портленд-галереей, но давно уже прекратившей свое существование. Стивенс подготовил к этому сезону или к сезону 1850 года вдохновленное поэмой Теннисона полотно "Король Артур и сэр Бедивер", но выставлено оно не было. Хант выставил картину "Риенци клянется отомстить над телом брата", Миллес — сцену из "Изабеллы" Китса, Коллинсон — картину "Итальянская сценка: мальчики", Россетти — "Детство Девы Марии". Работу Коллинсона я толком не помню. Три остальные, несомненно, заслуживали внимания. Они заметно выделялись на общем фоне и удостаивались поощрительных комментариев, как у обычных посетителей выставки, так и у критиков; о картине Россетти, выставленной в более скромном месте, говорили меньше, чем о двух остальных. В тот год (1849) о картинах судили исключительно на основании их достоинств. Критики еще не подозревали о появлении нового движения с его опасным и подозрительным инакомыслием, еще не знали, что эти картины — лишь его внешнее, наглядное проявление; и поэтому, сочтя эти работы самобытными, изысканными, талантливыми и прилежно написанными — каковыми они, вне всякого сомнения, и были, критики нисколько не пытались отрицать

или замалчивать факт их появления. Исповедуя принцип точного и продуманного воплощения, все три художника с величайшей серьезностью прорабатывали как замысел, так и отдельные детали изображения; во всем остальном, однако, их произведения ничем не походили друг на друга, и каждое отражало индивидуальные способности и личный арсенал автора. Картина Миллеса была наиболее страстной, выразительной и совершенной; картина Ханта — наиболее торжественной и драматичной, необыкновенно проработанной, хотя и не вполне убедительной в трактовке темы; картина Россетти относилась к более возвышенным, темным и герметичным сферам вымысла. У прерафаэлитов были все основания для удовлетворенности своим первым совместным публичным выступлением.

В 1850 году безмятежный рассвет прерафаэлизма заволокли тучи. Признанные живописцы и критики-традиционалисты к тому времени уже поняли, что у молодых художников были свои собственные решительные намерения и согласованный план действий. Помнится, не кто иной, как Энгус Рич, довольно популярный в то время автор, мастер легкого жанра, впервые написал в прессе, в "Иллюстрейтед Лондон ньюс", о значении букв "P. R. B.", об устремлениях молодых людей, составлявших Братство, не преминув пересказать и несколько сплетен из их жизни. В тот год Миллес выставил в Академии художеств картину "Святое семейство", которая сейчас носит название "Плотницкая мастерская"; Хант представил полотно "Древние бритты, укрывающие миссионера от друидов"; Коллинсон — "Ответ на письмо эмигранта". Россетти выставил в Портленд-галерее "Благовещение". Критические отзывы на последнюю картину, насколько я помню, были сдержанными: отчасти благосклонными, отчасти отрицательными. Работа Коллинсона прошла, по сути, незамеченной. Но Ханту и особенно Миллесу довелось сполна испить излившегося на них необычайно ядовитого гнева критиков-традиционалистов, а среди художников и знатоков искусства поднялся такой шум, какой редко возникает в этой относительно спокойной, но всегда готовой вспыхнуть среде. То же самое, но еще резче и оскорбительнее, повторилось и год спустя (в 1851 году), когда Миллес и Хант направили в Академию соответственно "Мариану в усадьбе, окруженной рвом" и "Валентина, спасающего Сильвию от Протея", а Коллинсон выставил в Портленд-галерее "Отречение Елизаветы Венгерской". Россетти в тот год не представил живописных полотен и с этого времени практически перестал выставляться. Попреки и обвинения достигли такого

накала, что насущную необходимость вмешаться ощутил Рёскин — с его стороны это был совершенно добровольный поступок, не обусловленный личной приязнью к художникам, никто из которых, сдается мне, к этому времени ничего о нем не слышал и не читал его статей. Рёскин написал письмо в "Таймс", за которым последовала статья "Художники-прерафаэлиты". Натиск удалось несколько ослабить. Враждебно настроенные критики и художники поняли, что гнуть свою линию им не дадут, и, когда на следующий год (1852) Миллес выставил "Гугенота", ситуация резко изменилась: не принадлежавшие ни к каким группировкам зрители выражали искреннее восхищение, в прессе вновь наметилось расхождение во мнениях, а что касается отрицательно настроенных критиков, они уже не позволяли себе столь несдержанных выражений.

Уильям Холман Хант

Прерафаэлитизм и Братство прерафаэлитов

Фрагменты книги

Перевод Светланы Лихачевой

КОГДА в искусстве достигнута гладкая наработанность, дух застоя подчиняет себе мастеров, и они начинают воспринимать искусство с отупляющей удовлетворенностью лотофагов; в их глазах оно обрело совершенство, отныне они живут в мире незыблемых законов. Под этим тлетворным воздействием ни у кого из молодых нет и тени надежды преобразить свое искусство в живую стихию, разве что юноша критически оценит догматы старших и дерзнет взбунтоваться против их авторитета. Зададимся вопросом: не в таком ли мы ныне положении? <...> Сэр Джошуа Рейнольдс[1] счел целесообразным взять отправной точкой для английского искусства итальянскую школу в момент ее наивысшего расцвета; сам он уже терпеливо прошел обучение, благодаря которому пылко полюбил человеческую природу; он собрал бессчетные сокровища, но ему так не терпелось растратить

© Светлана Лихачева. Перевод, 2013

1. Сэр Джошуа Рейнольдс (1723–1792) – английский художник, мастер исторической и портретной живописи, теоретик искусства, первый президент Королевской академии художеств. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

свое богатство, что те части картины, которые не давали простора для его щедрости, мало его занимали.

<...>

Лекции сэра Джошуа как нельзя лучше подходили для того, чтобы сподвигнуть молодых к глубокому и благоговейному изучению произведений прошлых веков. <...> В ту пору Рейнольдс еще не дошел до противоположной крайности, консерватизма, при котором едва ли возможно здравое изучение природы. Однако выясняется, что последние пятьдесят лет его учение трактовали как поощрение неоригинальности и отказ от изысканной тонкости в изображении природы, которой обязаны своим величием предшествующие школы. Английская школа возникла на гребне волны и с тех самых пор неуклонно соскальзывает вниз. Независимый гений первого Президента не получилось передать по наследству, зато передавались установленные им жесткие правила. <...>

Что ж, никто из нас не обладает вкусом настолько изощренным, чтобы оценить ныне модную систему; нельзя не почувствовать, что она ведет к нестерпимой манерности и однообразию, которые вскоре пресыщают чувства и становятся невыносимы. Со времен египтян все великие художники строили свои представления о красоте на избирательности, а не на искажении Природы, говорил я. Те английские художники, которым представилась такая возможность, стяжали славу для нашей нации, в какой-то момент решительно разорвав путы признанных авторитетов. <...> В своем несравненном мастерстве Тернер не имеет предшественников, этого своеобразного очарования не найти ни у Клода[1], ни у любого другого основоположника пейзажной живописи. Флаксман и Стотард[2] достигают наибольших высот в тех своих произведениях, где непосредственное восприятие Природы одерживает верх над рабской приверженностью образцам; то же можно сказать и о лучших художниках наших дней. Если молодой художник не знаком с методами своих предшественников — это вопиющее невежество, если же сознательно отвергает каноны, заданные великими мужами, — это самонадеянная дерзость, грозящая провалом; благодаря практическим занятиям мы с вами знаем о великих творениях античности и о заложенных в них принци-

1. Клод Лоррен (1600—1682) — французский живописец и гравер, мастер пейзажной живописи.
2. Джон Флаксман (1755—1826) — английский художник, гравер и скульптор, ведущий представитель британского и европейского неоклассицизма. Томас Стотард (1755—1834) — английский живописец, иллюстратор и гравер.

пах не меньше, чем нужно любому студенту. Так ступим же на дерзновенный путь; все равно кому-то вскоре придется это сделать, так почему бы не начать вместе? Мы пойдем с оглядкой, не вовсе отказавшись от учения наших отцов; нам всего лишь нужна Природа во всей своей полноте. Пытаться в наши дни возродить классическую античность или средневековье — все равно что выкапывать иссохшие кости. Прочти, мой друг, речь Океана в "Гиперионе" Китса — и увидишь, что на путях мироздания течение жизни устремлено вперед и обращается вспять только под чужим разлагающим влиянием. Лишь к неизбежному упадку приводит рабское подражание прошлому, при всем великолепии оригинала; скульпторы мечтают, чтобы их работы назывались "чисто греческими", а художники жаждут писать "перуджиновские", "тициановские" или "рембрандтовские" картины — по мне, это какое-то извращенное честолюбие. Каждая эпоха привносит в мир новое знание; художники прошлого задумывали и создавали свои творения в расчете на понимание современников; так и нам должно трудиться, ориентируясь на опыт наших дней. <...>

Красота, к которой мы стремимся ныне, является точной противоположностью красоте великого искусства: в стародавние времена было принято бороться с болезненными представлениями о красоте; современная же тенденция вовсе лишена и здоровья, и силы характера, как физических, так и духовных. Она призвана удовлетворить предрассудки модистки: кое-кто изображает дам с талиями, которые через два поколения обрекли бы род человеческий на вымирание, а мужчины выглядят такими восковыми щеголями, что дикари очень скоро швырнули бы нацию с подобной аристократией в плавильный котел. Задача искусства — не поощрять эту сентиментальную культуру, ибо истинное изящество рисунка, равно как и поэтического слова, состоит в том, чтобы пробудить тягу к здоровому и героическому; и уж конечно, не должно ему вести своих почитателей к поклонению отжившим идеалам, обряжая томную слезливость в яркие перья. Недавно я имел большое удовольствие пролистать книгу под названием "Современные художники", автор которой именует себя Оксфордским выпускником[1]; ее мне дали лишь на несколько часов, но, клянусь Юпитером, от отдельных пассажей у меня просто сердце зами-

1. Имеется в виду Джон Рёскин (1819–1900), который в книге "Современные художники" говорит о превосходстве современных пейзажистов над старыми мастерами и, в частности, защищает Тернера от нападок критики. Первый том был опубликован анонимно в 1843 г., вместо имени автора значилось "Выпускник Оксфорда".

рало. Этот сочинитель чувствует силу искусства и стоящую перед ним ответственность, как никто другой. Он описывает картины Венецианской школы так, что ты видишь их внутренним взором и понимаешь: создавшие их художники избраны самим Господом, как ветхозаветные пророки, нести священную весть, и глагол их был подобен глаголу древнего Илии. Они, по-видимому, обладали достаточным могуществом, чтобы ниспровергнуть любого идола той эпохи. <...>

Вскоре состоялась встреча у Миллеса. Нам было чем заняться. Для начала, у нас была подборка набросков Йозефа фон Фюриха, в манере Рецша[1], но с заметно бóльшим размахом. Беда немецких художников в том, что со времен Винкельмана[2] ученые мужи создавали теории и выстраивали системы, четкие как приказы, для будущих честолюбивых живописцев. В результате мы имеем искусство утонченно интеллектуальное по замыслу, но лишенное индивидуального чутья и зачастую обескровленное и мертвое; однако многие книжные иллюстраторы все же дерзали в какой-то мере следовать собственным фантазиям и избежали этого калечащего ярма. Иллюстрации Фюриха, как мы обнаружили, обладали замечательными достоинствами. В придачу к этим современным рисункам, у Миллеса нашлась книга гравюр с фресок Кампо-Санто в Пизе[3], которую ему как раз кто-то одолжил. Мало кто из нас видел полную подборку этих знаменитых композиций.

<...>

Рассматривая гравюру за гравюрой, мы осознали, что эскизы Кампо-Санто примечательны случайными деталями — как следствие внимательного наблюдения за неисчерпаемой в своем многообразии Природой, — и долго обсуждали их затейливое, прихотливое очарование. Мы отдали должное по-чосеровски мягкому юмору Беноццо Гоццоли[4], благодаря

1. Йозеф фон Фюрих (1800—1876) — австрийский живописец, один из назарейцев; писал картины на библейские сюжеты. Мориц Рецш (1779—1857) — немецкий живописец и гравер. Известен иллюстрациями к балладам Ф. Шиллера, к "Фаусту" И. Гёте и к произведениям У. Шекспира.
2. Иоганн Иоахим Винкельман (1717—1768) — немецкий искусствовед, основоположник современных представлений об античном искусстве и науки археологии; первым сформулировал различие между греческим, греко-римским и римским искусством.
3. Монументальное кладбище Кампо-Санто находится в северной части Пьяцца-деи-Мираколи в Пизе. Было построено к 1464 г. Стены кладбища прежде были покрыты фресками, созданными с XIV по XVII вв., работы Беноццо Гоццоли, Пьеро ди Пуччо и др., и уничтоженными во время бомбардировки города в 1944 г.
4. Беноццо Гоццоли (1420—1497) — итальянский художник, автор многочисленных циклов фресок. В период 1465—1485 гг. создал серию из 25 фресок в Кампо-Санто.

которому общий пафос сюжета мог вызвать в сердцах еще больший отклик; этот английский дух мы взяли за образец. Однако мы от души посмеялись и над незрелой перспективой, и над неразвитой техникой рисунка, и над слабостью светотени, и над непониманием различий между расами, которые отнюдь не сводятся к цвету кожи, и над скупыми образчиками флоры, и над геометрическими формами в пейзаже. Эту примитивность, устаревшую еще при жизни художника, мы отметили как пережиток прошлого, достояние мертвых "возрожденцев", с которыми мы решили не иметь ничего общего. То, что Миллес разделяет это убеждение, было понятно по его последним эскизам и по той искренней горячности, с какой он всегда говорил о своих будущих планах, а ныне явствует из всех написанных им работ. Тогдашние настроения Россетти подтверждаются не столько картиной, над которой он трудился (полотно создавалось по более раннему наброску, в те годы автор, по его собственному признанию, был увлечен раннехристианской доктриной), но словами, прозвучавшими в разговорах и увековеченными затем, примерно год спустя, в небольшом проспекте для "Ростка" (2-й выпуск): в нем утверждалось, что современному искусству недостает лишь одной составляющей — Природы. Работа уже проделанная, в том числе пейзаж на моей картине "Риенци" и все мои предшествующие шаги в новом направлении, свидетельствовала о моей правоте. Тем самым подтверждается, что весь наш круг знал: истинная наша цель — глубокая приверженность учению Природы. Однако с тех самых пор высокоученые комментаторы уверяют, будто на самом деле мы желаем быть возрожденцами, а не освоителями новых территорий. <...>

<...> Прерафаэлитизм — это не прерафаэлизм. Рафаэль в расцвете сил был художником самым что ни на есть независимым и дерзким в своем отношении к условностям. Да, он заимствовал свой принцип из сокровищницы мудрости, накопленной за долгие годы благодаря трудам, экспериментам, отрицанию заезженных мыслей и настойчивым усилиям многих художников, его непосредственных предшественников и современников. На что у Перуджино, Фра Бартоломео[1], Леонардо да Винчи и Микеланджело ушло больше лет, нежели Рафаэль прожил, он схватывал за день, да что там — один-единст-

1. Пьетро Перуджино (дословно "Перуджийский", наст. имя Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи; ок. 1446/1450–1523) — итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель умбрийской школы. Самым известным его учеником был Рафаэль. Фра Бартоломео (1472–1517) — итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы.

венный раз окинув взором достижения предшествующих мастеров. Подобная жадность искупалась тем, что он охотно признавал, кому и чем обязан, на изъявления благодарности не скупился — и захваченные ценности использовал в своей работе благоговейно и мудро. Он унаследовал свои приобретения, словно принц, и, как принц Хэл[1], отстоял свой трофей у всех претендентов; его заимствования — это царственная власть, дарующая независимость. Он не крал приемов и секретов мастерства — он усваивал уроки, с гордостью преподанные его учителями, и от этого ученичества искусство не понесло урона. А приобрел он, помимо свободы, умение пользоваться этой свободой, как его наставники, способность показать, что человеческая фигура обладает более благородными пропорциями, что у нее гораздо лучшая динамика, нежели представляется на первый взгляд, и что в крупных произведениях выразительность зависит главным образом от движения тела. Далее, он негласно продемонстрировал, что никакие незыблемые правила композиции не должны препятствовать художнику группировать элементы, сообразуясь с сюжетом. Однако и в самом деле можно задаться вопросом: неужели, после того как Рафаэль впервые узрел свод Сикстинской капеллы, он за двенадцать славных лет ни разу не споткнулся и не упал, словно горячий скакун, привязанный на пышнотравном пастбище, который и знать не знает, что не свободен? <...> Выявлять неудачи в карьере Рафаэля в нашем случае нет нужды, но из-за многочисленности заказов и необходимости обучать многих помощников он был вынужден сформулировать правила и методы работы, а его последователи еще при его жизни преобразили рафаэлевские позы в застывшие композиции. Они шаржировали типичные для художника повороты головы и контуры рук и ног, пользуясь единым шаблоном; они расставляли группы людей пирамидами и размещали их на переднем плане, словно фигуры на шахматной доске. Да и самому мастеру, наконец, случалось порождать такого рода условные изображения. И уж кто бы тут ни нарушал законов, но художники, которые вот так рабски искажали манеру короля живописцев в пору его расцвета, были "рафаэлиты". И хотя отдельные редкие гении с тех пор отваживались разбить кандалы, откованные в пору заката Рафаэля, я дерзну повторить здесь то, что мы говорили в пору нашей юности: традиции, которые сохранились благодаря Болонской академии, которые легли в осно-

1. Принц Хэл — персонаж хроники У. Шекспира "Генрих IV", будущий король Генрих V.

ву всех последующих школ и проводились в жизнь Лебреном, Дюфренуа, Рафаэлем Менгсом[1] и сэром Джошуа Рейнольдсом, для нашего времени пагубны и душат творческий замысел. Название "прерафаэлиты" отрицает влияние подобных извратителей (пусть даже сам Рафаэль, учитывая некоторые его работы, окажется в том же списке) — но признает воздействие более искренних предшественников мастера. <...>

Россетти стоит перед моим мысленным взором таким, каким казался при ежедневном общении с ним в наиболее восприимчивом возрасте. Вообразите себе молодого человека южных кровей и внешности, примерно пяти футов семи дюймов роста, с длинными каштановыми волосами до плеч, он не считает нужным держаться прямо, но беспечно идет себе вразвалочку, ссутулившись, полуоткрытые губы дуются, мечтательные глаза что-то высматривают. <...> Плечи — не квадратные, и форму их едва ли назовешь мужественной. Своеобразие его походки объяснялось необыкновенной шириной бедер. В целом, то был юноша тонкий в кости, с изящными кистями и ступнями, и, хотя в нем не ощущалось ни слабости, ни хрупкости, физическим упражнениям он внимания явно не уделял. Одевался он небрежно, в черное, по-вечернему, что в ту пору среди людей свободной профессии было не редкостью. Он был настолько безразличен к общественным требованиям, что по несколько дней кряду не стряхивал с одежды засохшие брызги грязи. Коричневое пальто, размашистая походка, шумные восклицания; лишь пристальный взгляд распознал бы в душе этого юного бунтаря утонченность и нежность; но стоило подойти и обратиться к нему — и, как ни удивительно, нелестное впечатление мгновенно развеивалось, — художник изъяснялся богатым, правильным языком, оказывался учтив, мягок, обаятелен, щедр на комплименты, проявлял неподдельный интерес к занятиям других, охотно рассказывал о своих собственных и во всех отношениях, насколько можно судить со стороны, представал хорошо воспитанным джентльменом. Больше всего он восхищался поэмами, которые мир не оценил по достоинству. Он декламировал по памяти "Сорделло" и "Парацельса"[2] по двадцать страниц за раз,

1. Шарль-Альфонс Дюфренуа (1611–1668) — французский живописец, автор теоретического труда об искусстве живописи, латинской поэмы "De arte graphica". Антон Рафаэль Менгс (1728–1779) — немецкий художник, предвестник неоклассицизма.
2. "Сорделло" — поэма Р. Браунинга, написанная белым стихом, о жизни легендарного трубадура из Мантуи; была опубликована в 1840 г. и успеха не имела. "Парацельс" — монодрама Роберта Браунинга о жизни ученого и алхимика XVI в., изданная в 1835 г.

затем наступал черед небольших произведений Браунинга, более доступных для восприятия. <...> За ними обычно следовали проникновенные отрывки из "Розабели" У. Б. Скотта (я всегда думал, что именно благодаря ей Россетти заинтересовался проблемой, которая легла в основу сюжета его собственной картины "Найденная")[1]. Поэма Патмора "Дочь дровосека" неожиданно заинтересовала нас всех, жадных до новых поэтических произведений. Теннисоновское:

> И ты бы мог поэтом слыть
> (Какой бы ни был в этом прок)...[2]

вышло именно в те годы, и нигде эти исполненные презрения строки не отзывались столь звучным эхом, как у нашего очага. Следом наступал черед "Ворона" По, его "Улялюм" и прочих изысканных стихов скорбного певца, с их бессчетными вариациями певучего накала страстей; все они представляли немалый интерес как поэтические модели, но, надо отметить, по тону почти все они были грустны или даже трагичны. <...>

Габриэль не питал врожденной склонности к занятию естественными науками; равным образом он никогда не выказывал ни малейшего интереса к отдаленным этапам развития искусства или к низшим ступеням человеческого прогресса. Вопросы такого рода он почитал совершенно чуждыми поэзии. Язык, используемый в ранние эпохи для описания явлений природы, он принимал как сакральные и самодостаточные формулы. Современные научные открытия не обладали для него никакой притягательностью; иные условия жизни людей, на которых обращено было воздействие искусства, не заслуживали рассмотрения; люди, если они отличались от образованных людей Средневековья, не обладали в его глазах "поэтичностью"; они не имели никакого права быть непохожими на современников Данте.

Я не намерен критиковать его философию. Философия эта — неотъемлемая часть его личности; сложилась она под

1. Уильям Белл Скотт (1811—1890) — шотландский поэт, художник и гравер. Поэма "Розабель" (впоследствии переименованная в "Марианну") была написана в 1846 г.; а уже в следующем году Россетти обсуждал тему проституции в переписке со Скоттом.
2. Цитата из стихотворения А. Теннисона "К ***, после прочтения 'Жизни и писем'" дана в переводе Г. Кружкова. У. Хант приводит цитату не вполне точно: "You might have won the Poet's crown" (в оригинале "You might have won the Poet's name", "crown" появляется несколькими строками ниже — "Of those that wear the Poet's crown").

влиянием той литературы, которой Габриэль главным образом занимался, а пристрастие Брауна[1] к рыцарским персонажам и его недавнее увлечение причудливым средневековьем только укрепили его верность сложившимся предпочтениям.

Беседуя, мы нередко вторгались в научные и исторические сферы, ведь мой круг чтения и мои размышления за все предыдущие годы, не особенно углубив мои познания, тем не менее приохотили меня к занятиям такого рода. Я видел в них величайшую поэтическую и иллюстративную значимость для современного искусства; я доказывал, что наше воззвание можно подкрепить знаниями, добытыми человеческой любознательностью.

<...> В моем прежнем кабинете я отыскал несколько книг по геометрии и математике; мой учитель помогал мне с задачами, а также побудил приняться за составление геологических и астрономических диаграмм; эти занятия в моих глазах были исполнены поэтического смысла. Но Россетти презирал подобные изыскания; какая разница, говорил он, движется ли земля вокруг солнца или солнце вокруг земли, и решительно отказывался задаваться вопросом о возрасте и происхождении человечества.

Невзирая на наши разногласия, мы оба сошлись на том, что творения человека должны быть отражением его собственного сознания, а не холодным слепком фактов. Понятно, что реалистами мы никогда не были. Я думаю, все мы разом утратили бы интерес к искусству, окажись его задачей всегонавсего отображение, качественное или не слишком, некоего природного факта. Помимо даже того, что такая система уничтожит в человеке "подобие Божие", было ясно, что заурядный имитатор постепенно начинает воспринимать природу как нечто конечное, как глину для лепки: так бывает, когда недуг, как облако, застилает взгляд. Такое искусство заставляет нас видеть мир незавершенным, лишенным какого бы то ни было замысла, неуравновешенным, негодным и неприглядным, и не преображает его в красоту, в отличие от подлинного искусства. <...>

Некогда, на тайном совещании в студии, несколько человек из нашего круга написали декларацию, заявив, что для человечества нет иного бессмертия, помимо того, которое человек сам завоевывает своим героизмом или гением. Все еще

1. Имеется в виду Форд Мэдокс Браун (1821–1893) – английский живописец, близкий к кругу прерафаэлитов; предпочитал исторические, религиозные и литературные сюжеты; был другом Д. Г. Россетти и У. Морриса.

пребывая под влиянием Вольтера, Гиббона, Байрона и Шелли, мы самым тщательным образом обшарили и вычистили все закоулки своего сознания. Наше твердое намерение ниспровергать авторитеты, преграждающие путь новым открытиям в искусстве, словно бы сподвигало нас применить тот же подход к метафизическим вопросам, отрицая все, что недоказуемо на основании чувственного восприятия. Мы сошлись на том, что среди великих людей есть разные степени славы, и эти степени должно отметить одной, двумя или тремя звездочками. Простые смертные выполняют свою работу, обеспечивая своих собратьев пропитанием, одеждой и орудиями; однако некоторые, те, кто не занят земными трудами, позволили разуму освободиться от здравого смысла, и иные из них натворили немало зла, но немногие прозорливцы явили нам грандиозные видения красоты. Там, где образы эти оказались слишком глубоки для наших взоров, наше новое "иконоборство" утверждало: они слишком бесплотны, и доверять им не стоит; ибо в ту пору мы чувствовали, что о духовных силах ничего не знаем доподлинно, и не видели смысла полагаться на видения, даже самые прекрасные.

На основании этого Габриэль составил нижеследующий манифест неверия в иное бессмертие, кроме того вневременного влияния, какое оказывают на мир великие мыслители и труженики.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что нижеприведенный список Бессмертных составляет все наше кредо и что не существует иного Бессмертия, кроме сосредоточенного в именах этих людей и в именах современников, на которых сказалось их влияние:

Иисус Христос	Данте
Автор "Книги Иова"	Боккаччо
Исайя	Риенци
Гомер	Гиберти[2]
Фидий	Чосер
Раннеготические архитекторы	Фра Анжелико
Кавалер Пульезе[1]	Леонардо да Винчи
	Спенсер

1. По-видимому, имеется в виду Джакомино Пульезе — поэт сицилийской школы, блиставший при императорском дворе Фридриха II (ум. 1266).
2. Лоренцо Гиберти (ок. 1378—1455) — итальянский скульптор, представитель Раннего Возрождения, ювелир, историк искусства, один из величайших мастеров рельефа.

Хогарт
Флаксман
Хилтон
Гёте
Костюшко
Байрон
Вордсворт
Китс
Шелли
Хейдон[1]
Сервантес
Жанна д'Арк
Миссис Браунинг
Патмор
Рафаэль
Микеланджело
Авторы ранних английских баллад
Джованни Беллини
Джорджоне
Тициан
Тинторетто

Пуссен
Альфред
Шекспир
Мильтон
Кромвель
Хэмпден
Бэкон
Ньютон
Лэндор[2]
Теккерей
По
Худ[3]
Лонгфелло
Эмерсон
Вашингтон
Ли Хант
Автор "Историй по мотивам Природы"[4]
Уилки[5]
Колумб
Браунинг
Теннисон

1. Видимо, имеется в виду Бенджамин Роберт Хейдон (1786—1846) — английский художник, мастер портретной и исторической живописи.
2. Уолтер Сэведж Лэндор (1775—1864) — английский писатель и поэт, писавший с одинаковым совершенством по-английски и по-латыни. Наиболее известен своими прозаическими "Воображаемыми беседами" и поэмой "Роз Эйлмер". Его трагедию "Граф Джулиан" (1812) Алджернон Чарльз Суинберн считал величайшим поэтическим произведением эпохи между "Самсоном-борцом" Дж. Мильтона и "Освобожденным Прометеем" Шелли.
3. Томас Худ (1799—1845) — английский поэт и юморист. Уильям Майкл Россетти написал биографический очерк, использованный в издании стихотворений Т. Худа 1903 г. в качестве предисловия.
4. Чарльз Иеремия Уэллс (1798?—1879) — английский поэт, друг Дж. Китса и У. Хэзлитта. В 1822 г. анонимно опубликовал "Истории по мотивам Природы — или, скорее, в стиле Боккаччо, приправленном Ли Хантом", а в конце 1823 г. — библейскую драму "Об Иосифе и его братьях" под псевдонимом "Х. Л. Говард". Обе публикации прошли почти незамеченными; но сорок лет спустя драму прочел Д. Г. Россетти и пришел в восторг. Для прерафаэлитов знакомство с произведениями Уэллса стало своеобразным обрядом посвящения в поэзию. Суинберн утверждал, что у Уэллса есть строки, "которые легко можно было бы приписать молодому Шекспиру".
5. Сэр Дэвид Уилки (1785—1841) — шотландский живописец; писал портреты и картины на исторические темы.

Чарльз Диккенс

Старые лампы взамен новых

Эссе

Перевод Алексея Круглова

ВОЗМОЖНО, злой колдун из "Аладдина" уделял больше внимания алхимии, чем человеческой природе, однако звезд с неба уж точно не хватал и не имел никакого представления об извечном ходе помыслов и дел людских, хотя по роду занятий ему и следовало бы в это вникнуть. Когда в надежде завладеть волшебной лампой он прохаживался переодетый у входа в летающий дворец и выкрикивал "Новые лампы взамен старых!", ему стоило лишь переставить слова и начать предлагать "Старые лампы взамен новых", чтобы намного опередить своё время и оказаться в девятнадцатом столетии от Рождества Христова.

Наш век настолько развращен и оскудел верою, слабеющей из поколения в поколение, что прекрасная идея, подобная изложенной выше и обычно воспринимаемая невеждами как "младоанглийская галлюцинация", приказала долго жить, не успев встать на ноги к великой скорби узкого кружка избранных. Тем не менее сама мысль отбросить за ненадобностью все созданное упорным трудом в течение трех-четырех последних столетий во имя счастья и величия человека неизменно притягательна для всякого истинно глубокого ума, и

© Алексей Круглов. Перевод, 2013

мы убеждены, что любой наглядный символ, осязаемый пример воплощения этой блестящей концепции окажется весьма поучительным для широкой публики. И вот к нашей величайшей радости, такой символ нашелся. Пускай в качестве официального торгового знака он выглядит не слишком достойно, и подобная вывеска привела бы в ужас и негодование любого трактирщика, исповедующего христианство, однако с философской точки зрения эта эмблема заслуживает самого горячего одобрения.

В пятнадцатом веке в итальянском городе Урбино затеплилась тусклая лампада искусства. Этот слабый огонёк по имени Рафаэль Санти, известный в наши дни горстке несчастных невежд как Рафаэль (другая горевшая в то время лампа звалась Тицианом), подпитывался нелепой идеей Красоты и обладал столь же нелепым даром доводить до неземного совершенства все прекрасное и благородное, что есть в человеческом лице, самонадеянно пытаясь отыскать в презренных созданиях утраченное сходство с ангелами Божьими и вновь поднять их до подлинных высот духа. Сия извращенная прихоть вызвала отвратительный переворот в искусстве, непременным свойством которого стала считаться Красота. В этом прискорбном заблуждении художники и продолжали пребывать вплоть до нынешнего девятнадцатого столетия, пока не нашлись отважные ниспровергатели, решившие покончить со скверной.

Итак, леди и джентльмены, перед вами "Братство прерафаэлитов" — неумолимый трибунал, который наконец все исправит. Подходите, не стесняйтесь! Здесь, в стенах английской Королевской академии художеств, на восемьдесят второй ее ежегодной выставке вы узрите воочию, что представляет собой новейшее Святое братство и как эта грозная полиция намерена посрамить и рассеять преступных адептов Рафаэля.

На стенах, повидавших работы Уилки, Этти, Коллинза, Истлейка, Малреди, Лесли, Маклиза, Тёрнера, Стэнфилда, Лэндсира, Робертса, Дэнби, Кресвика, Ли, Вебстера, Герберта, Дайса, Коупа и других, достойных звания великих мастеров в любой стране и в любую эпоху, вашему взору будет явлено изображение Святого семейства. Только будьте добры, выкиньте из головы все пострафаэлитские идеи, религиозные чувства, возвышенные помыслы — всякие там нежность, светлую печаль и благоговение. Забудьте о красоте и грации и отнеситесь к теме картины по-прерафаэлитски, то есть приготовьтесь окунуться в самую бездну низкого и отталкивающего.

Перед нами плотницкая мастерская. На переднем плане отвратительный рыжий мальчишка в ночной сорочке, заплаканный, с искривленной шеей. Похоже, он играл с приятелями где-то в сточной канаве и получил палкой по руке, а теперь жалуется стоящей на коленях женщине, столь немыслимо безобразной, что на нее таращились бы с ужасом в самом низкопробном французском кабаке или английской пивной — если, конечно, допустить, что человек с такой свернутой набок шеей способен прожить хотя бы минуту. Рядом заняты своей работой два почти голых плотника, мастер и подмастерье, — достойные спутники сей приятной особы. Другой мальчик, в котором все же брезжит что-то человеческое, несет плошку с водой, и никто не обращает внимания на старуху с пожелтевшим лицом, которая, видимо, шла в табачную лавку и ошиблась дверью, а теперь ждет не дождется, когда ей отвесят пол-унции любимой нюхательной смеси. Все, что можно изобразить уродливым в человеческом лице, теле или позе, так и изображено. Полураздетых типажей наподобие этих плотников можно увидеть в любой больнице, куда попадают грязные пьянчужки с варикозными язвами, а их босые ноги, кажется, прошлепали сюда весь путь из трущоб Сент-Джайлса.

Вот в каком виде, леди и джентльмены, в девятнадцатом веке на восемьдесят второй ежегодной выставке английской Академии художеств преподносят нам прерафаэлиты самый священный эпизод человеческой истории. Вот как в девятнадцатом веке на восемьдесят второй ежегодной выставке английской Академии художеств они выражают благоговение перед верой, в которой мы живём и умираем! Рассмотрите хорошенько эту картину. Представьте, какое удовольствие доставит вам кисть прерафаэлита, когда изобразит вашу любимую лошадь, собаку или кошку. Вспомните недавний скандал из-за "кощунства", допущенного Королевской почтой, и воздайте хвалу Королевской академии!

Исследуя более пристально сей новейший образец, воплощающий великую идею движения вспять, мы с особым удовлетворением отмечаем прекрасно проработанные детали, такие как стружки на полу мастерской. Брат-прерафаэлит несомненно владеет всеми тонкостями живописной техники, и приятно сознавать, что он не ищет легких путей к славе — ведь всякому ясно, что кое-как нарисованная свинья с пятью ногами едва ли окажется привлекательнее для публики, чем симметричная четвероногая. В то же время отрадно полагать, что Королевская академия художеств, в полной мере понимая значение и высокие цели искусства, которое не сводит-

ся единственно к умению достоверно изобразить стружки или раскрасить драпировку и требует приложения ума и чувства, а не просто ловкого обращения с палитрой, кистью и мастихином, все же предвидит затруднения, перед которыми окажется, превознося успехи ремесла в ущерб всему прочему, в том числе общим духовным ценностям и благопристойности. Проявление в живописных работах вкуса лишь немногим более извращенного, чем у некоторых нынешних виртуозов кисти, может поставить Ее Всемилостивейшее Величество в ходе посещения выставки в весьма неприятное положение.

Как бы нам хотелось обнадежить читателей по поводу светлых перспектив гениальной идеи движения вспять, символом и знамением которой явилось столь содержательное творение! Как бы хотелось заверить их, что старые лампы в обмен на новые пользуются надежным спросом и рынок старых ламп стабильно растет! Однако испорченность людской природы и неблагосклонность Провидения не позволяют нам пролить в их души утешительный бальзам. Мы можем лишь поведать о других братствах, вдохновленных упомянутым знамением, и о многочисленных грядущих благах, за которыми человечеству осталось лишь протянуть руку.

В первую очередь это учреждаемое братство преперспективистов, призванное ниспровергнуть все известные законы и принципы перспективы. Члены БПП дадут торжественную присягу на суповой тарелке, расписанной по китайскому трафарету, и уже на восемьдесят третьей ежегодной выставке Королевской академии художеств мы надеемся узреть произведения благочестивых братьев, где, согласно идее Хогарта, человек, стоящий на горе за несколько миль, будет раскуривать трубку у верхнего окна дома на переднем плане. При этом обещают, что каждый кирпич в доме будет выписан как портрет, человек будет обут в наиточнейшую копию блюхеровских башмаков, специально присланных из Нортхэмптоншира, а его руки с четырьмя пятнами обморожения, ногтоедой и десятью грязными ногтями станут истинным триумфом живописи.

Братство преньютонианцев предложил основать юный джентльмен, приславший ряд статей в журнал для инженеров, где заявил, что не считает себя обязанным подчиняться закону всемирного тяготения. Впрочем, сей энтузиаст тут же подвергся критике своих сотоварищей, возмущенных недостаточной дерзновенностью его планов, и отказался от них в пользу идеи братства прегалилеитов. Члены этого ныне процветающего сообщества наотрез отказываются совершать годичный оборот вокруг Солнца и требуют, чтобы вся планета

прекратила подобную практику. Королевская академия художеств пока еще не определилась со своей позицией в отношении БПГ, однако поговаривают, что некоторые крупные научно-просветительные учреждения в окрестностях Оксфорда уже склонны высказаться в его поддержку.

Несколько многообещающих учеников Королевского медицинского колледжа собрались, чтобы выразить протест против системы кровообращения, навязанной Гарвеем, и поклялись лечить всех пациентов, которых удастся заполучить, вопреки принципам этой новомодной теории. Результатом стало братство прегарвеитов, чья плодотворная деятельность сулит неисчислимые блага похоронным конторам.

Вдохновенные подвижники от литературы учредили ни больше ни меньше как братство прегоуэритов и пречосеритов. Задача БПГПЧ — восстановить староанглийское правописание и выкорчевать из библиотек, будь то библиотеки частные или публичные, все труды Гоуэра, Чосера и их нечестивых последователей, в частности, сомнительной особы по имени Шекспир. Однако претворение в жизнь столь светлой идеи едва ли возможно, пока адепты книгопечатания разгуливают на свободе, в связи с чем появилось и братство прелаурентийцев, требующее запрета всех книг, за исключением рукописных. Мистер Пьюджин взялся лично поставлять таковые — написанные столь затейливо, что никто на свете не сможет их прочитать. Тот, кто побывал в Палате лордов, нисколько не сомневается, что он с честью исполнит обещание.

Весьма обнадеживающий попятный шаг предпринят и в музыкальном искусстве. Братство преазенкуритов задалось благородной целью предать забвению Моцарта, Бетховена, Генделя и все прочие нелепые фигуры, считая золотым веком английской музыки эпоху перед появлением первой профессиональной композиции. БПА до сих пор не предпринимало активных действий, и пока трудно судить, окажется ли Королевская академия музыки достойной сестрой Академии художеств, допустив предприимчивых братьев к своему оркестру. Согласно авторитетным отзывам, их сочинения так же грубы и нестройны, как и архаические первоисточники — иными словами, вполне соответствуют образцам живописи, рассмотренным выше. Твердо надеемся, что Королевская академия музыки, располагая столь наглядным примером, не испытает нужды в решимости.

Отвлекаясь от сферы искусства, обратимся к делам общественным — их взялось направить в нужное русло братство прегенрихседьмистов, возникшее в одно время с прерафа-

элитским. Отметая прочь — что особенно отрадно, — все достижения последних четырех веков, оно черпает свои идеалы в одном из самых неприятных периодов английской истории, когда нация еще с трудом восставала из варварства, и благородные чужестранки, ставшие женами шотландских королей, проливали горькие одинокие слезы в окружении диких, неотесанных придворных. Это эпоха уродливых религиозных карикатур, именуемых мистериями, так что братьев можно считать настоящими прерафаэлитами по духу, практически близнецами дерзновенных живописцев. К числу благ, которыми они одарят нас, поведя за собой общество, наверняка принадлежит и чума.

Художественное явление, которое мы осмелились представить всеобщему вниманию, способно послужить путеводной звездой для всех подобных сообществ, активно действующих и только создающихся, — зримым и осязаемым символом их грандиозных идей. Им осталось лишь как можно скорее обзавестись коллекцией живописных полотен такого рода и ежегодно в первый день апреля устраивать общее празднество, сливаясь в единое братство под названием Собор неистребимых идиотов.

Джон Рёскин

Художники-прерафаэлиты

Письмо редактору "Таймс"

Перевод Валентины Сергеевой

СЭР, Вы любезно опубликовали мое последнее письмо, придав мне тем самым решимости побеспокоить Вас еще одним-двумя замечаниями касательно картин прерафаэлитов. Я намеревался, в продолжение первого письма, как можно тщательнее рассмотреть природу тех нездоровых тенденций, которые не позволяют привлечь благосклонное внимание публики к этим картинам, но я знаю, что в Академии найдется немного работ, репутация которых бы не пострадала из-за чрезмерно пристального отыскания ошибок, и потому, не будучи склонен подвергать столь пристрастному разбору ту или иную конкретную картину, я тем не менее хочу рассмотреть три проблемы, отчасти предложив их для обдумывания самим художникам, отчасти для того, чтобы испросить для них прощения у публики, учитывая несомненные достоинства прерафаэлитов в других отношениях.

Самый большой недостаток этих картин, который, к сожалению, бросается в глаза, — весьма заурядная внешность большинства их героев. Правда, на картине мистера Ханта "Валентин, спасающий Сильвию от Протея" это практически единственный недочет. После внимательного изучения

© Валентина Сергеева. Перевод, 2013

его работы я еще выше оценил ее достоинства — из-за удивительного правдоподобия деталей и богатства красок; основная идея также заслуживает не меньшей похвалы; поза Валентина, который обнимает Сильвию и крепко держит ее за руку, в то время как она падает к его ногам, абсолютно достоверна и прекрасна, как и борьба мучительного сомнения и пробуждающейся надежды на лице Джулии, наполовину скрытом тенью, наполовину освещенном солнцем. Есть даже намек на короткую, только что завершившуюся борьбу Протея с Сильвией (примятая трава и сломанные папоротники на переднем плане). Но замечательный замысел картины и превосходное его исполнение все же не смогло покорить душу зрителя, и виной тому неудачный выбор модели для Сильвии. Неужели перед нами та, про которую возлюбленный говорит:

> И я мое сокровище живое
> Не отдал бы за десять океанов,
> Хотя б нектаром влага их была
> И золотом — береговые скалы,
> И драгоценным жемчугом — песок[1].

Не меньше мы сожалеем и о том, что, хотя в шекспировской пьесе действуют два джентльмена из Вероны, на картине мистера Ханта изображен лишь один; по крайней мере, коленопреклоненная фигура справа на джентльмена совсем не похожа. Но, возможно, художник поступил так намеренно: всякий, кто помнит поведение Протея в предыдущих сценах, думается, склонен будет сказать, что ошибка кроется, скорее, в перечне действующих лиц у Шекспира, нежели в идее мистера Ханта[2].

Трудно оправдать выбор мистера Миллеса, глядя на девушку, стоящую слева на картине "Возвращение голубя в ковчег". Я не в силах понять, отчего художник, в других отношениях столь чувствительный к утонченной красоте, вдруг, словно изменив своим эстетическим воззрениям, намеренно избирает в качестве модели лицо, лишенное всякого выражения, кроме тупого самодовольства. Но позвольте зрителю пе-

1. Два веронца. Акт II, сцена 4. Перевод В. Левика. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Рёскин обыгрывает английское название пьесы — "Two Gentlemen of Verona"; буквально — "Два джентльмена из Вероны", намекая на то, что Протея из-за его поведения нельзя назвать джентльменом (ср. с русским переводом "Два веронца").

ревести взгляд и рассмотреть нежное и прекрасное выражение лица второй, склонившейся, девушки, а также оценить насыщенную гармонию цвета в старательно выписанных складках ткани. Пусть он также заметит взъерошенные перышки усталого голубя (одно из них упало на руку девушки, которая его держит, другое наземь); и солому на полу, которая не только тщательно выписана, но и отличается безупречной легкостью мазка и искусным исполнением. Это мастерство — их безусловное достижение; ошибочно считать, что художники-прерафаэлиты его презирают, именно мастерством существенно отличаются их картины от творений Ван Эйка или Мемлинга. Вот почему в своем первом письме я сказал, что "плохо разбираются в старинной живописи те, кто полагает, что картины прерафаэлитов походят на нее".

Наряду с неудачным выбором лиц надлежит отметить и неудачный выбор красок для изображения человеческого тела. Руки — по крайней мере на картинах Миллеса — почти все плохо раскрашены, и телесный цвет преимущественно передан грубыми фиолетовыми и тускло желтыми тонами. Вполне возможно, что это зло по большей части проистекает из попытки достичь абсолютной естественности, которой Мюльреди так и не удалось достичь в некоторых его прекрасных работах. Полагаю, все согласятся, что дотошное выписывание крошечных деталей неблагоприятно сказывается на передаче цвета тела; так, о рисунке Джона Льюиса на давней акварельной выставке 1850 года (рисунке, которого в плане проработки деталей можно поместить в один ряд с картинами прерафаэлитов) было верно сказано, что лица раскрашены хуже, нежели все остальное.

Недостаток тени — вот что чаще всего еще замечают зрители. Однако ж этот недочет в большей степени присущ не столько работам прерафаэлитов, сколько другим картинам, выставленным в Академии. Фальшивы именно они — в той мере, в какой фальшива всякая картина, которая пытается передать живой солнечный свет с помощью мертвого пигмента. Я считаю, что у мистера Ханта есть некоторая склонность преувеличивать отраженный свет; а если мистер Миллес когда-нибудь видел красивый витраж, он должен знать, что его цвета́ намного приглушеннее и сдержаннее, чем на окне у Марианы. И все же большинству картин прерафаэлитов приговор вынесен опрометчиво, поскольку мы привыкли видеть на холсте лишь тот свет, что падает на модель в тусклой студии художника, а вовсе не ослепительное сияние солнца в полях.

Сомневаюсь, что мне удастся найти у прерафаэлитов другие недостатки. Кое-что наводило меня на мысль, что эти ху-

дожники слишком увлечены католицизмом, но затем я получил письмо, которое убедило меня, что я ошибочно приписывал это прерафаэлитам. Я могу лишь сказать, что старое доброе паломничество Кристианы и ее детей в поисках "фонтана Милосердия" в наши дни было бы уместнее "паломничества" девицы мистера Коллинза, совершаемого вокруг рыбного садка. Поэтому всем им я от души желаю успехов и искренне верю, что, если смелость и энергия, которые продемонстрировали прерафаэлиты, разрабатывая свою систему, соединятся с терпением и благоразумием и если они под влиянием слишком резкой или легкомысленной критики не откажутся от своих принципов и способов воздействия на умы зрителей, они вполне могут, набравшись опыта, заложить в Англии основу новой художественной школы и стать у истоков искусства, благороднее которого мир не видел в течение трехсот лет.

Имею честь оставаться Вашим покорным слугой,
автор "Современных художников".

Денмарк-Хилл, 26 мая

Данте Габриэль Россетти

Колдовской сад

Рассказ

Перевод Валентины Сергеевой

ГОВОРЯТ, что сны бывают разные; но я в своей жизни видел лишь один.

Всякий раз мне снится узкая долина, склоны которой, поросшие дикими яблонями, вздымаются из глубокого русла пересохшей реки. На самом большом дереве, там, где ствол раздваивается, стоит и поет прекрасная золотоволосая женщина, одну белую руку вытянув вдоль ветви, а в другой — держит ярко-красное яблоко, словно протягивая его кому-то, идущему по склону. Деревья внизу растут все гуще, ветви тянутся с обеих сторон, закрывая глубокий овраг — этот овраг полон трупов.

Они лежат грудами под пологом ветвей, и в руках у каждого — надкушенное яблоко; есть и старые скелеты, есть и те, кто как будто умер лишь вчера. Женщина стоит над мертвецами, неумолчно поет и предлагает отведать яблоко.

Место, которое я вижу во сне, знакомо мне. Я с детства знаю эту долину и слышал немало рассказов о людях, которые погибли там, зачарованные пением сирены.

Я часто прохожу той долиной и рассматриваю ее так, как, вероятно, рассматривают место, выбранное для своей могилы.

© Валентина Сергеева. Перевод, 2013

Я ничего не вижу, но знаю, что долина сулит мне смерть. Яблони здесь ничем не отличаются от других, и с ними связаны детские воспоминания, хоть меня и остерегали здесь бывать.

Сирену встречают лишь однажды — и только тогда, когда человек один. И тот, кто ее увидел, пропадает навеки.

Однажды на охоте мои собаки загнали в долину оленя — он забился под большую яблоню, и собаки отказывались подходить к нему. Когда я приблизился, он заглянул мне в глаза, как бы спрашивая: "Ты сам умрешь здесь — так неужели ты убьешь меня?" Казалось, на меня смотрела моя душа; я отозвал собак, которые охотно последовали за мной, и позволил оленю скрыться.

Я знаю, что непременно пойду туда, услышу песню и возьму яблоко. Пока что я участвую в забавах, которые пристали молодому рыцарю, веду в бой своих вассалов и храбро сражаюсь. Но все кажется сном, кроме того, что мне, одному лишь мне, предстоит увидеть. Кто знает? Может быть, среди моих друзей есть такой же обреченный — но он, как и я, молчит. Мы не встретимся в долине, поскольку каждый приходит туда в одиночку; но в овраге мы повстречаемся — и, возможно, узнаем друг друга.

Всякий мужчина, на которого пал выбор сирены, видит тот же сон, и ему непременно снится знакомое место, где бы он ни жил — именно там он и найдет волшебницу, когда придет пора. Но когда его поглотит овраг, там будут лежать все, убитые ею, целая свита, ибо они следуют за сиреной и довершают ее триумф. Где их души? Может быть, тела по-прежнему служат им пристанищем и душе суждено оставаться добычей сирены до Судного дня?

Нас было десять братьев. Одного уже не стало. Однажды мы ждали его возвращения из набега, но воины прискакали домой без него, сказав, что он отправился на поиски своей возлюбленной, которая поехала навстречу ему другой дорогой; но эту девушку воины встретили по пути, и она не знала, где он. Ночью она внезапно проснулась и отправилась к волшебной долине — и на краю лежали его шлем и меч. Поутру ее стали искать и нашли мертвой. Никто и никогда не рассказывал об этом моей дорогой возлюбленной — моей невесте.

Как-то за столом она протянула мне яблоко. Когда я взял его, она рассмеялась и сказала: "Не ешь, это плод из волшебной долины". Но я рассмеялся и откусил; в середине яблока было красное пятно, похожее на губы женщины, и когда я коснулся его, то ощутил на своих устах поцелуй.

В тот же вечер я гулял с моей возлюбленной по долине, и мы сели под яблоней, на которой, по слухам, стояла сирена. Моя возлюбленная встала в развилку дерева, сорвала яблоко,

протянула мне и начала было петь, но тут же вскрикнула и сказала, что листья нашептывали ей иные слова и называли мое имя. Она швырнула яблоко вниз и следила, как оно летело, пока не скрылось в спутанных ветвях. И тут же, между ними, у нас на глазах, проползла змейка.

Потом мы пошли помолиться в церковь, где покоились наши предки; моя возлюбленная обвела глазами статуи и сказала: “Скоро ли и мы будем лежать тут вместе, высеченные из камня?” А мне показалось, что это ветер среди яблоневых ветвей шепнул: “Скоро ли?..”

Поздно вечером, когда все заснули, я вернулся в долину и тоже спросил: “Скоро ли?..” И на мгновение как будто показалась рука, которая протягивала яблоко из гущи ветвей того самого дерева, где прежде стояла моя возлюбленная. Но тут же видение пропало; я срывал яблоки, надкусывал их и швырял в яму, а потом сказал: “Приди”.

Я говорю вам о моей возлюбленной; она любит меня, но я люблю ее не более, чем камень, несущийся в бурном потоке, любит сухой лист, который плывет, пристав к нему, пока их обоих не поглотит водоворот.

Вчера ночью, наконец, мне приснилась смерть, и теперь я знаю, что она близка. И меня постигнет та же участь.

Во сне я гулял с моей возлюбленной среди холмов, ведущих к долине. Она сказала: “Уже поздно”, но ветер дул в сторону долины и звал: “Сюда”. Она сказала: “До дома далеко”, но камни скатывались в долину и звали: “Сюда”. Она сказала: “Вернемся”, но солнце уже зашло, и над долиной появилась луна и позвала: “Сюда”. И душа сказала во мне: “Пора”. Мы стояли на краю склона, и под нами росли яблони; луна, развеяв облака, восседала на своем троне, подобная солнцу в яркий полдень, и, хотя стояла поздняя осень, деревья не были наги — их покрывали цветы и плоды. Они росли так густо, что сквозь них ничего не было видно, но, глядя вниз, я заметил белую руку, которая протягивала яблоко, и услышал первые звуки чудесной песни. Возлюбленная приникла ко мне и зарыдала, но я начал спускаться по склону, продираясь сквозь стену ветвей, плодов и цветов и разбрасывая их в стороны, как сильный ветер разбрасывает сухую листву, ибо сердце мое желало лишь этого яблока. Возлюбленная цеплялась за меня, но ветви, которые я отталкивал, смыкались за моей спиной и раздирали ей лицо и руки; напоследок я увидел, как она воздевает руки к небу и громко плачет — а я продолжал идти дальше. Песнь сирены звучала все ясней. Наконец она пропела: “Любовь зовет тебя” и еще пела о том, как любовь прекрасна. После она пропела: “Жизнь зовет тебя”, и прекрасна была

жизнь в ее устах. Но еще прежде чем я приблизился, сирена поняла, что я полностью в ее воле; и тогда голос колдуньи зазвучал нежнее прежнего и она пропела: “Смерть зовет тебя”, и имя смерти показалось мне слаще всего на свете. И путь передо мною расчистился, и она, сияя в свете луны, возвышалась надо мною в развилке дерева, которое я так хорошо знал. И я поцеловал волшебницу в губы и принял протянутое мне яблоко. Но едва я откусил его, как голова закружилась, ноги подогнулись, и я полетел вниз сквозь переплетенные ветви и увидел белые лица мертвецов, которые приветствовали меня. Я проснулся в холодном поту; но долго еще мне чудилось, что я лежу среди тех, кто стал моими товарищами навеки, и по-прежнему держу яблоко в руке.

Стихи

Переводы Светланы Лихачевой, Елены Третьяковой, Екатерины Савельевой

Астарта Сирийская

(*к картине*)

Мистерия: меж солнцем и луной —
Сирийская Астарта, Афродиты
Предвестница; из серебра отлиты
Плетенья пояса, их ряд двойной
Таит восторг небесный и земной,
Изогнут стебель шеи, приоткрыты
Уста; вглядись — и вышних сфер сюиты
В биенье сердца зазвучат струной.

Пылают факелы в руках у жриц.
Все троны света, суть земных материй,
Власть талисманов, тайный смысл поверий —
Все в ней сокрыто. Так падите ниц
Пред Красотой, не знающей границ,
Меж солнцем и луной — венцом мистерий.

© Светлана Лихачева. Перевод, 2013
© Елена Третьякова. Перевод, 2013
© Екатерина Савельева. Перевод, 2013

Детство Марии

(*к картине*)

I

Здесь Приснодева изображена:
Святой Марии с отроческих лет
Был домом галилейский Назарет.
Вверялась воле Божией она,
Мудра печалью, кротостью сильна;
В ней крепли веры и надежды свет,
Терпенья неизбывного обет
И мысли простота и глубина.

Она взрастала, утвердясь в добре,
Так лилия, что Господом пригрета,
Тиха, цветет меж ангелов. Но вот
Она, проснувшись дома на заре,
В смятении проплакала до света.
Се! Пробил час: Благая Весть грядет.

II

Вот — символы. В багрянце лоскута —
Узор из трех лучей; творец убавил
Длину второго, не нарушив правил,
Поскольку мир не знал еще Христа.
Вот книги — Добродетелей цвета
В них запечатлены: апостол Павел
Любовь златую выше прочих ставил;
Вот — Лилия, что значит — Чистота.

Семь листьев пальмы, семь шипов у терна —
Ее скорбей и радостей залог.
До срока мир о Господе Едином
Лишь слышал. Вскорости она покорно
Благую весть воспримет. Вскоре Бог
Объявит — Божий Сын ей станет сыном.

Перевод Светланы Лихачевой

Внезапный свет

Да, я здесь был когда-то.
Когда? — припомнить не могу.
Лишь помню трав весенних ароматы
На берегу,
Огни вдали и шумных волн раскаты.

Я был с тобой когда-то.
Когда? Не помню, вот беда.
За ласточкой вспорхнул твой взгляд крылато —
И понял я тогда,
Что был там прежде и не ждал возврата.

Все было так когда-то.
А может, нет? А может, вновь
Закружит время нас, и, пережив утрату,
Взойдет любовь,
Чтоб нам светить до нового заката?

Перевод Елены Третьяковой

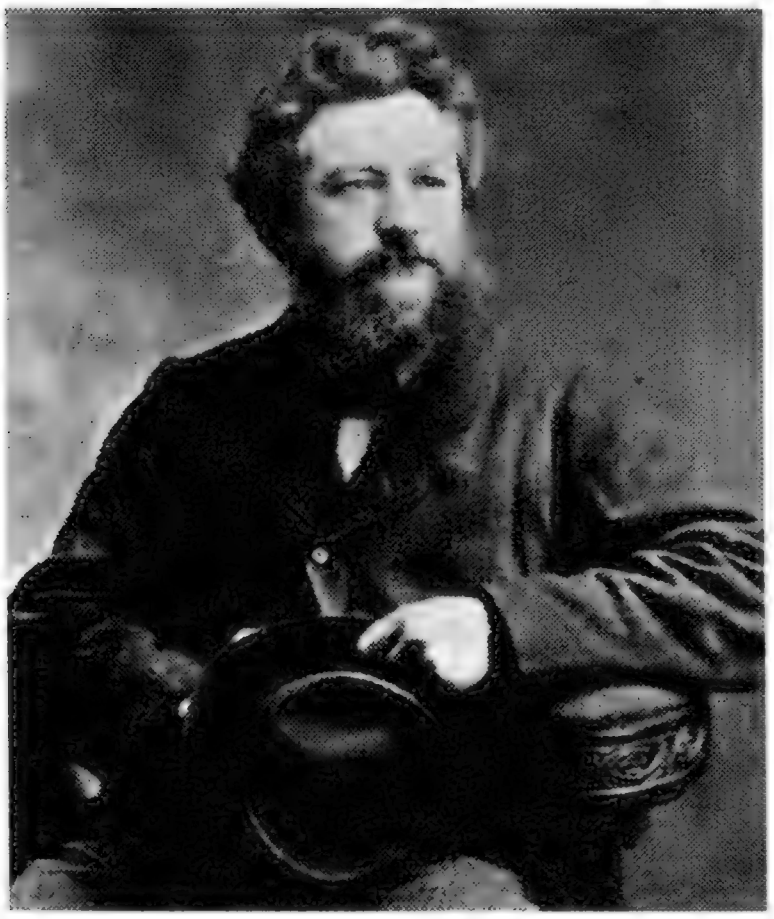
Потерянные дни

Мои бесплодно прожитые дни,
Где их искать, в какой неясной дали?
Где, словно зерна, что с возов упали,
Затоптаны в пыли, лежат они?
Или монетам, тем, что у родни
И у друзей мы без отдачи брали?
Иль каплям тем, что жаждущей печали
В аду не утолят, они сродни?

Мне не найти их... Но наступит срок,
И я расстанусь с жизнью быстротечной —
И вот тогда меня поставит Бог
Пред каждым днем, что я сгубил беспечно.
И каждый закричит мне: “Как ты мог?!
Я — часть тебя. Ты сам погиб навечно!”

Перевод Екатерины Савельевой

Уильям Моррис



Как я стал социалистом

Эссе

Перевод Валентины Сергеевой

РЕДАКТОР попросил меня рассказать о вышеупомянутом превращении, и мне кажется, что это может и впрямь оказаться небесполезным, если читатели готовы взглянуть на меня как на представителя определенной группы лиц. Непросто рассказать об этом ясно, сжато и правдиво, но все-таки я попробую. Для начала же объясню, что́, по-моему, значит быть социалистом, раз уж говорят, что это слово уже не означает того, что несомненно и недвусмысленно означало десять лет назад. Итак, под социализмом я подразумеваю такое состояние общества, при котором нет ни богатых, ни бедных, ни хозяев, ни слуг, ни праздных, ни сгибающихся под бременем работы, ни больных душою представителей умственного труда, ни хилых телом рабочих; иными словами, общество, в котором все люди живут в равных условиях и разумно занимаются своими делами, с полным осознанием того, что повредить одному — значит повредить всем. В конечном счете социалистический строй есть окончательное осмысление слов "общественное благосостояние".

С этого-то взгляда на социализм, которого я придерживаюсь теперь и которому надеюсь не изменить до конца дней, я и начну. У меня не было никакого переходного периода, если не счи-

© Валентина Сергеева. Перевод, 2013

тать таковым краткую пору политического радикализма, когда я достаточно отчетливо увидел свой идеал, хоть и не надеясь на его воплощение. Этот период завершился за несколько месяцев до моего вступления в тогдашнюю Демократическую федерацию; смысл моего к ней присоединения заключался в том, что у меня появилась надежда на осуществление упомянутого идеала. Если вы спросите, велика ли была та надежда, многое ли, по моему мнению, мы, тогдашние социалисты, могли осуществить и достигли ли хоть каких-нибудь изменений в облике общества, я отвечу, что не знаю. Я скажу лишь, что не измерял ни своей надежды, ни радости, которую она приносила мне в ту пору.

Что же касается остального, то я предпринял этот шаг, не имея никакого понятия об экономике; я никогда не открывал Адама Смита и не слышал о Рикардо и о Карле Марксе. Мне попадались кое-какие работы Милля, в частности, его посмертные статьи (опубликованные то ли в "Вестминстер ревью", то ли в "Фортнайтли"), в которых он нападает на социализм под маской фурьеризма. В этих статьях он излагает свои доводы четко и откровенно, и в результате я убедился, что социализм — необходимая перемена, которой возможно добиться в наши дни. Статьи Милля довершили мое превращение в социалиста. Тем не менее, вступив в социалистическую организацию (поскольку Федерация вскоре встала отчетливо социалистической), я попытался всерьез изучить экономическую сторону вопроса и даже взялся за Маркса. Вынужден признать, что я получил огромное удовольствие от исторической части "Капитала", но у меня заходил ум за разум, когда я разбирал экономические выкладки этого великого труда. Так или иначе, я прочел все, что смог, и, надеюсь, хотя бы некоторые сведения удержались в моем мозгу; но гораздо больше, на мой взгляд, я почерпнул из продолжительных бесед с друзьями — Бэксом, Гайндманом и Шоем, а также из оживленных пропагандистских митингов, которые состоялись в ту пору и в которых я принимал участие. Завершение моего образования в сфере практического социализма состоялось позже, благодаря моим друзьям-анархистам, от которых я, хоть и вопреки их намерениям, узнал, что анархизм неосуществим — точно так же как, вопреки намерениям Милля, я понял, читая его труды, что социализм необходим.

Боюсь, рассказ о том, как я стал практическим социалистом, я начал с середины; будучи человеком обеспеченным и не страдая от лишений, преследующих рабочего на каждом шагу, я сознаю, что никогда, быть может, не увлекся бы практической стороной вопроса, если бы некий идеал не вынудил меня двинуться в этом направлении. Политика как таковая,

если смотреть на нее как на необходимое, хотя и тягостное и неприятное средство достижения цели, никогда бы не привлекла меня; а осознав пороки современного общества и уровень нищеты, я решительно не мог поверить в возможность частичного решения этих проблем. Иными словами, я никогда не был настолько глуп, чтобы поверить в счастливого, благопристойного бедняка.

Таким образом, если к практическому социализму меня привлек мой идеал, то откуда, в свою очередь, он взялся? И здесь я повторю свои же слова о том, что я — типичный представитель группы лиц с определенным складом мышления.

До появления современного социализма почти все разумные люди были вполне довольны (либо притворялись довольными) цивилизацией нашего века. Большинство и впрямь было удовлетворено и считало, что впредь нужно лишь совершенствовать упомянутую цивилизацию, избавляясь от некоторых смехотворных варварских пережитков. Короче говоря, так рассуждали виги, и этот образ мыслей был естественным для преуспевающих представителей среднего класса, которым и впрямь, при нынешнем уровне развития промышленности, нечего было желать, — лишь бы социалисты оставили их в покое и позволили наслаждаться накопленным богатством.

Но помимо этих довольных жизнью людей были и недовольные, испытывавшие смутное отвращение к торжеству цивилизации, но подавленные беспредельной властью вигов и потому вынужденные молчать. Наконец, нашлись немногие, открыто выступавшие против вигов, — например, Карлейль и Рёскин. Последний, до того как я обратился к практическому социализму, был моим учителем — он указал мне путь к идеалу, и, оглядываясь назад, я не могу не отметить, каким смертельно скучным был бы мир двадцать лет назад, если бы не Рёскин! Именно благодаря ему я научился придавать форму своему недовольству, которое, надлежит признать, было вполне конкретным. Помимо желания создавать красивые вещи, главной страстью моей жизни была и остается ненависть к современной цивилизации. Что я скажу о ней теперь, когда найдены нужные слова и когда есть надежда на ее разрушение? Что я скажу о замене этой цивилизации социализмом?

Что скажу я о ее владычестве над механической энергией, которую она растрачивает попусту, о том, сколь низок уровень ее благосостояния и сколь богаты враги общественного процветания, о том, как громоздка ее организация — и как убога жизнь? Что скажу о презрении цивилизации к простым радостям, которым мог бы предаваться каждый, если бы не ее глупость? Что скажу о тупой вульгарности, уничтожающей искус-

ство, которое дает хоть какое-то утешение человеку труда? Все это я чувствовал тогда, как и теперь, но не знал причин. Надежда былых времен ушла, многовековая борьба человечества не принесла ничего, кроме жалкой, бесцельной, безобразной сумятицы; ближайшее будущее, казалось, должно было лишь усилить нынешние пороки, уничтожив последние остатки тех времен, которые предшествовали появлению мрачного убожества цивилизации. Перспектива была неприятная, и если говорить обо мне как о личности, а не как о представителе определенного класса общества, то особенно неприятной она казалась человеку моего склада, равнодушному к метафизике, религии и научному анализу, но страстно влюбленному в землю и земную жизнь и питающему искренний интерес к истории человечества. Только представьте! Неужели все должно закончиться конторой на груде шлака, гостиной Подснепа на взморье и виговским комитетом, раздающим богатым шампанское, а бедным маргарин в столь обдуманных пропорциях, что все сразу делаются довольны, хотя красота покидает мир, а место Гомера занимает Хаксли? Тем не менее поверьте, именно это рисовалось мне, когда я заставлял себя заглянуть в будущее, и, насколько я мог судить, мало кто считал, что есть смысл бороться с тем, чтобы цивилизация завершилась подобным образом. Я окончил бы жизнь пессимистом, если бы вдруг меня не осенило, что посреди всей этой грязи начинают пробиваться ростки великой перемены, которую мы называем социалистической революцией. Благодаря этому открытию я смог по-новому взглянуть на ситуацию в целом; чтобы стать социалистом, оставалось лишь присоединиться к практикам, что, как уже было сказано, я и постарался сделать в меру своих сил.

Подводя итог — изучение истории и занятия любимым искусством внушили мне ненависть к цивилизации, которая, если жизни предстояло бы остановиться на данном этапе, превратила бы историю в бессмыслицу, а искусство — в коллекцию любопытных древностей, не имеющую никакого отношения к настоящему.

Но ощущение революции, зреющей в ненавистном современном обществе, с одной стороны, помешало мне — одному из немногих счастливцев среди людей артистического склада — превратиться в простого противника "прогресса", а с другой — не позволило даром растрачивать время и силы на бесчисленные прожекты, с помощью которых мнимые художники из средних классов надеются укрепить в почве искусство, утратившее корень. Поэтому я и стал практическим социалистом.

И несколько слов напоследок. Возможно, некоторые наши друзья спросят: что у нас общего с вопросами истории и

искусства? Мы хотим при помощи социал-демократической программы добиться достойного образа жизни — мы в принципе хотим жить, притом сейчас. Разумеется, всякий, кто открыто заявляет, что проблема искусства и образования важнее проблемы хлеба насущного (а есть те, кто считает именно так), не понимает сути искусства — не понимает, что взрастать оно должно на почве процветания и довольства. Надлежит помнить, что цивилизация вынудила труженика влачить столь убогое и жалкое существование, что он вряд ли знает, каким образом выразить стремление к лучшей жизни, нежели та, которую он вынужден вести теперь. В задачи искусства входит — поставить перед ним подлинный идеал насыщенной, разумной жизни, в которой восприятие и создание красоты, то есть наслаждение подлинными радостями бытия, будут столь же необходимы, как и хлеб насущный, и что никто — ни отдельная личность, ни группа людей — не может быть этого лишен, и всякому насилию в этом отношении надлежит решительно сопротивляться.

Стихи

Переводы Михаила Липкина, Владимира Окуня и Екатерины Савельевой

Заблуждение и утрата

Я плакал вечером от тяжких мук:
Несовершенным мир казался мне.
Стояла осень, и поля вокруг
Внимали мне в туманной тишине,
И с ними лес с холмами в полусне,
И, может быть — как знать наверняка? —
Смешила их слегка моя тоска.

© Михаил Липкин. Перевод, 2013
© Владимир Окунь. Перевод, 2013
© Екатерина Савельева. Перевод, 2013

Я девушку увидел пред собой,
Что шла по шелестящему жнивью;
Она смотрела с жалостью такой,
Что взор ее впитал всю скорбь мою,
И вот я горьких слез уже не лью.
Она же стала спрашивать о том,
Кого искала тщетно день за днем.

Не знал я, как помочь, и снова прочь
Ушла она, и скорбь моя ко мне
Вернулась. Вот уж день сменила ночь,
Вот возвестил рассвет о новом дне;
Вдруг слышу голос: “Где, в какой стране
Любовь моя и боль моей души?
О, где ты? Отозваться поспеши!”

То — юноша. Отчаяньем горят
Его глаза, взирая на меня.
Я плакать перестал, стыдом объят,
А он сказал: “Скорбящий! Знай, что я
Люблю, любим, но милая моя
Исчезла; я ищу и здесь, и там,
Но не сойтись нам, словно двум холмам”.

Он повернулся и ушел во тьму,
А я остался. Я не мог не знать:
Во тьме слепой вновь суждено ему
Найти, и не признать, и потерять.
Какая мука! Им — блуждать, страдать,
Бесплодно ждать; а на моем пути —
Нет никого, и не за кем идти.

Земной рай

(*отрывок*)

Забудь шесть округов, забудь их смрад и чад,
Забудь, как поршни в лад размеренно стучат,
Как расползается наш город-монстр во тьму,
А вспомни: здесь брела лошадка по холму,
Наш Лондон был и бел, и мал, и мил, и нов,
А Темзы берега все в зелени садов.
По зелени волны ввозили корабли
Груз тисовых стволов с холмов Святой земли;
Минуя мост, вплывал, Востоком осиян,

Привезший пряности корабль из дальних стран;
Шли амфоры, что грек мог приподнять едва,
Флоренции шитье, голландцев кружева,
Из Брюгге ткани шли, из Франции вино,
И в пёстром хаосе бурлила пристань, но
Сам Чосер вел счета. В те дальние года
Ведет вас строк моих неловких череда. <...>

Перевод Михаила Липкина

Сад у моря

Я знаю сад, укромный сад,
Где лилии и розы спят.
Я там бродил бы день-деньской.
В росе рассветной и ночной,
Мы там бродили бы вдвоем.

Пусть певчих птиц не слышно в нем,
И нет чудесного дворца,
Пусть облетели до конца
Деревья, лишь бы слышать мог
Я шелест этих легких ног,
Следя за ними, как тогда.

Морская плещет там вода,
И два ручья с лиловых гор
Бегут, ведя бурливый спор,
Спешат через зеленый дол;
Не слышно там жужжанья пчел,
Не видно с берега челна,
Лишь целый день шумит волна
И отзвуками полон сад.
Увы, мне нет пути назад.

Напрасно плачу день и ночь,
От мира удалившись прочь,
К земным соблазнам глух и слеп,
Уныл, беспомощен, нелеп,
Страдаю я, судьбу кляня.

Но хватит духу у меня
У смерти в пасти отыскать
Вход в тот блаженный край опять,
Где мне сиял любимой лик,

Где я ее лишился вмиг,
Где волны, омывая сад,
Неумолкаемо шумят.

Перевод Владимира Окуня

Рядом и уже далеко

Она с уходом медлила, в глазах —
Озерах пепельных, где боль души видна,
Стояли слезы — жаждала она
Увидеть и в моих печаль и страх.
Когда ж затрепетала, как в силках,
Моя мольба, еще стыдом полна,
То поцелуем сладостней вина
Она сдержала речи на устах.
Она ушла, а поцелуй живой
Еще горел, и нежных слов привет
Звучал, как музыка, я помню их дуэт —
Слова и поцелуй... А предо мной
Тоска вздымалась каменной стеной
И вечности прибой ревел вослед.

Перевод Екатерины Савельевой

Кшиштоф Конколевский

Из книги "Документальные сказки"

Вступление Павла Голобурды

Перевод с польского Л. Бухова

Кшиштоф Конколевский пользуется заслуженной славой человека, который возвел польский репортаж в ранг художественной литературы. Менее известно, что параллельно из-под его пера выходили произведения с большей или меньшей долей вымысла.

Родившийся в 1930 году, Конколевский дебютировал на страницах печати в возрасте 16 лет; получив журналистское образование, начал с публикации в молодежной прессе заметок на бытовые темы (о литературном творчестве мечтает герой его более позднего романа "Заметка", пишущий в газеты блестящие короткие тексты), занимался криминальной тематикой (первыми книжными изданиями стали детективы, по опубликованному в 1969 году "Преступнику, который украл преступление" был снят популярный фильм); от журналистики перешел к репортажу, а впоследствии — к прозе (в его романах много автобиографического материала). Он испро-

© by Krzysztof Kąkolewski
© Paweł Gołoburda, 2013
© Л. Бухов. Перевод, 2013

бовал разные виды повествования, но высокого композиционного мастерства достиг в малой форме: среди его рассказов есть абсолютно законченные произведения, занимающие неполную страницу.

Об авторской концепции Конколевского ясно говорит уже само название сборника, из которого взяты публикуемые ниже тексты: "Документальные сказки". Основные черты его прозы: глубокий психологический анализ, в равной степени опирающийся как на факты, так и на впечатления чуткого наблюдателя, поразительно точная, детальная реконструкция событий, эмоциональная напряженность, лаконичность и живость диалогов. (По рассказу "Игра в Агнешку" были поставлены спектакли в театре и на телевидении.)

Имя Кшиштофа Конколевского часто объединяют еще с двумя звездами польского репортажа — Рышардом Капущинским и Ханной Кралль ("три К"), хотя сам он с этим не согласен. Как его репортажи (в том числе знаменитый сборник 1975 года "Как вы теперь поживаете?" — цикл бесед с нацистскими военными преступниками), так и документальные произведения, будь то книга о Мареке Хласко или нападении банды Мэнсона на дом Романа Поланского, либо портрет-интервью с выдающимся репортером Мельхиором Ваньковичем, входят в классический фонд польской "литературы факта". Конколевский открыл читателю кулисы убийства органами безопасности ксендза Ежи Попелушко, представил собственный, отличный от авторского, взгляд на события, побудившие Ежи Анджеевского написать "Пепел и алмаз", а сравнительно недавно описал историю семейного мафиозного клана в маленьком провинциальном городе. В Народной Польше его книги печатались огромными тиражами в престижных издательствах, но после 1989 года отношения с новой властью не сложились; сам он полагает, что большую часть дверей перед ним закрыла книга "Мертвое кладбище", посвященная еврейскому погрому в Кельце в 1946 году, поскольку его версия этой трагедии противоречит официальной. В любой провинциальной библиотеке есть комплект самых известных книг Конколевского, однако новые проходят незамеченными. Лишь недавно солидное издательство занялось переизданием большинства его детективов и репортажей, но в прессе признаков славы и уважения искать не стоит. Хотя репортерской интуиции писатель не утратил: тому свидетельством, в частности, трехтомный цикл "Генералы погибают в мирное время" об оставшихся нераскрытыми таинственных политических убийствах. К сожалению, хотя польская литература факта сейчас в почете и читатели охотно берутся за книги Мариуша Щигела, Яцека Хуго-Бадера или Войцеха Тохмана, Кшиштоф Конколевский в 2012 году не смог найти издателя для своих воспоминаний. Тем ценнее его сегодняшняя российская публикация[1].

1. Единственная публикация рассказов К. Конколевского на русском языке — "ИЛ", 1993, № 6 (перевод Н. Вертячих и Л. Бухова).

Игра в Агнешку

— Я буду посредницей между вами и особой, которая не может назвать своей фамилии. Назову ее Агнешкой. Она хочет, чтобы мы обговорили условия вашей с ней встречи. Речь идет о мерах предосторожности, которые ее бы удовлетворили. Она уже десять лет скрывается. Ее разыскивают, поскольку она сбежала из психиатрической больницы. Вы согласны? — спросила меня пани М.

— Предлагаю устроить встречу в моей квартире. Здесь мне лучше известно, что происходит вокруг, самое удобное время — когда все уже вернулись с работы, а час прогулок с собаками или прихода гостей еще не наступил — между половиной пятого и шестью. Вы подъедете на такси к самому дому, войдете в лифт, а я буду ждать у приоткрытой двери...

– Из первоначальных переговоров с Агнешкой, — сказала пани М., — я поняла, что она предпочла бы встретиться в открытом месте, например, за Гоцлавским аэродромом, где все видно издалека, а не в замкнутом и заранее выбранном помещении. Не уверена, что она согласится с предварительно установленной датой. Мы с ней связываемся по телефону. Я не знаю, где она живет, могу лишь догадываться, что где-то на окраине Большой Варшавы. В письмах, которые она пишет в разные инстанции, указан какой-то адрес, она действует через разных людей, но сама никогда у них не появляется, мне кажется, что и свою корреспонденцию уже давно не забирает. У нее нет документов, она не пользуется своей фамилией, только псевдонимом, никуда сама не приходит, звонит из автоматов.

Агнешка три раза обошла вокруг моего дома, обследуя территорию и приглядываясь к прохожим. Не захотела подняться на лифте, на лестнице проверяла на каждом этаже, нет ли наверху засады. Когда вошла, я обратил внимание на ее взгляд, брошенный вглубь квартиры.

— Если вы меня выдадите, я покончу с собой, — сказала она.

— В Польше не имеют обыкновения выдавать гостей, которые приходят в твой дом, — ответил я.

— Вы называете меня гостем? Меня, бездомную? — В ее глазах блеснули слезы. — Меня слишком легко растрогать. Мне очень важно, чтобы наш разговор убедил вас, что я нормальна. Я борюсь за то, чтобы выглядеть психически здоровой, прежде всего в собственных глазах. И у меня это неплохо получается. А вот как вести себя с вами? Как должен держаться

нормальный человек? Достаточно над этим задуматься, и сразу начинаешь притворяться, разыгрывать из себя неизвестно кого. Я боюсь добрых людей. Они опасны. Когда со мной обращаются по-человечески: я сижу в теплой квартире, при свете лампы, на диване, как будто это обычный визит, — я раскисаю. Я боюсь добрых; одну даму, у которой я скрывалась, милиционер сумел убедить, что она обязана меня выдать, что моя болезнь, если ее не лечить, будет прогрессировать. И эта женщина изменилась. Мне удалось вытянуть из нее признание: она считала, что, пряча меня, наносит мне вред. Я едва успела сбежать.

Иной раз я встречаю на улице знакомых из прежней жизни. Некоторые столь благородны, что делают вид, будто меня не узнают. Другие останавливаются, бросают пару коротких фраз — они знают, что мне нельзя задерживаться надолго. Телевизор я смотрю через стекла витрин. Бывает, что по месяцу не раздеваюсь. От меня исходит запах человека, который скрывается. Вонь. Ненавижу себя. Я не снимаю пальто, чтобы постоянно быть готовой к бегству. Серое пальто, платок — одежда защитного цвета, я сливаюсь с фоном, никто меня не замечает. Туфли с помойки. У меня есть крыша над головой. Я сплю на бетоне. Над моим изголовьем кран, из которого капает. Если закрутить потуже, капает каждые несколько минут. Это плохо. Если же туго не закручивать, капли срываются беспрерывно, распыляя над моей головой ореол влаги, зато тогда я сплю крепко. Сердце разрывается при мысли, что моя комнатка — запертая, опечатанная, — возможно, меня ждет. Я ношу с собой ключи, порой возникает искушение пойти и переночевать в ней, но там меня может подстерегать засада. Помещение, где я сейчас, так сказать, живу, используется только в дневное время. Однажды ночью участковый заметил свет. На другой день он явился к хозяевам моего убежища: "Там кто-то зажигает ночью свет, может, это взломщики, а может, еще кто". С тех пор я сижу в темноте. Это и не смерть, и не жизнь. Хуже всего, когда появляется мысль: "Так будет до конца". Я хочу, чтобы у меня была своя могила, мечтаю о ней, как о доме, тихой пристани. Может, Бог даст мне смерть, отняв ее у кого-то более счастливого. Иногда я нахожу опору в преступном мире. Эти люди знают, что я — чужая; я им не доверяю и немного их жалею. Они очень наивны.

Вся эта история мне самой представляется неправдоподобной, вымыслом больного человека. Я хотела, чтобы последнее мое заявление заставило кого-нибудь содрогнуться, но все испортила, написав: "Настоящим прошу великодушно убить меня". А почему я должна делать это сама? Почему долж-

на взваливать чувство вины на случайного вагоновожатого? Поначалу я выискивала еду на помойках. Был период, когда мне поручили сторожить дачу, хозяева отвезли меня туда на машине с запасом продуктов. На второй день выпал снег. Я прожила зиму в чудесной местности, одна. Потом копала картошку, полола клубнику. Потом в домах отдыха чинила белье. Теперь вяжу. Делаю модные салфетки, жилетки. Приспосабливаюсь к своему нелегальному положению. Осваиваю профессии, пригодные для такой жизни. Свою специальность я уже забыла. Все это выглядит чуть ли не забавно. Надо мной смеются. Прежде я гораздо больше себя жалела. Теперь каждый день проверяю себя, оцениваю свое поведение в такой странной жизни. Не знаю, какой диагноз вы мне поставите после нашего разговора. Я скрываюсь уже десять лет — и за все это время ни с кем никаких конфликтов. Два года ухаживала за четырьмя маленькими детьми.

После того как я лишилась последнего пристанища, я четыре дня провела на ногах, бродила, засыпая на ходу, и вдруг, когда шла по какой-то улице навстречу толпе, увидела знакомое лицо. Это был Чарек, отпрыск влиятельной перед войной семьи, состоящей в родстве с королями. Мы с ним познакомились пятнадцать лет назад, это время кажется мне далеким, как Средневековье. Он взглянул на меня, заметил, что со мной что-то неладно. “Пошли к нам”, — сказал. От былого великолепия у них осталась пятикомнатная квартира. Они жили в бывшем салоне. Три комнаты, никогда не убиравшиеся, забитые дворцовой мебелью, каким-то барахлом, скопившимся мусором, одну за другой запирали. В пятую вселился жилец. Кредитор, у которого Чарек одолжил большую сумму и не отдавал, привел к ним жильца. На шесть лет — плату за жилье тот отдавал кредитору. В бывшем салоне теснились мать Чарека, Чарек с женой, четырьмя маленькими детьми и взрослым сыном от первого брака. За перегородкой жил друг Чарека, скрывавшийся от жены; он влюбился в девушку по имени Илона и привел ее сюда. Рядом устроили спальное место для меня.

Они не мылись, ходили в жалких обносках, не чистили зубы, голодали. Раз в неделю, по четвергам, устраивали журфикс. Приходили люди, которые в прежние времена бывали в замке, приносили еду. Я выступала в роли субретки в накрахмаленном передничке. Подавать должна была как можно меньше: тем, что оставалось, мы питались потом всю неделю. Вместе с сыном Чарека от первого брака я ухаживала за детьми. Теща Чарека на пороге карьеры великого математика познакомилась со своим будущим мужем и стала хозяйкой во

дворце. Ее муж в 1939 году ушел на войну и не вернулся. Она села на велосипед и несколько недель ездила по следам маршей и сражений его полка. В конце концов она отыскала могилу мужа. Когда пришла Красная Армия, солдаты ходили во дворец поглазеть на "настоящую графиню". После земельной реформы ей оставили только мельницу. Она сдала экзамен на мастера, молола зерно. В нее влюбился сельский учитель, они собирались пожениться. Став бабушкой, она решила заняться диссертацией по математике.

— Что случилось с вами до этого?

— Момент, с которого все началось, прошел незамеченным. Организация, где я начинала работать, построила общежитие для сотрудников. Там поселилась молодежь, только что из института. Это был вполне приличный барак, разделенный перегородками на отдельные комнаты. Когда миновало первое радостное возбуждение, мы начали слышать друг друга. Я переносила это хуже других. Для моих соседей громкие разговоры были проявлением свободы, галдеж — чем-то естественным. "Мир наполнен мощными звуками", — ответил мне молодой ученый, когда я попросила его вести себя потише. Сейчас я знаю, что лишение тех людей возможности шуметь было бы такой же жестокостью, как шум — для меня. Люди впечатлительные должны платить, возводя вокруг себя стену благополучия, или погибать. Когда мне впервые намекнули насчет моей ненормальности? Теперь-то я понимаю: на фоне их нормальности я была ненормальной. Моя защитная реакция оказалась чрезмерной. Мне сказали, что я — источник беспокойства. Они были оскорблены тем, что я ограничиваю их свободу. Чтобы доказать мне, что они у себя дома, музыку стали пускать еще громче — для меня. Чудовищные концерты по заявкам. Я обнажила свое самое больное место: меня сильнее страшил недостаток сна, чем голод. Они установили дежурства. Одни развлекались до трех утра, потом переносили магнитофон, и с пяти те же мелодии звучали чуть потише уже из другой комнаты, где жил тот, кто раньше вставал, чтобы закончить работу. "Айда, устроим ей базар, — говорили они так, чтобы я слышала. — Сыграем в нее? Играем!!!" Начали ходить, громко топая, под самой моей дверью, под окном. Это стало обязательным маршрутом, каждый должен был пройти там по многу раз, чтобы усилить эффект. Дети получили указание играть у меня под окном. Для них это было двойным развлечением. Они заглядывали ко мне в комнату, в окне то и дело появлялось чье-нибудь лицо, расплющенное о стекло. Раздавались возгласы: "Она наливает чай. Она взяла ложечку. Накладывает сахар. Размешивает. Сейчас будет

пить. Уже пьет". Каждое мое движение приобретало двоякий смысл. "Игра в меня" вступила в новую фазу. Дети стучали в стекло: "Не пей, чай отравлен". Открывали снаружи окно, бросали в комнату дохлых мышей, гнилые яблоки, лампочки, с грохотом лопавшиеся.

Я купила спальный мешок, напротив нашего общежития был зеленый участок, еще дикий. Там, под деревьями, я спала. Люди, приходившие туда отдохнуть, поиграть в карты, выпить, удивлялись, комментировали: "Как в походе".

Меня как бы невзначай толкнули в коридоре. На следующий день одна из женщин плеснула на меня горячим супом. Потом собралось несколько человек, и они двинулись цепью, оттесняя меня к стене.

Я спала днем, ночью бодрствовала. Обила стены звуконепроницаемыми плитками, окна изнутри закрыла ставнями из досок. Жила в темноте, не зная когда день, когда ночь. О времени суток догадывалась по звукам. Почти не выходила, запершись в своем бункере. Для естественных нужд завела ведро. Вылезала через окно. Продукты покупала на неделю. Отвращение к их чудовищной бесцеремонности и к себе самой — оттого что своим поведением провоцирую их на расправу, — вызывало рвоту. Я жила на воде с сахаром, запивая ею успокоительные таблетки и снотворное, но сон не приходил. Я перестала ходить на работу. Меня уволили.

Как-то, вернувшись, я застала свою комнату опечатанной. Начала барабанить в дверь. Колотила из чувства протеста, оповещая весь мир, что хочу войти к себе. Они злорадствовали, им казалось, что я считаю, будто одновременно нахожусь снаружи и внутри, думаю, будто я изнутри открою себе — той, которая стучит. Я сломала печать и вошла в комнату.

Мой жених начал меня избегать. Я узнала, что его останавливали, предостерегали относительно меня. Знакомые, родственники перестали мне писать. Спустя несколько месяцев во мне шевельнулось подозрение. Я сама написала себе письмо. Оно не дошло. Второе тоже. Официальные письма они отсылали назад с пометкой: "Адресат отказался принять". Личные письма вскрывали, прочитывали и уничтожали. В письмах, посылаемых себе, я, к счастью, не писала ничего о своей жизни, опасаясь, как бы они не догадались, что эти письма — проверка. Их сохраняли, как улику против меня. Выкрали письма, которые я хранила у себя. Их прочитала пани доктор "для моей же пользы, чтобы поставить диагноз".

Началась пытка тишиной. После всего, что было, я боялась, что же начнется теперь. Напряженно вслушивалась. Признаюсь вам в самом ужасном: в этой тишине через опреде-

ленные промежутки времени мне слышались удары гонга, волчий вой, какие-то крики. Теперь я знаю, что это были звуковые галлюцинации, я *предпочитала* хоть что-нибудь слышать, чем ждать.

Потом я услышала за дверью подстроенный разговор. Все, что надо мной вытворяли, они приписывали мне; говорили, что я шумно себя веду, не даю им спать, нарушаю покой. Та женщина рассказала, как я облила ее супом. Я почувствовала себя свободной от всех моих принципов. Все равно обвинят меня. Сварила такой же суп, каким облили меня, притаилась в коридоре. Когда та женщина проходила мимо, я на нее плеснула. Она взвизгнула от боли, я увидела страх на ее лице. Я совершила поступок, который мне приписывали. "Она способна даже убить", — говорил кто-то. Я купила топорик, носила его на плече. Перестала запираться, прятаться. Отвоевала все их владения: туалеты, общую кухню. Сидя с топориком, никого туда не впускала. Они утверждали, что я испражняюсь в раковину, — я так и сделала. Плевала им в лицо. Они прятались в комнатах, крадучись пробегали по коридору. Теперь уже они вылезали наружу через окна, детей отправили к родственникам. По ночам я колотила обухом в стены. Тринадцать семей просыпались и прислушивались, не поджигаю ли я барак. Им хотелось спровоцировать меня на преступление, но страх был сильнее: они не знали, на кого падет мой выбор. Мной овладела ошеломляющая радость мщения, головокружительного риска, освобождения — от принципов, которые я внушала сама себе, и от страха, который внушали мне они. Это было всеохватывающее, но не свойственное моему характеру чувство, и оно лишало меня способности критически оценивать ситуацию.

Однажды около полудня я услышала осторожный стук в дверь. Я молчала, из-за двери донеслось: "Почта". Немного погодя: "Вам посылка, откройте, пожалуйста". Ко мне уже давно не допускали почтальона, и я встревожилась. Сидела тихо. Кто-то начал снаружи выталкивать ключ. Я испугалась: что это за почтальон, который пытается взломать дверь, чтобы насильно вручить посылку? Для самообороны, на крайний случай, у меня была припасена соляная кислота в керамической банке. Вдруг раздался грохот. Дверь под мощным ударом прогнулась, замок вылетел, показались какие-то люди. Я плеснула кислотой. Они отступили, но заметив, что я уже безоружна, снова двинулись вперед, схватили меня и понесли. Вы этого хотели, ну что ж, получайте: я кричала, выла. Меня связали, прикрутили к носилкам. Мы поехали в суд. Судья, женщина, любезно представила сидящих там людей. Я услы-

шала приговор: “Паранойя, опасна для окружения”, — и поняла, что слишком поздно что-либо доказывать, что с этой минуты мои слова ничего не значат, что теперь они — просто звуки. На мои вопросы отвечали с самой разнообразной интонацией: от легкого пренебрежения до открытой грубости. Я боялась успокаивающих средств. Ощущала в себе странные перемены, меня охватывало безразличие. “Если я сразу же не сбегу, то останусь здесь навсегда”. 13 апреля 1963 года я убежала. Как, каким образом — сказать не могу. По сей день не знаю всего до конца, когда вы выясните, то и мне расскажете. Я не знаю даже номера своего дела.

— Если бы вас оттуда не забрали, было бы гораздо хуже. То, как вы живете теперь, снижает риск заболевания. Свяжитесь со мной через две недели.

Пани М. выходит первой, проверяет, свободен ли путь.

В секретариате суда мне дают дело. Видно, что в папку часто заглядывали. Секретарша прерывает мое чтение: “Есть одно похожее дело”. Протягивает мне толстый том. Я начинаю с него. Через год, после того как увезли Агнешку, один из обитателей общежития, аспирант Ян А., сев заниматься, вдруг услышал “внезапный *взрыв* пения”, как описал это потом. Перед его окном выстроился сельский народный хор. Ян А. несколько минут просидел, раздумывая, что предпринять. Потом вышел, чтобы сделать замечание руководителю хора. Ему показалось, что тот иронически усмехается. Аспирант, крестьянский сын, не дрался уже много лет и потерял чувство меры. Он нанес руководителю хора один удар, огромной силы. Тот упал. Яну А. показалось, что он продолжает над ним насмехаться. Аспирант сказал: “Чего это ты так веселишься?” Но тот умирал. Яна А. отправили в психиатрическую больницу, бессрочно. В родном селе руководителя хора возникла легенда о его мученичестве. Ян А. в больнице переживает, что не в состоянии помогать старикам-родителям во время жатвы.

Я вернулся к папке Агнешки. Дело открывается коллективным письмом. Следующие десять страниц — подобные письма. Затем подключается администрация общежития: подстегиваемая жильцами, обращается в другие органы, требует принять меры. Изучаю подписи в письмах. Фамилий только одиннадцать, две семьи в этом не участвовали. Восемь фамилий повторяются под тремя петициями, три — под четырьмя, одна — под всеми.

Общежитие существует по сей день, дом отремонтирован, покрашен масляной краской. Зеленый участок, где ночевала Агнешка, застроен. Список жильцов. Ни одна из тринадцати

фамилий в нем не значится. В домоуправлении мне говорят: "Мы долго не занимали комнату этой женщины, ждали, что она вернется. Так как она столько лет не платила, пришлось перенести вещи на склад. Их можно получить". За десять лет жильцы сменились дважды. Документация спустя пять лет идет в макулатуру вместе с отметками о новой прописке. Сделав свое дело, люди исчезли в миллионном городе. Я выхожу на след четверых. Затрачиваю два месяца на воссоздание их жизненного пути: новые места работы, новые квартиры, браки, разводы. Три линии идут по восходящей, одна ниспадает.

Начинаю с последнего адреса. Холостяцкая квартирка на Охоте[1].

— Живу на восемнадцати метрах, зато один. Там была интеллектуальная трущоба. Люмпенинтеллигенция. Ничего вам рассказывать не станут, потому что сделали карьеру. В студенческие годы в общежитии мы играли попеременно в покер, очко, бридж. В обращении было около шестисот злотых, временами вся сумма скапливалась у одного человека. Тогда отдавали под залог у кого что было: книги, банки сардин, часы. Потом и эти предметы сосредотачивались в одних руках, и у нас уже ничего не оставалось. "Нечем платить — почисти мне ботинки", — сказал однажды кто-то. Это стало распространяться и на другие виды услуг. Проигрыш — если учитывать наши тогдашние возможности — накопился огромный: две с половиной тысячи. "Это уже целый человек", — воскликнул один из нас. Так установилась ставка за человека. Можно было проиграть себя и выиграть кого-то другого. Живые куклы — идеальное развлечение. "Человек может проиграть себя другой человеческой особи на срок не более семи дней" — гласил первый пункт правил. В круг обязанностей раба могла входить стирка для хозяина, чистка его личных вещей, покупки, стояние в очередях, работа в картотеке, заполнение анкет. Знатоки прибавляли к этому еще двадцать других вариантов, утверждая, что в Древнем Риме рабы-прислужники должны были владеть бóльшим количеством профессий, чем "рабочие" рабы. Существовала возможность выкупить себя. Поначалу ценой написания дипломного проекта. Потом, если между двоими возникали "отношения", они, пользуясь случаем, ликвидировали долги. Одна девушка выкупала себя много раз. Началось шулерство.

Некоторые снова встретились в этом общежитии, кое-кто уже завел семью, остепенился, возврат к прошлому никого не

1. Район Варшавы. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

привлекал. Первое время мы были счастливы, что остаемся в Варшаве, потом заскучали. Игру необходимо было поднять на более высокий уровень, ставки удвоить.

И тогда появилась эта женщина. Она хорошо одевалась, была подчеркнуто вежлива, создавая между нами и собой дистанцию. Не захотела ни с кем знакомиться и относилась к нам с излишней серьезностью. Рассчитывала, что мы окажемся на уровне, какого сами от себя не требовали. Начала с замечаний, просила соблюдать тишину. Сама напросилась. Дальше все развивалось уже стремительно. Сначала за дело взялись бабы, хотели ей досадить, потому что она умела где-то доставать элегантные перчатки, косынки, кофточки. Потом я сказал ей: "В наше время опасно прислушиваться к шуму. Тот, кто однажды напряг слух, может услышать такое, что никогда уже не будет тем, кем был. Как бы жестоко человек ни страдал, он не запретит ездить грузовикам или заводить детей". Ей сказали, чтоб *вела себя тихо.* Здорово — взять и все вот так перевернуть. Противник теряет дар речи, задыхается, умирает. Мы говорили, что она то или иное сделала, и она это делала, исполняла как приказ. Мы проштудировали учебник. Выяснили, как развиваются галлюцинации, начали их специально для нее создавать. Каждый час ударяли в гонг. За этим следовал волчий вой, крики. Мы создали мир, который ей казался галлюцинацией, а на самом деле был реальным.

В одном из заявлений мы написали: "Или она убьет кого-нибудь из нас, или мы убьем ее". Пути назад не было. Ситуация стала угрожающей. Игра могла обернуться против нас. Может, это с нами было что-то не так? Вся надежда была на пани доктора. Мы ее ни во что не посвящали, но ее подпись могла сыграть решающую роль. Одна из женщин загримировалась под ту, воспроизвела походку, голос, начала дубасить в дверь пани доктор, плеваться, кричать: "Вас я тоже убью. Час настал". И тогда пани доктор подписала заявление.

Стук в дверь, входит паренек.

— Я даю ему уроки. Хочет поступить в политехнический. Вот будет беда для него, для института, для общества. Он уже сейчас в ужасе.

— А вы берете деньги, — вставляет парень.

— Можно задать еще один вопрос? — говорю я. — Что было целью игры в Агнешку — довести ее до безумия или создать у нее и у других впечатление, что она больна?

— Дайте мне несколько человек, шайку логиков, и я обещаю сотворить мир.

— Я бы мог брать у вас уроки?

— Пожалуйста. Сто злотых в час. Спасибо, — сказал он, пряча деньги, — это за сегодня. К следующему разу заведите тетрадь и напишите работу на одну страницу. Опровергните утверждение: "Глуп тот, кто говорит о других, что они глупы". И вопрос к вам: вы когда-нибудь лечились у психиатра?

К пани доктор И. я вхожу последним. Сестра хочет меня остановить: я без талона, прием окончен.

— Сегодня идет дождь, — говорю я пани доктору. — Холодный летний день, сумрачно, автомобили едут с включенными фарами. В эту самую минуту Агнешка где-то, не знаю где, под дождем бредет по улице. Для вас это старая история — подпись, поставленная одиннадцать лет назад. С моей стороны бестактно об этом напоминать.

— А у меня сегодня был напряженный рабочий день.

— Ваша подпись по-прежнему остается в силе. В том деле ваша позиция была ключевой, чреватой огромными последствиями для судьбы человека.

— Она была экзальтированна и чрезмерно независима. Все это привело к замкнутости и обостренной чувствительности, постепенно усугублявшимся. Она стала странно одеваться, прислушиваться, не подслушивают ли ее. Там все подслушивали, и всех было слышно. Все были мучениками. Ее защитные реакции, неадекватные происходящему, постепенно перерождались в акты агрессии. Она повела борьбу со всем миром. Стала плеваться и плевалась, пока хватало слюны. Это уже смахивало на психические нарушения. Я хотела устроить небольшое представление, показать ей ее саму, чтобы она поглядела на себя со стороны, но побоялась. У нее не было чувства юмора.

— Вам известно, что существовал сговор с целью вовлечь вас?

— Не стану скрывать, знаю. Мой муж это обнаружил — застукал под нашей дверью женщину, которая изображала Агнешку.

— И тем не менее?..

— Я навещала ее в больнице. Принесла букет чайных роз. Все было хорошо до того момента, когда она попросила забрать ее оттуда.

— Вы читали ее письма и давали их читать другим?

— Вы меня осуждаете?

— Что было в письмах?

— Не помню. Я хотела спасти ей жизнь. Читала не ради праздного любопытства.

— Не припоминаете, никто не брал у вас учебники?

— Нет.

— Игра в людей — это вам о чем-нибудь говорит?

— Об игре в людей мне неизвестно. Это чудовищная выдумка. Ничего подобного не было. Я, во всяком случае, не слышала. Это просто статистика. С ней стряслась беда — с кем-то должна была случиться, так уж карта легла. Кто знает, может, она подсознательно к этому стремилась, может, теперешний образ жизни отвечает ее наклонностям?

Из кабинета доктора я отправляюсь в южный район города. Этой улицы еще нет на карте. С последнего этажа высотного дома, стоящего у самой городской черты, как с высоты птичьего полета видны поля и огороды.

— Вы, — начинаю я, — третий человек, которого мне удалось разыскать спустя одиннадцать лет. Я рад: вы занимали в этой истории особое место, поскольку были подругой Агнешки.

— Я была ее ближайшей подругой. Многому от нее научилась, в частности, умению размышлять о людях, о себе. Дома таким вещам меня не учили. Оказалось, что существуют душевные глубины, о чем я раньше представления не имела. Это была дверь в иной мир. Агнешка обладала способностью преображать то, что казалось будничным, серым, в нечто значительное. Даже с вещами так поступала: умела что-то добавить к дешевым туфлям, чтобы они стали нарядными, могла смастерить шляпку, никогда не забывала о цветах. Я тяжело переживаю потерю Агнешки. Помогите ей. Я не смогла.

— Почему не смогли?

— Этого я сказать не могу. Слишком мало вас знаю.

— Спасибо, что просите ей помочь, но я приехал к вам, чтобы спросить, почему вы участвовали в травле Агнешки? Ведь с того момента, когда вы присоединились к ее врагам, они стали для нее по-настоящему опасны. Она во всем разуверилась, а ее противники приобрели бесценного союзника. У меня есть основания подозревать, что вы посвящали их в некоторые обстоятельства жизни Агнешки, известные только вам, ее подруге.

— Сначала она изменилась по отношению ко мне.

— Что ж, отмщение было достойным.

— Клянусь, я убеждена, что люди с отклонениями от нормы, шизофреники больше способствуют совершенствованию мира, чем мы.

— Не понимаю.

— Поясню на примере. Моя знакомая, выходя замуж, чувствовала, что необходима мужу. Он надеялся найти в ней опору. Призрачный мир, центром которого была она, мог быть развеян только ею. Она же пожелала остаться такой, какой су-

ществовала в его болезненных видениях. Старалась обращать их в реальность. Он утверждал, что она ходит к любовнику. Она отправилась к одному человеку, зная, что муж пойдет за ней, будет подслушивать. Человек этот удивился, спросил, что ей нужно. Она ответила: "Вы мой любовник, так считает мой муж". — "Прошу, входите, — сказал мужчина. — И что я должен делать?" Потом муж говорил ей: "Ты этот визит разыграла. Вы заранее договорились". У них было трое детей. После рождения каждого он говорил, что ребенок не его. Проник в архив родильного дома, чтобы по документам проверить группу крови ребенка. Потом делал следующего, который будет "уж точно от него". Женщина опасалась, что так ей придется родить одиннадцать детей. Он сам был одиннадцатым в семье. Первопричиной его болезни, возможно, было то, что в семье он чувствовал себя чужаком — мать постоянно занята, на него, самого младшего, сил почти не оставалось. Потому у него и зародилась мысль, что он — не родной сын, отдан в эту семью на воспитание за деньги. Тогда же возникло и другое подозрение — что все дети от разных отцов. Этот человек был внешне настолько сдержан, настолько обаятелен, что все считали его жену истеричкой и сочувствовали ему. Она "управляла им". То уменьшала дозу успокоительных, то увеличивала чуть ли не до смертельной. Если бы он умер, обвинили бы ее. Иной раз достаточно было кому-нибудь на улице мельком на него взглянуть, и он опознавал в прохожем соперника. Случайный встречный, сам того не зная, оказывался в опасности. Иногда муж этой моей знакомой приходил домой весь в крови. Она спрашивала: "С тобой что-то случилось? Ты кого-то обидел?" Она бы предпочла, чтобы он умер, чем жил с сознанием, что совершил убийство и остаток жизни провел в больнице. Вина этой женщины состояла в том, что она оберегала его от лечения. Скрывала его болезнь, хотя знала, что он опасен для других. Цель ее жизни была — сохранить ему свободу. Ей не было дела до того, какую ответственность она на себя берет. В конце концов, она поняла, что сможет его уберечь, если они расстанутся. Из-за того что любила, развелась. Его галлюцинации прекратились.

— Вы рассказали свою историю? Надеетесь, что я вам посочувствую, вместо того чтобы обвинять.

— Я была не в состоянии оберегать двоих. Не могла взвалить на себя еще и Агнешку.

— Комплекс вины за сокрытие болезни мужа был настолько силен, что вы особенно жестоко обошлись с Агнешкой. А может, вы опасались, как бы дело не обернулось против вас, как бы они не стали копаться в вашей жизни, не обнаружили

правды, не соотнесли историю Агнешки с вашим мужем? Или они что-то знали и шантажировали вас? Тогда бы его у вас отняли.

— Так и случилось. Он уехал за границу, звонит с другого полушария, издалека, расспрашивает о детях, дает распоряжения, я их выполняю.

Остается визит к судье. Я ограничиваюсь анализом дела.

— Решение суда основано на заключении экспертов. Из дела явствует, что сотрудник милиции не представился, а сказал: "почта"; затем человек, выдававший себя за почтальона, начал, судя по всему, ломиться в комнату. Милиционер показал, что Агнешка выплеснула содержимое банки "на стену перед собой" и жидкость "обрызгала его шинель". Жидкость не исследовалась. На основании показаний самой обвиняемой суд счел, что это была соляная кислота. Нигде не упоминается, что шинель милиционера была этой жидкостью повреждена и даже, что подверглась экспертизе. Эксперты признали покушение на представителя власти очевидным фактом и пришли к заключению, что подозреваемая представляет собой опасность для общества. Особа, признанная опасной для общества и психически больной, скрывается уже более десяти лет, не вступая ни в какие конфликты с правопорядком, ухаживает за детьми и выполняет разнообразные работы, полностью себя контролирует и борется с последствиями ненормальной ситуации. Все это — намного убедительнее, чем любое обследование, — доказывает, что она здорова.

— Мы не можем обойтись без обследования, — говорит судья. — Существует приговор. Мы должны его отменить. Для этого необходимы основания. Пусть она придет ко мне. Обследование состоится здесь, в суде. Какой нам интерес держать человека в больнице — это ведь крайняя мера. Мы теперь перешли на открытую систему, больных время от времени отпускают домой.

— Можно провести обследование у меня дома? — спрашиваю я.

— Да.

— Могу ли я надеяться, что вопросы будет составлены так, чтобы обследование носило характер беседы?

— Это зависит от врачей. Но если она не явится, я буду вынужден объявить ее в розыск.

Я консультируюсь со знакомыми психиатрами, мы составляем сценарий беседы, внешне безобидной; преобладает мнение, что уже сам рассказ Агнешки об ее злоключениях станет доказательством ее здоровья или болезни. Я беспокоюсь: су-

меет ли она удержаться от проявлений отчаяния или гнева, когда придется снова обо всем рассказывать.

В соответствии с уговором, сначала мне звонит пани М., потом сама Агнешка.

— Вам удалось снять с меня заклятие?

— Да. Остались только формальности.

— Какие?

— Вам нужно прийти ко мне для беседы.

— Будет еще кто-нибудь?

— Да.

— Могу себе представить. Я к вам не приду и звонить не буду. Больше я вам не доверяю. Как знать, может, вас переубедили, и вы готовите мне ловушку. Или слишком доверчивы и стали орудием в их руках.

— "Их" нет, пани Агнешка.

— Мне не нравится, что вы начинаете меня поучать. Это доказывает, что ваше отношение ко мне изменилось.

— Пани Агнешка, если мы не уладим дело мирным путем, судья объявит вас в розыск.

— Тогда я покончу с собой, — сказала Агнешка и повесила трубку.

Я связываюсь с пани М., которая просит известную ей особу передать Агнешке, чтобы та ей позвонила. Агнешка звонит пани М. Услышав, что она должна согласиться с моим предложением, вешает трубку. С этих пор Агнешка неуловима. Я разыскиваю ее, высматриваю в тех местах, где она, по ее рассказам, бывает, однако она прячется и от меня. Я хочу рассказать ей, что у нее были за "галлюцинации", каков механизм создания мира, который вокруг нее выстроили. Агнешка, где бы ты ни находилась, если ты прочтешь эти слова — откликнись.

P. S. В декабре прошлого года у меня был авторский вечер в одном из больших городов Польши. Мне задали вопрос: "Над чем вы работаете?" Я стал рассказывать историю Агнешки и заметил, что одна из слушательниц плачет. После окончания встречи женщина подошла ко мне и сказала, что она — сестра Агнешки. Ищет возможности помочь ей и пришла на мой вечер, чтобы посмотреть, что я собой представляю, и решить, можно ли мне доверить дело ее сестры.

Через неделю я получил историю Агнешки, записанную сестрой. Рассказ начинается со времен войны и "комплекса дома", возникшего у Агнешки, когда она, еще ребенком, вынуждена была постоянно куда-то из дома убегать. Выселение, стычки с бандами, близость фронта... Тоска по родному углу, покою — и вместо этого полная противоположность: беспри-

ютность, скитания, постоянное бегство. Уже много лет, как связь между сестрами оборвалась. Дело Агнешки становится навязчивой идеей ее сестры.

– Так значит здесь, на одном из этих стульев сидела Агнешка? – спросила ее сестра, оглядывая мебель в моей квартире.

Голубая плитка

ПРОХОДЯТ, держась за руки, две девочки в халатах; у одной заклеен левый глаз, у другой – правый. “Тот мальчик плакал, потому что его хомяк полысел”, – говорит одна из девочек. Больные теснятся на скамейках, из больницы хочется вернуться загорелым. Мусорные ящики хирургического отделения напоминают выставку скульптуры: гипсовые отливки рук, ног, торсов, нагромождение пустых форм; их ненужность – свидетельство скрытых драм тел, у которых позаимствованы формы.

В хирургическом корпусе между второй и четвертой палатами пол выложен коричневой плиткой. Каждая из санитарок: две Дневные и одна Ночная – за время дежурства пересекают это пространство не меньше ста раз. Больной учитель географии подсчитал, что они уже покрыли расстояние от Лиссабона до Владивостока. На этом огромном, бескрайнем пространстве, приблизительно на полпути между второй и четвертой палатами, маячит единственная голубая плитка. Может, в этом месте не хватило одной коричневой? Или рабочим, которые выкладывали пол, захотелось пошутить? А может, у них была более важная цель: оставить некий таинственный знак, который всякий раз, когда там проходишь, бросается в глаза?

Когда больной учитель географии, проснувшись после наркоза, увидел самую красивую в отделении докторшу, склонившуюся над ним, всю в белом, он спросил: “Где я?” Сестра ответила: “Вы в раю”. Он закрыл глаза, не сомневаясь, что уже на том свете. За стеной больная № 44 говорила: “Рис от гречки я еще отличаю, а все остальное забыла. Забыла даже себя”. У больной № 44 шестеро детей, но она не помнит их имен. Не узнает внуков, когда те приходят ее навестить. “Бабушка, это я, Ядя”, – говорит внучка, а она – не желая огорчать эту незнакомую девушку, разрушать ее иллюзии, – деликатно отказывается от знакомства с ней, извиняется, поясняет, что они, должно быть, ищут кого-то другого. После их ухода она про-

сит больную с кровати № 46, двадцатидвухлетнюю Йолю, чтобы та кое-что за нее запоминала. “Запомните, пожалуйста, кто эти люди и что они говорили”. Превращает Йолю, ее мозг, в подсобную кладовую памяти, куда складывает необходимые факты. Записывает их в памяти Йоли, рассчитывая, что в любой момент сможет ими воспользоваться.

Йоля постоянно будила больную № 48, тормошила ее. Сносила гнев, недовольство тем, что ее вырывают из сна, лишают покоя. Та засыпала за едой, на ходу, сидя, разговаривая. Йоля стала живым будильником, неустанно прерывавшим этот сон. Единственным человеком, навещавшим больную № 48, был водитель машины, под которую она попала. Так Йоля помогала обеим Дневным и Ночной, то есть — Ане, Вале и Ночной. И хотя все они — и больные тоже — принимали живое участие в истории Йоли, одна лишь Валя сыграла в ней действительно серьезную роль.

Йоля еще не пришла в себя после наркоза, лежала, осунувшаяся, с не смытой тушью на бровях и ресницах, что производило жуткое впечатление, и еще не было уверенности, что она будет жить, когда в коридоре отделения появился молодой мужчина с букетом из девяти роз. Для непосвященных подобная картина не представляет ничего особенного: кто-то пришел навестить больного. Однако Валя остановила человека с розами: “Сейчас не время посещений”.

Чуть погодя розы, поставленные в кастрюлю, стояли на полу кухоньки отделения, а молодой мужчина излагал Вале свое дело: он опасается, что его жена Йоланта может дать неблагоприятные для него показания, утверждая — должно быть, вследствие шока, — что он сильно ударил ее кулаком по голове, а когда она упала, пнул ногой в живот, и это привело к разрыву селезенки и внутреннему кровотечению. А ведь она сама споткнулась и ударилась головой о край дивана. Он хотел бы, чтобы с первого же мгновения, сразу после того, как она очнется, до ее сознания довели истинную версию случившегося, повлияли на нее, помогли ей вспомнить, как все происходило в действительности. “У меня даже была причина поступить так, как, по ее словам, я поступил: к нам пришли знакомые, и она вышла к ним в одной комбинации, а когда они ушли, я сделал ей замечание, и тогда она споткнулась. И теперь мне грозит тюрьма”.

У Вали можно купить минеральную воду, апельсиновый сок, консервированный компот, сигареты, показания пострадавших, выгодные для виновных. Последние обращаются к ней, пока еще не арестованы, пока пытаются установить контакт с пострадавшими, лихорадочно ищут посредников, бо-

ясь оказаться лицом к лицу со своей жертвой. Дело это сложное, деликатное: необходимо показать, сколь велико раскаяние виновника, и внушить, что приговор ничего уже не исправит, а лишь нанесет вред и жертве, и обидчику.

— Все бедные, всем плохо, — говорит Валя Йоле, — ну отберут у вас мужа, отца ребенка, из-за вас его отец станет уголовником, арестантом. Вы страдаете из-за того, что случилось, но ведь и он страдает. Уж так отчаивается! Давно уже ждет тут с цветами. Девять роз! Он даже согласится на развод, хоть и любит вас безумно, оставит вам квартиру. На ребенка будет давать. Вы же только упали на диван, правда? А у него есть причины вас ревновать. Думаете, мы все — персонал и больные — не видели, как к вам приходил еще один молодой человек, в кожаной куртке, и тоже принес цветы? Все спрашивал, достаточно ли вы окрепли, чтобы выйти с ним в больничный сад. Ну, так как?

Всю неделю Валя обхаживает Йолю, но в субботу приходят родители. Они убеждают Йолю, что она должна рассказать и про удар, и про пинок ногой. Тогда Валя посвящает в дело больных: только под их нажимом удастся спасти бедного парня. От них требуется постоянно разговаривать с Йолей, советовать, убеждать. Так себя с ней вести, чтобы она поняла: если даст не те показания, всех против себя восстановит. Есть еще один аргумент: Ночная, если захочет поддержать в этом деле Валю, может не услышать звонков с Йолиной кровати. И еще будет трудно доказать, что это она вылила под Йолю мочу, вынимая судно, а не сама больная по неловкости.

Когда молодой следователь, выселив больных с ближайших кроватей, допрашивал Йолю, двадцать пар глаз с дальних кроватей впились в ее спину. Со следователя пот лился в три ручья, так как в тот день победу одержали сторонники закрытых окон. Услышаны были три отрывочных слова: “нога...”, “в ботинке...”, “умоляю”; из них реконструируется весь двух- или трехчасовой допрос. Валя близко к Йоле не подходит. Даже в сторону ее кровати не смотрит. Общественное мнение тоже обращается против Йоли. Палата обсуждает ее вызывающий образ жизни, привычку расхаживать в одном белье. Все ждут парня в кожаной куртке. “А что если запереть дверь на ключ, задержать его, вызвать милицию, пусть проверят, кто он такой?” Только Аня — вторая Дневная — защищает Йолю. Ночная — как утверждают — в этой истории держит нейтралитет. Не было еще случая, чтобы Валя с Ночной объединились.

Только Ночная обладает абсолютной властью. Ночью отделение закрыто, отрезано от мира. Из рук виртуозов хирургической техники, поражающих спасенных тем, что их спасли,

власть над их жизнью переходит в руки Ночной. Никто не захотел пойти на эту, нечеловечески тяжелую работу, но никто и не обрел в своей жизни такой полноты власти. Эту власть можно раздуть до невероятных, ошеломляющих масштабов. Подвластные знают, что балансируют на грани жизни и смерти: необходимо снискать благосклонность владычицы, умилостивить божество. Каждый жест Ночной — олицетворение власти, символом которой, орудием, эмблемой является ночной горшок. Достаточно впасть к ней в немилость, и в коридоре под зуммер звонка, на котором значится номер опальной кровати, подкладывается трамвайный билет. Приговор вынесен, звонок обреченного номера не прозвонит. И нельзя уволить Ночную. На ее место никто не придет.

Ночную нельзя уволить, если знать ее жизнь. Про нее говорят, что последние десять лет она не смыкает глаз. "Жизнь совы" начинается в девять вечера. Она готовит первый и второй завтрак детям, которые уже спят: какао, хлеб — и все это выставляет за окно, завернув в полиэтиленовый пакет. В половине десятого вечера отправляется на работу. С десяти до шести утра — дежурство. По дороге домой она делает покупки, приходит, когда дети уже в школе, чистит картошку к обеду, заливает водой; за этим следует первый сеанс сна — до часу дня. Затем — пробуждение, приход детей, обед, уборка, шитье, дети садятся за уроки, около семи — второй, двухчасовой сеанс сна, приготовление завтрака — и все сначала. Единственное светлое пятно — прекрасная квартира, которую оставил муж, бросив ее. Как утверждают некоторые, свои беды она вымещает на больных. Главная ее беда — одиночество. Из-за этого она часто бывает неумолимой. Кое-кто подумывает о мщении. Больная № 33 попросила знакомую актрису сыграть роль цыганки. Актриса должна была пойти к Ночной и погадать ей. С помощью профессиональной гадалки составили предсказание, страшное, угрожающее, где число тридцать три должно было намекнуть, откуда придет несчастье, предвещаемое пиками и трефами — черными картами: никаких красных, никакой надежды. Трудно сказать, что было Ночной предсказано, так как больная № 33, узнав историю ее жизни, отменила визит цыганки. Испугалась, что придуманная ею ворожба может сбыться.

Вторая Дневная, Аня, иногда заключает союз с Валей против Ночной. Валя может быть недоброй, когда дело касается денег, однако часто выступает против Ночной, считая, что ее суровость бесцельна, беспричинна.

Валя уже сорок три года работает и живет в больнице. Бывает, она год-два не выходит на улицу, не видит Варшавы. Двад-

цать часов проводит в отделении. Без нее уже трудно обойтись, она постоянно под рукой — властная, пытающаяся управлять чужими судьбами. Один из врачей говорит: "Она хочет только, чтобы ценили ее жертвенность. Когда мы попробовали выселить ее с территории больницы, у нее не оказалось денег даже на первый взнос за квартиру. Только смерть разрешит эту проблему, освободит нас от Вали. Но что мы станем без нее делать?" Валя не меняет больным постельное белье, скупится в интересах больницы, собирает несъеденные бутерброды в холодильник и потом их продает. У нее водится спирт и апельсиновый сок из "валютного".

Сын неизлечимо больной пациентки, забирая мать домой, чтобы не умерла здесь, между Валей и Ночной, рассказал Ане по секрету, что Валя предложила ему наркотики. "Ваша мама умрет такой счастливой, какой никогда не была, отправится прямиком в рай". Аня замечает, что из города приходят какие-то люди, берут у Вали маленькие пакетики. Одну из сестер она уличила в том, что вместо болеутоляющих та иногда делает больным инъекции витаминов, а наркотики продает Вале. В образе Вали вернулось то, от чего Аня бежала сюда.

Здешние истории делятся на те, что происходят у всех на глазах, и те, что без конца рассказывают больные: эти истории заменяют книги, которых они не читают. Одна из больных рассказывает: чтобы быть в курсе дел своей дочери, она подкупает ее подружку, с которой дочка делится своими секретами. Подружка получает за информацию чулки, кофточки. Доходит до того, что дочь завидует подружкиным нарядам. Соседка больной говорит: "Как выйду из больницы, сообщу матери этой девочки, что вы ее подкупаете и развращаете, заставляя шпионить за подругой". Разражается скандал. Валя вступается за методы матери, Аня — против; начинается перебранка.

Привозят женщину со страшными ожогами. Ноги у нее облиты кислотой. Она утверждает, что ничего не помнит. Была в гостях и заснула, проснулась в больнице. Санитарки разузнали, как обстояло дело: среди участников вечеринки была ее соперница или соучастник соперницы. Женщине подсыпали в вино люминал, она уснула, появилась соперница и облила ее кислотой. Но жертва ничего говорить не хочет. "Не знаю, не знаю", — твердит. Ссылается на то, что спала. Покрывает преступницу. В коридоре появляются какие-то люди, пытаются пройти к обожженной. Валя их останавливает. Начинаются переговоры.

Аня всегда одета в черное. Родственники больных просят ее признаться, что она законспирированная монахиня из ор-

дена с очень строгим уставом, требующим жертвовать собой ради ближних. Их интуиция ее удивляет, потому что они близки к истине, однако она все отрицает. Ее тоже нельзя уволить. Она добра к больным; это вызывает ненависть Вали и Ночной. Почему она вступает с ними в борьбу? Три года назад она была директором магазина бытовой техники. Один из руководителей управления брал в кредит у нее в магазине стиральные машины, холодильники, телевизоры, электрополотеры. Когда она продавала что-нибудь за наличные, он забирал деньги, а потом привозил документы каких-то людей. Удостоверения, справки. Кажется, ему это обходилось в 100–200 злотых. Изъятые суммы – иной раз до 50000 злотых в день – он передавал шайке ростовщиков. Начальник аккуратно выплачивал взносы по кредитам, оформленным на мертвые души, Аня же не спала по ночам. Перепробовала все виды снотворных. Ей снились клиенты – лица, знакомые только по документам; она даже прочитала книгу Гоголя.

Между тем начальник не унимался. Потребовал денег из кассы только под его личную расписку. Она отказала. Он пригрозил ей увольнением. Она ответила: “Пожалуйста”. – “Я не стану вас увольнять, но жизнь испорчу”. Она подала заявление об уходе, начальник отказался его подписать, так как боялся ревизии. Она закрыла магазин и повесила табличку: “Магазин закрыт из-за отсутствия персонала”. Начальник сначала пригрозил, что повесит на нее убытки, потом, что сообщит в прокуратуру о самовольном уходе с работы. Ей прислали официальный приказ приступить к работе. Она не явилась. Начальник предостерег, что путь в торговлю будет закрыт для нее навсегда. Она не уступила. Тогда он ее уволил. Она осталась без работы.

– И тут я поняла: то, что случилось, было необходимо, – говорит Аня, – без этого я, наверное, никогда не исполнила бы свой обет. И на два года, оставшиеся до пенсии, решила пойти санитаркой в больницу. Для пенсии можно будет выбрать три месяца из тех лет, когда я хорошо зарабатывала.

Не думала, что испытание будет столь тяжким. Иногда я остаюсь в отделении одна. Эти “малыши” по восемьдесят килограммов – чудовищные младенцы, которых надо перепеленывать, злобые, требовательные. Бывают дни, когда в беспрестанной беготне по отделению единственное утешение – голубая плитка. Ниже нас нельзя опуститься. Он – выше всех, мы – ниже всех. Именно здесь, в особенности ночью, замечаешь абсолютное отсутствие Бога. Ведь не мы, санитарки, все это придумали. Не мы отвечаем за неизлечимость опухолей, за потерю памяти, за непрерывный сон.

Иногда просто руки опускаются, взять хотя бы больную, о которой в отделении говорят: “Это та, что не сумела покончить с собой”. Когда ее привезли, она вырывалась из рук врача и кричала: “Не хочу, не хочу, не хочу жить... Не смейте меня заставлять!” Разве я не обязана быть к ней по-особому добра, иначе, чем ко всем остальным? Или фельдшер, который всем больным говорит “ты”. Должно быть, услышал от кого-то из профессоров. Родственники одной больной дали ему взятку 20 злотых, чтобы он обращался к ней на “вы”.

Один больной составил молитву: “Боже, если Ты не существуешь, пусть мне кажется, что Ты возник ради меня...” Ничего подобного в молитвенниках нет, потому что нет больше единого Бога, есть только такой, которого каждый создал для себя сам. И если я хоть раз сделала что-то для людей, то, наверное, это было в тот раз, когда я записала на обороте температурного листка (под рукой не оказалось другого клочка бумаги), что́ говорила одна больная сквозь сон. Ей казалось, что она уже умерла и разговаривает с Богом. Рассказывала Ему о своем сыне, описывала его так, чтобы Бог к нему расположился. Я все записала. Больная умерла, и ее сын понял, какое огромное событие произошло в его жизни. Никогда я так остро не ощущала, что пригодилась другим. Мне кажется, что трое самых близких мне людей, которых уже нет в живых, встречаются, их соединяет то, что происходит здесь. В одном я уверена: они к нам не придут, разве что мы пойдем к ним. А что будет там, во что нас оденут? Наверняка, в какие-нибудь лохмотья. Я становлюсь злой. Обругала больную, у меня вырываются грубые слова. Смогу ли выдержать до конца, как поклялась? Я потеряла троих: мать, дочь и брата. Мать не захотела идти в больницу, в молодости там с ней случилось что-то ужасное. Брат, поручик Армии Крайовой, участвовал в Варшавском восстании, был тяжело ранен. Его вытащила из-под развалин и на носилках доволокла до госпиталя девятнадцатилетняя санитарка, я знаю только, что подпольный псевдоним у нее был Аня: меня так зовут. Случилось это 23 августа. Он был ранен в грудь. Целую неделю она спасала ему жизнь. 29 августа бомба попала в госпиталь и убила обоих. Они лежат рядом на восьмом участке военного кладбища на Повонзках[1], где лежат повстанцы. Я тогда поклялась, что и я когда-нибудь буду делать добро, что придет время, и я сделаю для кого-нибудь то, что сделала Аня. За двадцать лет ничего не сделала. Уход из торговли стал толчком, чтобы в последние минуты

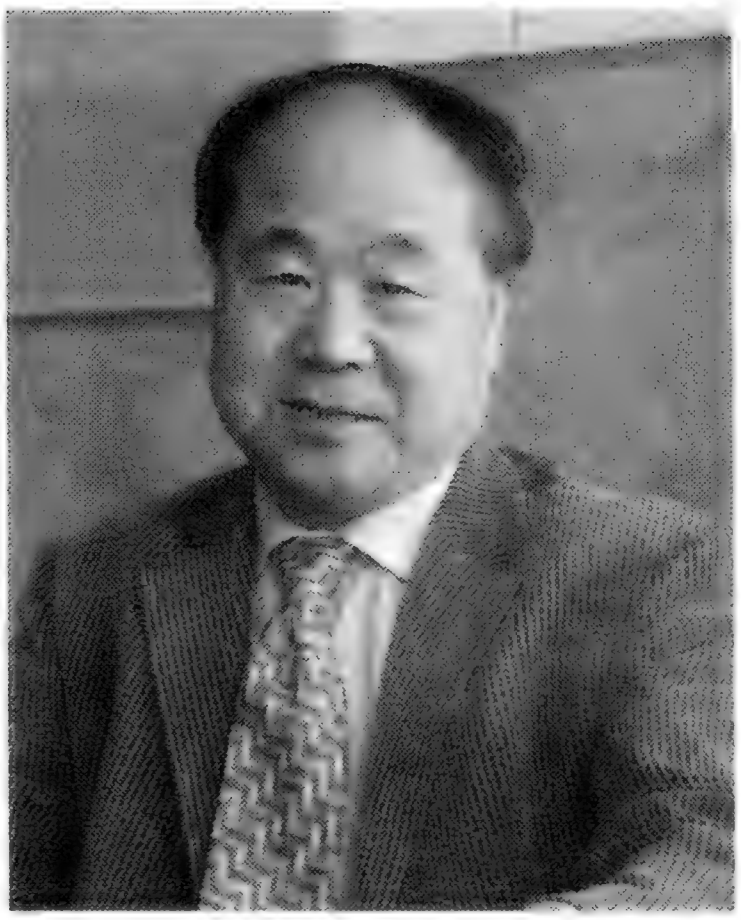
1. Самый старый и известный некрополь Варшавы.

деятельной жизни отдать людям хоть частичку того, что совершила та Аня.

Все силы, потраченные на единоборство с каменными глыбами, из-под которых девушка с псевдонимом Аня вытащила раненого, неимоверные усилия, затраченные на то, чтобы дотащить носилки, спустя четверть века воплощаются в точные размеренные движения рук Ани на каждом этапе смены постельного белья. Оттащить больного на грязной простыне к краю кровати. Расстелить на освободившемся месте чистую простыню. Перевернуть и перекатить больного на место, застеленное чистой простыней. Снять с другой половины кровати грязную простыню и расправить свежую. Потом — в обратный путь по коридору, от Владивостока до Лиссабона, с кучей грязного белья.

— Скажите — говорит Аня, — эта голубая плитка что-нибудь означает?

Мо Янь



Нобелевская премия 2012 года

Сказитель

Нобелевская лекция

Перевод с китайского Игоря Егорова

Уважаемые члены Шведской академии, дамы и господа!

По телевидению или через интернет все присутствующие, в той или иной степени, вероятно уже получили представление о Гаоми, моей далекой родине на северо-востоке Китая. Может быть, вы видели моего девяностолетнего отца, моих старших братьев и сестер, мою жену, дочку и внучку, которой исполнился год и четыре месяца. Но человека, о котором я больше всего думаю в этот момент, мою мать, вам уже не увидеть. Многие разделили мою славу после присуждения мне этой премии, многие, кроме матушки.

Она родилась в 1922 году и скончалась в 1994-м. Мы похоронили ее в персиковом саду к востоку от деревни. В прошлом году пришлось перенести могилу еще дальше от деревни, потому что в том месте должна была пройти железная дорога. Раскопав могилу, мы увидели, что гроб уже сгнил и останки

© The Nobel Foundation (2012)
Source: http://nobelprize.org
© Игорь Егоров. Перевод, 2013

матушки смешались с землей. Нам ничего не оставалось, как только символически перенести часть могильной земли на новое место. Именно тогда я почувствовал, что матушка стала одним целым с землей и что, обращаясь к родной земле, я обращаюсь к ней.

Я был у нее самым младшим.

Первое, что запомнилось с детских лет — как я ходил с нашим единственным термосом в столовую коммуны за кипятком. От голода я был слабенький, по дороге термос выпал у меня из рук и разбился. Я страшно перепугался и весь день прятался в стоге сена. К вечеру я услышал, что мать зовет меня, и выбрался из стога, готовый получить взбучку. Но матушка не отшлепала меня и даже не ругала. Она лишь потрепала меня по голове и тяжело вздохнула.

Самое мучительное воспоминание — о том, как мы с матушкой ходили на общественное пшеничное поле подбирать колоски. Когда показался сторож, все бросились врассыпную. Матушка на своих маленьких ножках быстро передвигаться не могла, верзила-сторож настиг ее и ударил по лицу так, что она повалилась на землю. Потом забрал наши колоски и, насвистывая, удалился. Матушка сидела на земле, по разбитой губе текла кровь, этого отчаяния на ее лице мне не забыть вовек. Много лет спустя я встретил этого сторожа, уже седовласого старика, на рынке, рванулся было к нему, чтобы отомстить, но матушка удержала меня: “Сынок, этот старик совсем не тот, что тогда ударил меня”, — спокойно сказала она.

Глубоко врезалось в память еще одно. Был праздник Середины осени[1], и мы налепили пельменей, по плошке каждому. В полдень, когда все сели за стол, к воротам нашего дома подошел пожилой нищий. Чтобы отделаться от него, я поднес ему полплошки сушеного батата. “Сами пельмени едите, — возмутился он, — а меня, старика, бататами потчуете, что вы за люди?” Тут рассердился я: “Мы тоже пельмени едим лишь пару раз в году, по маленькой плошке, разве этим наешься! Скажи спасибо, что бататы получил, а не устраивает — проваливай!” Но матушка отчитала меня и отложила половину своих пельменей в плошку нищему.

Больше всего я корю себя за тот памятный случай, когда я помогал матушке продавать капусту и — то ли умышленно, то

1. Праздник середины осени — праздник любования полной луной, приходится на 15-й день 8-го месяца (полнолуние) по китайскому календарю, что примерно соответствует второй половине сентября. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ли нет — обсчитал одного пожилого покупателя на один цзяо, гривенник. Пересчитав выручку, я отправился в школу. По возвращении домой увидел мать всю в слезах, а плакала она крайне редко. Она не стала бранить меня, а лишь еле слышно проговорила: "Мне было стыдно за тебя, сынок".

Мне было лет двенадцать-тринадцать, когда у матушки открылась серьезная болезнь легких. Из-за голода, болезней и непосильной работы для нашей семьи настали тяжелые, беспросветные дни, и надеяться было не на что. Меня одолевали скверные предчувствия, мне казалось, что в любой момент матушка может покончить с собой. Возвращаясь с работы, я первым делом громко звал ее, и, когда она откликалась, у меня будто камень с души падал. А не слыша отклика, я бросался в панике искать ее и в пристройке, и там, где мы мололи зерно. Как-то раз я обшарил все вокруг и, не найдя матушку, сел во дворе и разревелся. Тут она появилась с кипой хвороста на спине и очень расстроилась из-за меня. Я не мог признаться в своих страхах, но она будто насквозь меня видела. "Не переживай, сынок, — сказала она. — Хоть и радости в жизни нет никакой, но пока властитель преисподней не призовет меня, никуда я не денусь".

Родился я далеко не красавцем. Из-за своей уродливой внешности в деревне нередко приходилось выносить насмешки, а в школе — и тумаки от задир-одноклассников. Когда я приходил в слезах домой, матушка утешала меня: "Никакой ты не урод, сынок. Разве у тебя носа нет или глаза? Руки-ноги на месте, где тут уродство? А вот если иметь доброе сердце и делать добрые дела, даже уродливое станет прекрасным". И потом, когда я переехал в город, бывало даже, люди образованные потешались над моей внешностью и за моей спиной, и даже в глаза. Но я вспоминал матушкины слова и спокойно приносил им извинения.

Матушка была неграмотной и очень уважала тех, кто умел читать. Жили мы трудно и часто не знали, что будем есть завтра, но она никогда не отказывала мне в просьбе купить книгу или что-то из письменных принадлежностей. Сама труженица, она терпеть не могла, когда дети ленились, но меня, если я не успевал выполнить свои обязанности из-за чтения, никогда не ругала.

Когда однажды на рынок пришел сказитель — шошуды, я улизнул, чтобы послушать его, позабыв про порученную мне работу, и матушка осталась недовольна. В тот же вечер, когда она при свете масляного светильника прошивала для нас одежду на подкладке, я не выдержал и стал пересказывать ей услышанное. Поначалу она слушала нетерпеливо, потому что считала, что сказители — люди несерьезные и делом занимаются недостой-

ным: что они могут сказать доброго? Но мало-помалу мои пересказы увлекли ее, и с тех пор в базарный день она никаких поручений мне не давала, это было молчаливое разрешение пойти на рынок и послушать что-то новенькое. Чтобы отплатить матушке за доброту, а также блеснуть своей прекрасной памятью, я живо и образно пересказывал ей услышанное днем.

Вскоре меня перестал устраивать простой пересказ историй сказителя, и я стал их приукрашивать. Переделывал на ее вкус, перестраивал сюжет, а иногда даже менял концовку. Слушала меня уже не одна матушка, мою аудиторию составляли и старшие сестры, тетушки и даже бабушка. Бывало, прослушав очередную историю, матушка с глубоким беспокойством говорила, то ли обращаясь ко мне, то ли говоря сама с собой: "Что из тебя получится, когда ты вырастешь, сынок? Неужели такой болтовней будешь себе на жизнь зарабатывать?"

Я понимал, что́ ее тревожило, потому что в нашей деревне говорливых детей не жаловали, считалось, что они могут однажды навлечь беду и на себя, и на семью. Отчасти похож на меня в детстве маленький говорун из моего рассказа "Быки", которого в деревне терпеть не могли. Матушка часто наказывала мне поменьше молоть языком, она надеялась, что я буду неразговорчивым, правильным ребенком, на которого можно положиться. Однако во мне проснулось не только поразительное умение говорить, это было еще и непреодолимое желание что-то сказать, что, вне сомнения, было очень небезопасно. Мои способности рассказчика приносили матушке радость, но в то же время ее мучили и глубокие сомнения.

Поговорка гласит: "Легче сдвинуть горы или изменить русло реки, чем переделать натуру человека". Несмотря на усердные наставления родителей, я своей природной склонности много говорить не изменил, отсюда, будто в насмешку над самим собой, и мое имя — Мо Янь[1].

Начальную школу я так и не закончил, для тяжелой работы был еще мал, силенок не хватало, вот меня и определили пасти скот на поросшем травой берегу реки. Гоня своих коров и коз мимо школьных ворот, я видел бывших одноклассников, игравших во дворе, и всякий раз на сердце ложилась печаль. Это заставило меня глубоко проникнуться тем, как это тяжело для человека — даже для ребенка — оторваться от коллектива.

Я отпускал своих подопечных пастись на берегу под бескрайним, как море, небом, где, насколько хватало глаз, про-

1. Мо Янь — дословно "не говори".

стирались луга и ни души вокруг, где не было слышно человеческой речи и раздавались лишь птичьи трели. Мне было одиноко и тоскливо. Бывало, я лежал на траве и смотрел, как лениво проплывают мимо белые облака, и в голове рождалось множество причудливых фантазий. В наших краях ходило немало рассказов о лисах, которые оборачивались прекрасными женщинами. Я представлял себе, что вот-вот явится одна из этих красавиц, чтобы вместе со мной пасти скотину, но она так и не пришла. Хотя однажды из зарослей травы у меня перед носом выскочила огненно-рыжая лиса. Я перепугался так, что аж шлепнулся задом на землю. Ее давно уже и след простыл, а я все сидел и дрожал. Иногда я устраивался на корточках рядом с коровой, глядя на свое перевернутое отражение в лазури ее глаз, вел разговоры с птицами в небесах, подражая их щебету, а иногда изливал свои душевные переживания деревьям. Но ни птицы, ни деревья не обращали на меня внимания. Много лет спустя, уже став писателем, немало фантазий тех лет я включил в свои книги. Многие превозносят меня за силу образности, а некоторые любители литературы надеются, что я раскрою секрет, как я в себе эту способность выработал. На это я могу лишь горько усмехнуться.

Как сказал Лао-цзы, великий мудрец древнего Китая, "в удаче сокрыта неудача, несчастье может обернуться счастьем". В детстве я недоучился, с лихвой познал, что такое голод и одиночество, мучился от нехватки книг, но в силу этого, подобно писателю предыдущего поколения Шэнь Цуньвэню[1], рано приобщился к великой книге жизни. Мои походы на рынок, чтобы послушать сказителя, как раз и стали одной из страниц этой великой книги.

Доучиться в школе мне не пришлось, я погрузился в мир взрослых и начался долгий путь познания жизни, когда я учился слушая. Двести лет назад в моих родных местах появился Пу Сунлин[2], сказитель величайшего таланта, и многие у нас в деревнях, в том числе и я, — продолжатели заложенной им традиции. Где бы я ни находился — работал ли со всеми в поле, в коровнике или конюшне большой производственной бригады, лежал ли на теплом кане[3] с дедушкой и бабушкой и

1. Шэнь Цуньвэнь (1902–1988) — китайский писатель, автор лирической прозы, уделявший большое внимание классическим традициям, сторонник духовной независимости в творчестве.
2. Пу Сунлин (1640–1715) — новеллист из провинции Шаньдун, автор широко известных "Записок о необычайном", собрании фантастических новелл на основе народных сказаний и даосских легенд.
3. Кан — отапливаемая лежанка в традиционном китайском доме.

даже когда покачивался на запряженной быками телеге, — везде в ушах у меня звучало невероятное множество рассказов: волшебных историй про духов и оборотней, исторических сказаний, захватывающих и любопытных. Эти рассказы, тесно связанные с природой нашего края, с историей семей и родов, вызывали во мне острое чувство реальности.

Даже во сне я не мог представить, что настанет день и все это станет материалом для моих сочинений. Тогда я был лишь мальчиком, которому безумно нравились эти истории, который с упоением слушал все, что рассказывали. Тогда я, несомненно, был теистом и верил, что у всего вокруг есть душа. Большое дерево могло вызвать у меня уважение. Казалось, что птица может в любой момент превратиться в человека, а при виде незнакомца я начинал подозревать, не обратившееся ли это человеком животное. Вечером, когда после отметки трудодней я возвращался из большой производственной бригады домой, меня охватывал невыразимый страх, и для храбрости я на бегу горланил песни. У меня в то время ломался голос, я хрипел и сипел на все лады, и моим односельчанам, наверное, нелегко было слушать такое.

Так я и прожил двадцать один год в своей деревне, не побывав за это время нигде дальше Циндао[1], куда ездил один раз на поезде и чуть не потерялся среди огромных штабелей леса на лесопилке. Когда матушка спросила, что я видел в Циндао, я с грустью признался — ничего, одни штабеля леса. Но именно эта поездка в Циндао зародила во мне жгучее желание уехать из родных мест и посмотреть мир.

В феврале 1976 года меня призвали в армию, и я покинул родные места, дунбэйский[2] Гаоми, который и любил, и ненавидел. За плечами у меня был вещмешок с четырехтомником "Краткой истории Китая", купленным на деньги, которые выручила матушка от продажи своих свадебных украшений. Начался важный период моей жизни. Должен признать, что, если бы не тридцать с лишним лет громадного развития и прогресса китайского общества, если бы не политика реформ и открытости, такого писателя, как я, могло бы и не быть.

Живя однообразной армейской жизнью, я с воодушевлением встретил идеологическое раскрепощение и литературный подъем восьмидесятых годов, и из мальчика, любившего слушать рассказы и пересказывать их, стал человеком, пытавшимся переложить их на бумагу. Путь этот поначалу был не-

1. Циндао — порт в провинции Шаньдун.
2. Дунбэй — собирательное название северо-восточных провинций Китая.

гладким, тогда я еще не осознал, какой богатый литературный материал представляет собой мой двадцатилетний опыт жизни в деревне. Тогда я полагал, что занятие литературой предполагает писать о хороших людях, творящих добрые дела, то есть про героев, образцовым деяниям которых нужно подражать. Поэтому хоть я и опубликовал несколько произведений, литературной ценности они не имели.

Осенью 1984 года меня приняли на факультет литературы Академии искусств Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Там под руководством своего уважаемого наставника, известного писателя Сюй Хуайчжуна, я написал несколько повестей и рассказов, таких как "Осенний паводок", "Высохшая река", "Прозрачная краснобокая редиска" и "Красный гаолян". Именно в "Осеннем паводке" впервые появилось словосочетание "дунбэйский Гаоми", и с тех пор, подобно странствующему крестьянину-батраку, который обрел свой клочок земли, я, этакий литературный бродяга, наконец нашел себе пристанище. Должен признать, что в процессе создания моего литературного мира, дунбэйского Гаоми, я испытал очень серьезное воздействие американца Уильяма Фолкнера и колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса. Не то чтобы я много читал и того и другого, я вдохновился их беспримерным по дерзновенности духом, поняв, что у писателя должен быть уголок, который принадлежит ему одному. Это в повседневной жизни нужно быть скромным и уступчивым, а в литературном творчестве следует держаться высокомерно и действовать по своему произволу. Два года я следовал этим двум мастерам, прежде чем осознал, что необходимо как можно скорее избавиться от них. Вот как я написал об этом в одном эссе: они — два пылающих очага, а я — кусок льда, и если окажусь слишком близко, то растаю. В моем понимании, один писатель может испытать влияние другого в том случае, если в глубине души они в чем-то походят друг на друга, то что называется — "воедино трепещут сердца"[1]. Поэтому, хоть я и не знакомился с их произведениями основательно, по прочтении нескольких страниц стало понятно, что́ они делают и как. После этого стало ясно, что́ и как нужно делать мне.

Моя задача на самом деле была несложной: писать по-своему и о своем. По-своему — значило в хорошо знакомой мне манере рыночных сказителей, так же как рассказывали мои

1. Выражение восходит к строке из стихотворения танского поэта Ли Шанъиня (813–858) "Воедино трепещут сердца — рога волшебного носорога".

дед с бабушкой и деревенские старики. Честно говоря, когда я рассказывал свои истории, я никогда не задумывался, кто может оказаться моим слушателем: может быть, такие, как моя матушка, или я сам. Мои рассказы поначалу были основаны на моем собственном опыте. Взять, например, получившего взбучку постреленка в "Высохшей реке" или не сказавшего ни слова мальца в "Прозрачной краснобокой редиске". Я действительно получал нагоняи от отца, сделав что-нибудь не так, и на самом деле раздувал мехи для кузнеца на строительстве моста. Конечно, личный опыт не перенесешь в рассказ именно так, как это было в действительности, каким бы необыкновенным он ни был. В прозе должна присутствовать выдумка, должна быть образность. Многие друзья считают моим лучшим произведением "Прозрачную краснобокую редиску". Я и не возражаю, и не соглашаюсь, но считаю, что "Прозрачная краснобокая редиска" — самое символичное и самое глубокое по смыслу из того, что мной написано. Этот смуглый малец с его сверхчеловеческой способностью выносить страдания и сверхчеловеческой чувствительностью — душа всего моего литературного творчества. Потом я создал немало персонажей, но ни один не близок моей душе так, как он. Или если выразиться по-другому, среди всех созданных писателем героев всегда есть один ведущий. Для меня таков этот молчаливый малец. Ни слова не говоря, он уверенно ведет за собой самых разных людей, и на сцене дунбэйского Гаоми разыгрывается страстное представление.

О себе много не расскажешь, и, когда запас своего опыта иссякает, приходится рассказывать о других. И вот из глубин моей памяти, будто солдаты по тревоге, собираются рассказы о моих родственниках, об односельчанах, а также истории о предках, слышанные когда-то от стариков. Все они с надеждой смотрят на меня, ожидая, когда я напишу о них. Мой дед, бабушка, отец, мать, старшие братья и сестры, тетушки и дядья, моя жена и дочь — все они появляются на страницах моих произведений. В эпизодах участвуют и многие земляки из дунбэйского Гаоми. Конечно, после литературной обработки и превращения в героев произведений их образы превосходят жизненные прототипы.

В моем последнем романе — "Лягушки" — фигурирует образ моей тетушки. После присуждения мне Нобелевской премии множество журналистов стали осаждать ее с просьбами дать интервью. Поначалу она терпеливо отвечала на вопросы, но вскоре ей это страшно надоело, и она сбежала в уездный город, чтобы укрыться у сына. Я действительно писал роман с нее, но моя тетушка отличается от героини романа, как

небо и земля. В романе она своевольна и деспотична, а иногда действует чуть ли не как разбойник с большой дороги, а моя тетушка в жизни доброжелательна и приветлива, образец жены и любящей матери. Жизнь тетушки на склоне лет была счастливой и полной; а в романе она с годами потеряла сон из-за невыносимых душевных мучений и бродила как привидение по ночам в своем черном халате. Я благодарен тетушке за ее снисходительное отношение, она ничуть не рассердилась на меня за то, что я изобразил ее совсем другой. Я отношусь к ней с большим уважением еще и за то, что она верно понимает непростую связь между литературным персонажем и реальным человеком.

Когда скончалась матушка, меня охватило такое огромное горе, что я решил посвятить ей роман. Это роман "Большая грудь, широкий зад". Как только замысел обрел форму, я был настолько переполнен эмоциями, что набросал первый вариант романа объемом в полмиллиона иероглифов всего за восемьдесят три дня.

В романе "Большая грудь, широкий зад" я беззастенчиво использовал материалы, связанные с жизнью самой матушки, однако чувства и характер матери в книге или полностью выдуманы, или списаны со многих матерей дунбэйского Гаоми. И хотя я написал "Посвящаю духу моей матери на небесах", на самом деле роман посвящен всем матерям Поднебесной. Это проявление того же сумасбродного притязания, что и мое стремление воплотить в крошечном дунбэйском Гаоми весь Китай и даже весь мир.

Творческий процесс у каждого писателя имеет свои особенности, замысел и источник вдохновения для каждого моего произведения тоже не совсем одинаковы. Одни, такие как "Прозрачная краснобокая редиска", обязаны своим рождением миру вымысла, другие, например "Чесночные напевы", — основаны на реальных событиях. Но лишь в сочетании с личным опытом человека и этот мир вымысла, и действительность становятся, в конечном счете, литературным произведением с ярко выраженной индивидуальностью, с типичными персонажами, имеющими немало выразительных подробностей, с богатым языком и оригинальной композицией. Стоит отметить, что именно в "Чесночных напевах" я ввожу как одного из главных героев реально существующего сказителя и певца. К моему великому сожалению, я использовал настоящее имя этого сказителя, хотя, конечно, все, что он делает в романе, придумано. Такое у меня случается нередко: вначале я использую настоящие имена в надежде обрести от этого некую близость к героям. Но в конце работы над книгой, когда я

собираюсь изменить их имена, возникает ощущение, что это уже невозможно. Поэтому бывает, что люди с такими же именами, как у героев моих книг, приходят к моему отцу, чтобы выразить свое неудовольствие. Отец приносит извинения и в то же время призывает не принимать этого близко к сердцу. "Вот, например, первая фраза из 'Красного гаоляна' — 'Мой отец, это бандитское отродье' — меня не огорчает, так с чего и вам переживать?"

Наибольшей трудностью при написании "Чесночных напевов", произведения, в котором описывается происходящее в современном обществе, для меня было не то, осмелюсь ли я подвергнуть критике темные общественные явления, а то, что из-за яростных эмоций и гнева верх над литературой может взять политика, и роман тогда превратится в репортаж о событии в обществе. Как член общества писатель, конечно, имеет свою позицию и свою точку зрения; но при создании произведения он должен выступать как гуманист, и люди у него должны оставаться людьми. Лишь тогда литература сможет не только отталкиваться от какого-то события, но и идти дальше его, не только интересоваться политикой, но и превосходить ее.

Долгое время моя жизнь была полна лишений, и, возможно, благодаря этому я приобрел довольно глубокое понимание человеческой природы. Я знаю, что такое настоящая храбрость, понимаю, что такое настоящее сострадание. Я знаю, что в душе каждого человека есть некая туманная область, где трудно сказать, что правильно и что неправильно, что есть добро и что есть зло. Как раз там и есть где развернуться таланту писателя. И если в произведении точно и живо описывается эта полная противоречий, туманная область, оно непременно выходит за рамки политики и обусловливает высокий уровень литературного мастерства.

Наверное, утомительно слушать, как я говорю и говорю о своих произведениях, но моя жизнь тесно связана с ними, и если я не буду говорить о них, то не знаю, о чем еще и говорить. Поэтому надеюсь, вы меня простите.

В своих ранних произведениях я выступал как современный сказитель, укрывающийся за литературным стилем, но начиная с романа "Сандаловая казнь" я наконец вышел из-за кулис на авансцену. Если мою раннюю прозу можно назвать разговорами с самим собой, а не с читателем, то в этом романе я уже представлял, как стою на площади и веду живой и образный рассказ перед многочисленными слушателями. Это общемировая, но в еще большей степени китайская, литературная традиция. Одно время я активно изучал западную мо-

дернистскую литературу и экспериментировал с самыми разными формами изложения, но в конце концов вернулся к традиции. Конечно, это было возвращение не без внесения нового. Стиль "Сандаловой смерти" и последующих романов продолжает традиции китайской классической прозы и в то же время использует опыт западных литературных приемов. В области литературы новшество в основном и является результатом подобного смешения. Это не только смешение отечественной литературной традиции с литературными приемами других стран, но и привлечение иных видов искусства. В романе "Сандаловая смерть", например, присутствует популярная местная разновидность пекинской оперы[1], а питательной средой для некоторых моих ранних произведений были изящные искусства, музыка и даже акробатика.

Напоследок позвольте сказать пару слов о романе "Жизнь — мучение, смерть — не избавление". Китайское название романа взято из буддийских священных книг, и, насколько мне известно, переводчики из разных стран долго ломают голову, как его передать. Я не большой знаток буддийских канонов, и мое представление о буддизме, конечно же, весьма поверхностное. Выбрал я это название потому, что, как мне кажется, немало основных идей буддизма являют собой поистине вселенское сознание, и в глазах буддиста многие распри в мире людей абсолютно не имеют смысла. С этой возвышенной точки зрения мир людей полон скорби. Но мой роман не проповедь; в нем я пишу о судьбе человека и о человеческих чувствах, о человеческой ограниченности и снисходительности, а также о том, какие усилия прилагают люди и на какие идут жертвы в поисках счастья и отстаивании своей веры. Лань Лянь, персонаж романа, который в одиночку противостоит веяниям эпохи, с моей точки зрения — настоящий герой. Прототипом этого персонажа стал крестьянин из соседней деревни. Маленьким я часто видел, как он толкал мимо нашего дома скрипучую тележку на деревянных колесах. Тележку тащил хромой мул, а мула вела на своих маленьких бинтованных ножках жена этого крестьянина. В коллективном обществе того времени эта необычная трудовая артель была настолько странным и отсталым явлением, что нам, детям, они казались шутами гороховыми, идущими против веления времени. Это вызывало у нас такое негодование, что мы забрасывали их камнями. Спустя много лет, когда я начал писать, этот крестьянин и эта картина всплыли у меня

1. Пекинская опера — собирательное название китайского традиционного музыкального театра в его самой распространенной разновидности.

в мозгу, и я понял, что однажды напишу о нем книгу, что рано или поздно поведаю о нем миру. Но лишь в 2005 году, когда я увидел на стене в одном буддийском храме изображение колеса Сансары[1], мне стало ясно, как именно я напишу эту книгу.

Присуждение мне Нобелевской премии вызвало некоторую полемику. Поначалу я решил, что объектом этой полемики являюсь я, но постепенно понял, что это не имеет ко мне никакого отношения. Я наблюдал за разыгрывающимся вокруг меня представлением, как зритель в театре. Видел, как лауреата премии осыпают цветами, забрасывают камнями и поливают грязью. Я боялся, что его раздавят, но он с усмешкой выбрался из-под цветов и камней, утерся от грязи, спокойно отошел в сторону и обратился к толпе.

Для писателя лучший способ высказаться — положить свои слова на бумагу. Все, что я хочу сказать, вы найдете в моих книгах. Слово сказанное унесет ветер, а слово, написанное кистью, переживет века. Надеюсь, у вас достанет терпения почитать мои книги, хотя, конечно, я не могу заставить вас читать их. И даже если вы прочтете их, я не уверен, что вы перемените свое мнение обо мне. Еще не было такого писателя, произведения которого нравились бы всем, тем более в такое время, как сегодня.

Я предпочел бы больше не говорить ничего, но сегодня по этому случаю мне приходится говорить, и я скажу лишь еще несколько слов.

Я — сказитель и хочу рассказать следующие истории.

В 1960-е годы, когда я учился в третьем классе, мы всей школой пришли на выставку, посвященную страданиям в старом обществе, где по указанию учителя заливались горькими слезами. Чтобы учитель видел, какой я молодец, я слез не утирал. И вдруг увидел, что кое-кто из одноклассников украдкой плюет на руки и размазывает слюну по лицу, чтобы выдать ее за слезы. А еще среди плакавших по-настоящему и изображавших, что плачут, я увидел одного мальчика без единой слезинки на лице, который не издал ни звука и даже не закрывал лицо руками. Он просто смотрел на нас широко открытыми глазами, в которых стояло выражение не то изумления, не то конфуза. После посещения выставки я доложил о поведении этого ученика учителю, и тот был в назидание наказан. Спустя годы, когда я покаялся учителю в том, как мне стыдно за этот донос, учитель сказал, что в тот день с тем же к нему пришло больше десятка человек. Одноклассник этот умер лет за

1. Сансара — в буддизме круговорот возможных перерождений.

десять до того, и всякий раз, когда я вспоминал о нем, меня мучила совесть. Но я вынес из этого случая одну важную истину: когда все вокруг плачут, кому-то может быть позволено и не плакать. Тем более когда слезы притворные.

А вот еще одна история. Более тридцати лет назад я еще служил в армии. Однажды вечером, когда я сидел в кабинете и читал, открылась дверь и вошел какой-то высокий офицер. Он глянул на место передо мной и пробормотал себе под нос: "Хм, ни души..." Тут я вскочил и громко заявил: "А я не человек, что ли?" У того под моим взглядом аж уши побагровели, и он в смущении удалился. Я долго потом ходил довольный собой, считая себя этаким удальцом, но прошло много лет, и я мучаюсь из-за этого.

А теперь моя последняя история, ее много лет назад рассказал мне мой дед. Однажды восемь каменщиков, отправившихся на заработки, укрылись от грозы в ветхом храме. Снаружи раздавались раскаты грома, за воротами храма один за другим прокатывались огненные шары, в воздухе вроде бы даже слышался рев дракона. У всех душа в пятки ушла, лица побледнели. "Должно быть, кто-то из нас совершил страшное деяние и вызвал гнев небес. Пусть совершивший это сам выйдет из храма и примет наказание, чтобы избавить невинных". Никто, естественно, выходить не пожелал. Тогда еще один предложил: "Раз никто выходить не хочет, давайте все бросим наружу свои шляпы. Чья шляпа вылетит в ворота, тот это деяние и совершил, того мы и попросим выйти и принять наказание". Стали они бросать свои соломенные шляпы. Семь шляп под силой ветра залетели обратно в храм, и лишь одна вылетела через ворота. Все насели на этого восьмого, чтобы он вышел и понес наказание, а когда он, как и следовало ожидать, отказался, подхватили и выбросили за ворота. Все, наверное, уже догадались, чем закончилась эта история: как только этого человека вышвырнули, ветхий храм тут же обвалился.

Я — сказитель.

Благодаря своим историям я получил Нобелевскую премию по литературе.

После присуждения мне премии произошло немало ярких событий, и это еще больше укрепило мою убежденность в существовании правды и справедливости.

Отныне я и дальше буду рассказывать свои истории.

Благодарю всех присутствующих.

7 декабря 2012 года

Вера Калмыкова

Что остается от автора, или Русский Рильке

Рильке Р. М. *Собрание сочинений в 3 тт.* / Пер. с нем.; вступ. ст. Е. Витковского. — М.: Престиж Бук, 2012; Р. М. Рильке. *Записки Мартина Лауридса Бригге.* / Пер. с нем. В. Летучего. — М.: Русский импульс, 2012

Отечественная "рилькеана" складывается вот уже больше ста лет, и скажем без всяких преувеличений, что Райнер Мария Рильке оказался для русского читателя едва ли не самым интимно-любимым иноязычным автором XX века. Так уж случилось, что к его творчеству обращались крупнейшие переводчики столетия; нынешние издания — и трехтомник, куда входят основные произведения автора как поэтические, так и прозаические, и однотомник, содержащий только роман "Записки Мартина Лауридса Бригге", — безусловно, в магазинах не залежатся. И потому меньше всего хотелось бы их рекламировать, а вот поговорить о феномене "русского Рильке", пожалуй, стоит.

...Рассказывая в предисловии к трехтомнику о том, как поэзия Райнера Марии Рильке вошла в его жизнь, переводчик Владимир Летучий обмолвился: "С этого времени я не напечатал ни одного своего стихотворения; больше того — я перестал записывать свои стихи, если "осеняло", — я, так сказать, чистый поэт-переводчик. Думаю, что это стихотворческое воздержание полезно: у пишущих свои стихи поневоле вырабатывается так называемый стиль, и он неизбежно проецируется на переводимого поэта, а если переводишь нескольких, то на всех".

Требуется сделать одно уточнение: "с этого времени" означает "с момента публикаций первых переводов из Рильке, сделанных Владимиром Летучим", то есть с 1975 года.

В конце своего очерка Летучий анализирует ситуацию, сложившуюся вокруг "русского Рильке": "Думается, что понятие 'перевод' обрело слишком расширенное толкование и под ним зачастую подразумевается или наличествует нечто совершенно иное: пересказ, переложение, версификация, обработка... подражание, вариация на тему, стилизация... мистификация, то есть умышленная ссылка на якобы имеющийся первоис-

точник... подделка, пародия, вольное сочинение на ту же или почти ту же тему... К Райнеру Марии Рильке приложили руку все". Всем этим способам переводчик противопоставляет цветаевский подход: "...мне хочется, чтобы Рильке говорил — чрез меня. <...> Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу".

Поставленная Летучим проблема — это извечный вопрос о том, что же — или *кого* же — читает человек, не знакомый, или недостаточно знакомый, с языком оригинала и в силу этого не имеющий возможности читать поэзию на том языке, на котором она была создана. Так, автор этих строк считает себя большим поклонником Рильке, но в то же время не владеет немецким. Означает ли это, что русскоязычный читатель получает лишь некий, пусть и тщательно выделанный, суррогат подлинного творчества, или все же его *контакт* с личностью поэта *происходит*? Особенно интересен этот вопрос как раз применительно к творчеству Рильке, миф о "непереводимости" которого является одним из наиболее устойчивых в русской культуре XX века.

Чтобы сделать разговор конкретным, обратимся к двум переводам единственного романа Рильке (и, если по сути, главного его *поэтического* произведения) "Записки Мартина Лауридса Бригге", сделанным в разное время Е. Суриц и В. Летучим. Возьмем для сравнения переводы самого начала текста и посмотрим, как они соотносятся друг с другом. Для начала выделим шрифтом места, идентичные у обоих переводчиков.

Перевод Е. Суриц:

Сюда, значит, приезжают, **чтобы жить**, я-то думал, здесь умирают. Я выходил. Я **видел**: больницы. **Видел человека**, который закачался, **упал**. Его обступили, я был избавлен от остального. **Видел беременную**. **Она тяжело** брела **вдоль высокой теплой стены**, и все ощупывала ее, как проверяла, не делась ли куда-то **стена**. Нет, **стена** никуда не делась. **А** за нею? Я сверился с планом: Maison d'Accouchment. **Хорошо**. Ей помогут разродиться, там это умеют. **Дальше** — rue Saint-Jacques, высокое здание под куполом. В плане — Val-de-grâce, Hôpital militaire. **Мне, собственно, это** было не за чем **знать**, впрочем, не помешает. Улица стала вонять. Воняла, **насколько** я мог **различить**, **йодоформом**, чадом от жареной картошки и **страхом**. **Летом** воняют все города. **Потом я увидел** дом, странно слепой, как в бельмах, в плане он не значился, но я разобрал над дверьми: Asyle de nuit. У входа были **цены**. Я прочел. Сходные цены.

Перевод В. Летучего:

Итак, люди сюда устремляются, **чтобы жить**, я скорее бы предположил — чтобы здесь умереть. Я вышел на улицу. **Видел**: больницы, больницы. **Видел человека**: он вдруг зашатался и **упал**. Люди столпились вокруг него, не знаю, чем все закончилось. **Видел беременную** женщину. **Она тяжело** передвигалась **вдоль высокой теплой стены** и перебирала иногда по ней руками, как бы желая убедиться, что

она, **стена**, еще стоит. Да, **стена** ещё стояла. **А** что за ней? Поискал на моем плане города: Maison d'Accouchment. **Хорошо**. Ее разрешат от бремени — это могут. **Дальше** — rue Saint-Jacques, громадное здание с куполом. На плане обозначено: Val-de-grâce, Hôpital militaire. **Мне, собственно, это знать** ни к чему, но — на всякий случай. В переулок со всех сторон тянулись запахи. Пахло, **насколько** можно **различить**, **йодоформом**, пригаром жареного картофеля, **страхом**. Все города **летом** пахнут. **Потом я увидел** странный, с катарактными окнами дом; на плане не мог его найти, но над дверью еще можно было разобрать: Asyle de nuit. При входе указаны **цены**. Прикинул: недорого.

В обоих переводах насчитывается 157 слов. Из них совпадают 32, то есть без малого пятая часть или около 20 %. Значит ли это, что 20 % текста — *это и есть Рильке*, а остальное — *от переводчиков*?

Проанализируем несколько словоупотреблений. Обратим внимание на вводное "значит" в переводе Суриц и начальное "итак" в переводе Летучего. В русском языке в сходных контекстах "значит" (в значениях "следовательно", "стало быть", "выходит"), выражающее определенное соотношение уверенности и сомнения в речи говорящего, употребляется как в нейтральном, так и в ироническом ключе, сравните: "Ты, значит, решил, что сюда приезжают, чтобы жить?" Продолжение может быть как утвердительным ("И ты прав"), так и отрицательным, сравните: "Нет, сюда приезжают, чтобы умереть". "Итак", в отличие от "значит", преимущественно нейтрально.

"Я-то думал, здесь умирают". — Иронически-утвердительная интонация усиливается с помощью частицы "-то", подчеркивающей уже не только мнение говорящего, но и сомнительность происходящего. "Я скорее бы предположил — чтобы здесь умереть": высказывание воспринимается опять-таки более нейтрально: сомнения говорящего не определены, сформировавшегося мнения у него нет, он действительно лишь предполагает, частица "бы" поддерживает гадательную интонацию. Фраза "Я был избавлен от остального" предполагает негативное восприятие происходящего, навязчиво вторгающегося в сознание. "Не знаю, чем все закончилось" — опять-таки нейтральное высказывание. Интересна разница между двумя высказываниями: "Нет, стена никуда не делась" и "Да, стена еще стояла". Разговорное выражение ("никуда не деться") в первом случае в сочетании с отрицательной частицей создает, учитывая контекст, эффект абсурда происходящего; во втором случае частица "да" снимает обозначившееся в предыдущей фразе отрывка напряжение. Разницу между глаголами "вонять" и "пахнуть" нужно отметить особо: резко негативная окраска в первом случае контрастирует с нейтральной во втором. Определение дома как "странно слепого, как в бельмах", подразумевает глубоко личное переживание ви-

да дома, причем переживание тяжелое, с последующим отталкиванием; меж тем "странный, с катарактными окнами дом", благодаря медицинскому термину, возбуждает и пугает значительно меньше.

В крошечных отрывках из романа перед читателем возникают две разные картины мира, созданные двумя переводчиками одного и того же автора. В переводе Е. Суриц герой романа настроен ко всему происходящему явно враждебно, и враждебность эта лишь смягчается иронией; реальность пугает его, он защищается от нее, заранее отталкивая от себя все непонятное и незнакомое. Он приехал в место, где все умирают, и, по всей видимости, боится, что и его также заставят умереть здесь (тогда, правда, совершенно неясна его уверенность в том, что беременной "помогут разродиться"). В переводе Летучего тот же герой скорее просто изучает местность, о которой у него были некоторые исходные предположения; он смотрит по сторонам непредвзято, проверяя свои первоначальные знания и приходя к некоторым выводам так же, как изучает по плану города неизвестные ему здания.

Перед читателем встает выбор, какую же картину мира счесть "более", а какую — "менее" соответствующей подлиннику Рильке. Художник-символист, как известно, может быть и "оскорбляем" действительностью, и расположен к ней, и в этом смысле тип культуры не изменён ни одним из переводчиков. Остается только понять, в каких отношениях с реальностью находятся Рильке и его автобиографический герой: готовы ли они принять ее или предполагают априори отвергнуть. Для этого требуется анализ всего творчества Рильке в целом, всего контекста его произведений, его поэтики как целого, включая все формально-содержательные аспекты без исключения. Такая задача, разумеется, здесь и сейчас нерешаема, но сейчас главное — просто обозначить ее. Попробуем, однако, поставить еще несколько вопросов.

В трехтомном собрании сочинений, выпущенном издательством "Престиж Бук" в 2012 году, помещены переводы стихотворений Рильке А. Биска, Е. Витковского, В. Леванского, В. Летучего, В. Маккавейского, Ю. Нейман, В. Полетаева, А. Сергеева, Т. Сильман, С. Петрова. Лидирует, безусловно, Владимир Летучий, в чьих переводах вышло не только большинство поэтических произведений, но и весь третий, прозаический, том. Среди остальных авторов преимущественное положение занимают Александр Биск, Тамара Сильман (несмотря на то, что ее переводы традиционно считаются слабыми, хотя у них были и свои поклонники, например, С. Я. Маршак и М. С. Петровых) и Сергей Петров.

Большинство указанных переводчиков либо когда-то писали стихи, либо известны как поэты. Так, ценность оригинального творчества Александра Биска не ставится под сомнение, хотя исследователи

и отмечают специфический "переводческий" уклон его поэтики; к тому же Биск явился первооткрывателем русской рилькеаны, ее исходной точкой. Кстати говоря, примерно такое же соотношение в пропорции "поэт/переводчик", по-видимому, характеризовало и творчество Владимира Маккавейского.

Тамара Сильман также писала стихи, хотя, кажется, они не собраны и не изданы. Вдобавок Сильман — известнейший ученый, исследователь лирики, и в своих научных изысканиях она обращалась к творчеству Рильке, о чем будет сказано чуть позже. Что же касается Сергея Петрова, то этот автор, судя по всему, был в первую очередь поэтом, а затем уже переводчиком. Близкие вспоминают, что и оригинальные произведения, и переводы он писал не так, как большинство коллег (для заработка), а, что называется, для себя, в стол. И "для Бога", прибавляла вдова Александра Петрова. Потому-то и хочется обратиться к оригинальному творчеству Петрова с целью посмотреть, что же в его переводах Рильке — "от Рильке", а что — от него самого. Поскольку переводом поэт начал заниматься в ссылке, то есть на рубеже 1940-х годов, то стоит проанализировать его стихотворения 1930-х — начала 1940-х годов, условно полагая, что в это время оформились базовые принципы его поэтики.

Бросается в глаза, что все стихотворения Рильке из трёхтомника, начинающиеся с местоимения "Я...", переведены именно Петровым. Для сравнения: в оригинальной поэзии Петрова 1930—1943 годов насчитывается 52 стихотворения (среди них одно с вариантом "Аз"), начинающихся аналогичным образом (и это не считая произведений, в которых личное местоимение в начальной или иных формах встречается в первом или во втором стихе, или в первом катрене или строфе). Всего за указанный период автор создал 341 стихотворение. Получается, что почти седьмая часть оригинальных произведений Петрова начинается указанным образом (к слову сказать, та же особенность проявляется в переводах С. Георге, сделанных Петровым).

Известно, что в русском и немецком функция местоимений различна. В немецком без местоимения нельзя определить личное окончание глаголов в предложении. В русском — пожалуйста. Поэтому роль местоимения в русской фразе оказывается не только синтаксической и грамматической, но и акцентной, смысловой.

Другие переводчики начального "я" избегают.

"Своему" Рильке Петров передал все богатство строфики и рифмовки, которым владел (а его виртуозность в области версификации была неоднократно замечена немногими исследователями его поэзии). Вот лишь один пример: в оригинальной поэзии этого автора очень часты составные рифмы типа "табак и — собакой", "террасой — враз их", "лбу их — поцелуях" и другие. Чрезвычайно часто, в сравнении с дру-

гими авторами, Петров насыщал подобной рифмовкой и произведения Рильке ("стародавних – иногда в них", "увели на – тина" и другие). Причем "я" у Петрова входит в состав такой рифмы и в собственных стихах ("я зелье – веселье", "колдуя – стою я" и другие), и в переводах из Рильке. В оригиналах Рильке этот прием, идущий от поэтов барокко, встречается, но далеко не так часто, как в переводах Петрова; к нему прибегал и Биск.

Стоит отметить еще две особенности. Первая – это метафоризация мира. У Рильке, переведенного другими авторами, метафора, например, сада ("я – сад") строится таким образом, что сам лирический герой становится садом, растворяется в нем, перевоплощаясь в окружающий мир. У Петрова сад становится частью личности лирического героя. Коротко говоря, если в поэзии Рильке, по всей вероятности, беседуют *два сада* (эту особенность поэзии Рильке перенял и культивировал Пастернак), то в переводах Петрова из Рильке – то ли *два Рильке*, то ли *два Петрова*, причем, судя по оригинальным стихам переводчика, скорее второе.

Наконец, в исполнении Петрова значительно трансформируется религиозность Рильке. Он становится более "определенным" в своей вере, более христианином, чем экуменистом, которым являлся на самом деле, симпатизируя в равной мере и православию, и магометанству, и буддизму...

Наконец, коснемся переводов из Рильке, сделанных Тамарой Сильман. В знаменитой книге "Заметки о лирике" Сильман не раз обращается к поэзии Рильке, цитирует собственные переводы, особенно часто – перевод стихотворения "Уж рдеет барбарис..." (оно не включено в указанный трехтомник). Вот оно:

Уж рдеет барбарис, и ароматом
Увядших астр
так тяжко дышит сад.
Тот, кто на склоне лета не богат,
Тому уж никогда
не быть богатым.

И кто под тяжестью
прикрытых век
Не различит игру
вечерних бликов
На глади молчаливых,
сонных рек
И сонмы в нём
рождающихся ликов, –
Тот конченый,
тот старый человек.

И день его – зиянье пустоты,
И ложью все к нему обращено.
И Ты, Господь.
И будто камень Ты,
Его влекущий медленно на дно.

Профессиональная установка переводчицы сформулирована ею самой: "Мы попытались сохранить в переводе общую расстановку логических и образных элементов, а также соответствующий им принцип расположения 'звуковых пятен', совпадающих с 'островками образности' внутри стихотворения". Сильман стремилась сохранить звукопись оригинала и настаивала, что это необходимая черта композиции, сообщающая динамизм отдельным элементам стихотворения. Неясным для

читателя остается лишь одно: кто или что имеется в виду, когда употребляется местоимение "в нем" во второй строфе: сад? лето? И как вообще взаимодействуют формы личных местоимений? Стремление к соответствию звука и смысла привело к тому, что, по-видимому, часть смысла произведения оказалась утрачена. Если в переводах Сильман из раннего Рильке преобладает непосредственность интонации, передающая живость наблюдения, то Рильке поздний, становящийся объектом филологического и философского осмысления, кажется автором скорее стихотворных трактатов, чем собственно стихотворений (хотя кто поручится читателю, не знающему немецкого, что это не так?..).

И все же: что остается от автора, что осталось от Рильке? Удивительно, что невзирая на разность переводческих подходов, на качество переводов (бывают же и откровенно плохие, и Рильке в этом смысле особенно "повезло"; правда, в трёхтомник они не включены) и на более-менее высокую меру присутствия личности переводчика в текстах, а значит, и *в воспринимаемой читателем личности самого поэта* (вот что важно, ведь поэзия — это прежде всего общение, стремление найти "свое" у Другого, найти соответствие себе в Другом!), мы всё же *читаем Рильке и понимаем, что читаем именно его.* Личность поэта оказывается сильнее общеязыковых и индивидуально-языковых (филолог сказал бы "идиолектических") свойств переводчиков. Не говоря уже о том, что удачных версий "русского Рильке" за пределами только что вышедшего трехтомника множество, и самый живой пример тому — работа Константина Петровича Богатырева (1925—1976), по иронии судьбы ставшего "крестным отцом" Летучего в создании рилькеаны...

И всё это значит, что в восприятии столь сложного языкового создания, как поэзия, ведущую роль играет не языковая картина мира, а нечто другое, то, чего ни глазами не увидишь, ни словами не напишешь — не прочтешь.

...Феномен, если разобраться.

Среди книг

с Ниной Павловой

Джонатан Литтелл *Благоволительницы*[1] / Перевод Ирины Мельниковой; под редакцией М. Томашевской. – М.: Ad Marginem Пресс, 2011

Роман Джонатана Литтелла "Благоволительницы", вышедший в свет во Франции в 2006 году и переведенный с тех пор на двадцать языков, существует теперь по-русски. Русского читателя он затронет, как кажется, особенно.

Действие развивается на нашей земле в годы Второй мировой войны. Главный герой, оберштурмбанфюрер Макс Ауэ, воюет на Украине, Северном Кавказе, в Сталинграде. Можно подумать, что Литтелл продолжает главную тему послевоенной немецкой литературы – ранних повестей и романов Генриха Бёлля или Гюнтера Грасса. Но сходство не подтверждается. В романе Литтелла героя и автора связывают не сочувствие отправленному на фронт на бессмысленную гибель герою, как это было у Бёлля ("Поезд пришел вовремя", 1949; "Где был ты, Адам?", 1951). Главный персонаж не урод-недоросток, выносящий суровый приговор современной немецкой истории, как в романе Грасса "Жестяной барабан" (1960). Уместней, пожалуй, вспомнить пьесу Петера Вайса "Дознание" (1965), где в фокусе – сознание надсмотрщиков фашистских концлагерей, а кроме того, и отнюдь неоднозначное сознание жертв.

Но и параллель с Вайсом относительна.

Американец Джонатан Литтелл, долгие годы проживший во Франции и написавший свою книгу по-французски, русский еврей по происхождению. Тема уничтожения евреев занимает его в первую очередь. Работая над романом, он провел два года в России, видел места массовых расстрелов. Но горизонт его шире: его занимает близость советского и фашистского режимов, подчинивших себе сознание народов. Писателя интересовало не только – и не столько – бессилие жертв, но идеологи и исполнители преступлений.

Литтелл нарисовал широкую картину первых месяцев войны на территории Советского Союза. Он показал, насколько непрочной на оккупированных землях была советская власть. Но на страницах о Сталинграде, где в 1943 году была разгромлена 6-я германская армия, он отметил и преданность русских родине, и ужас голода, доведшего в "кот-

1. См. "ИЛ", 2009, № 5.

ле" и русских и немцев до людоедства. С той же поразительной и убеждающей точностью он представил последние дни разрушенного Берлина. Но все это не документальные свидетельства — это художественный текст.

Книга Литтелла не производила бы столь сильного впечатления, если бы история не была пропущена через психологию главного персонажа. На этом персонаже и стоит остановиться особо.

В центре романа не скрывающийся в лесу испуганный наступающими русскими молоденький офицер вермахта (таков герой Грасса из книги воспоминаний "Луковица памяти",1980 — немецкая критика упрекала автора, что он скрывал этот факт своей биографии). Герою Литтелла тоже, как постепенно оказывается, есть что скрывать. Но это сокрытое относится не только к событиям истории.

В центре романа, что редко бывало в послевоенной немецкой литературе, персонаж не только наблюдавший, но и участвовавший в уничтожении евреев в Бабьем Яру, участник или свидетель и многих других преступлений рейха. Он же, однако — и это странным образом увязывается в его натуре, — жалеет еврейскую девочку, которую, взявши за руку, ведет к палачу со словами: "Будьте к ней добры..."

Если роман Джонатана Литтелла можно считать выдающимся произведением, то именно благодаря этому. Автор не шаржирует, не ставит мысленно слово "герой" в кавычки. Перед читателем человек. Но это человек, оправдывающий необходимость уничтожения сотен тысяч людей.

Кто же он такой? Что с ним сталось? И каково отношение к нему автора?

На обсуждениях романа в присутствии писателя и в прессе неоднократно поднимался именно этот вопрос[1]. Необычным у Литтелла в контексте немецкой послевоенной литературы было уже само избрание главным лицом романа видного нациста, рассказывающего о себе. Но еще важнее другое: интонированы ли автором слова главного персонажа или они отпущены на свободу? Как осуществляются отношения героя и автора? Слышатся ли, хотя бы интонационно, возражения автора, когда герой рассуждает, например, об уничтожении евреев в Житомире: "Если бы не крики, то все казалось относительно спокойным и упорядоченным".

В замысел книги входит намеренная неопределенность отношений автора и героя.

"Люди-братья, позвольте рассказать вам, как все было", — таким обращением Макса Ауэ, спасшегося после разгрома фашизма во Франции, начинается книга. Следует возражение: "Мы тебе не братья". Но всей логикой книги автор доказывает, что "братьев" много.

В книге Литтелла Макс Ауэ отличается известной широ-

1. Сергей Зенкин. Джонатан Литтелл как русский писатель // Джонатан Литтелл. Благоволительницы. — С. 792, а также "ИЛ" (2008, № 12).

той: он открыт природе, музыке, литературе (между делом читает Стендаля). Чаще он не участник убийств, а наблюдатель. В национал-социализме он видит "высшее": "им овладела страсть к абсолюту". И рассуждает о сходстве двух авторитарных режимов: "Для русских, как и для нас, человек не стоил ничего. Нация, государство стали всем, в этом смысле мы стали отражением друг друга". Или, иначе говоря: у вас народ, у нас раса. Он – "интеллигент". Но евреи и поляки "должны подвергнуться сильному демографическому сокращению".

В послесловии С. Зенкина к русскому изданию приводятся слова автора о роли героя в романе – "мой сканер". Не авторский глаз, а свидетельства Ауэ представляют картину войны, а в конце – картину последних дней Берлина: остовы разрушенных зданий, потоки беженцев, трупы повешенных на деревьях и фонарях. Отчаявшееся население сохраняет еще, однако, веру в фюрера, а дети продолжают играть в войну. Натянутый лозунг напомнит русскому читателю советскую формулу "Спасибо за все нашему фюреру. Др. Геббельс".

С самим фюрером представленный к награде Макс Ауэ встречается единственный раз в конце романа. Он видит бессильного человека. Таким он представал и в документальном фильме М. Ромма "Обыкновенный фашизм": жалкий Гитлер перед шеренгой мальчиков, отправляемых на фронт. В книге Литтелла фюрер, вручая ордена, медленно приближается к доктору Ауэ. Но следует взрыв: "Я наклонился и укусил фюрера сильно, до крови в его нос-картошку".

Документальность по воле автора взрывается гротеском. Укушенный нос не первый раз в этой книге напоминает о русской литературе (вознесшийся Нос в рассказе Гоголя; Ставрогин, "оттаскавший за нос" некоего человека в "Бесах" Достоевского). Литтелл, несомненно, помнил об этих образах.

Предваряя свои мемуары, Ауэ замечает, что этот эпизод не упоминается ни в одной истории войны. Но в романе это не сон и не выдумка. Все идет к концу. Для автора важно сжать это "все" в эпизоде, непредвиденном и немыслимом, – внезапном порыве верноподданного "натянуть нос" Гитлеру. Что это было? Сдвиг сознания? Или вдруг проснувшаяся ненависть? Текст романа допускает оба предположения. Сам Ауэ в дальнейшем повествовании не вспоминает о случившемся. Следуют арест, бегство из-под развалин тюрьмы и по-своему не менее гротескная сцена в зоологическом саду, где в клетке сидит мертвый самец гориллы со штыком в груди. Происходит быстрая смена кадров: Ауэ убивает весьма расположенного к нему друга Томаса. Но до этого – не в первый раз в этой книге – появляется один из двух почти что мифических судейских чиновников, преследовавших Ауэ за совершенное им убийство матери и отчима. Так представлена в этом романе тема судьбы и мстительниц – эриней, иначе Благоволительниц.

А если рассматривать такой конец в художественном аспекте, то это тема переступания границы как акта, неуничтожимого не только в памяти, но и постоянно отзывающегося повторами и подобиями в судьбе человека. Кто раз преступил...

Для смысла романа важна формула Ницше: "Человеческое, слишком человеческое". В романе Литтелла это звучит по-другому: "Нет бесчеловечного, только человеческое". Ведь события истории, напоминает автор, совершаются при участии людей, людского множества.

Тут приходится снова задуматься о некоторых особенностях сюжета.

Зачем автору не такая уж редкая сексуальная извращенность героя? Почему то и дело воскресает на его страницах убийство матери и отчима, от которого герой открещивается почти до конца романа? Дело тут не столько в нем и его свойствах. Сам писатель, как когда-то Брехт, подозрителен к "доброму человеку". Об офицерах, окружавших "уютного" Эйхмана, он написал: "В большинстве своем это были миролюбивые, добропорядочные граждане, выполнявшие свой долг, с гордостью и радостью носившие форму СС, но робкие, не способные проявлять инициативу, всегда с сомнением рассуждавшие "да... но"...

В этом пассаже слышен не только голос Ауэ — это и доведенная до крайности мысль автора. Ведь события истории, напоминает он, совершаются при участии как будто нейтрального множества — "братьев" много.

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

О трагической и героической участи, выпавшей во Второй мировой войне на долю Польши, мы знаем немало, но, как выясняется, далеко не всё. Раскрывать новые страницы борьбы поляков за свободу и независимость помогают личные свидетельства участников исторических событий. Сразу две исключительно важные для понимания польской истории этого периода книги вышли в прошлом году.

Первая из них — *На бесчеловечной земле* **Юзефа Чапского** (Москва-Вроцлав: Летний сад; Коллегиум Восточной Европы им. Яна Новака Езёранского. — 476 с.); перевод выполнен участниками семинара "Трансатлантик" при Польском культурном центре под руководством **К. Я. Старосельской**: **Е. Барзовой**, **Г. Мурадян**, **Е. Губиной**, **М. Алексеевой**, **С. Раввой**, **Е. Шарковой**, **Х. Суртой**, **Н. Кузнецовым**, **В. Волобуевым**. Уникальная жизнь Чапского с ранних лет была связана с Россией. Он родился в 1896-м, в годы Первой мировой был кавалерийским офицером русской армии, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета; в 1918-м уехал в уже независимую Польшу, несколько лет прожил во Франции, затем вернулся, с началом Второй мировой был призван в польскую армию и уже 27 сентября 1939-го под Львовом попал в плен к частям Красной Армии. Собственно, с этого момента и начинается данная книга, первую (меньшую) часть которой составили *Старобельские рассказы* - воспоминания о пребывании в лагере военнопленных с осени 1939-го до весны 1940-го, а основную часть — повествование о формировании на территории Советского Союза польской армии генерала Андерса (в чем Чапский принимал самое активное участие) и о ее истории вплоть до памятного сражения под итальянским Монте-Кассино.

Главный же нерв этой книги то, что постоянно волнует и гложет автора и не дает ему покоя эти несколько "советских" лет — вопрос о судьбе польских военнопленных из лагерей в Старобельске, Козельске и Осташкове. О Катыни стало известно только весной 1943-го, а до этого Чапский, участвовавший в "собирании" по всей России поляков для службы в армии Андерса, безуспешно пытался отыскать следы нескольких тысяч неизвестно куда пропавших в 1940-м пленных офицеров. Особенно впечатляют официальные визиты Чапского на Лубянку, высшие чины которой невозмутимо заявляют, что об этих пленных

им ничего не известно. И здесь обнаруживается очевидный диссонанс между "человечным" желанием выяснить персональную судьбу каждого отдельного офицера и подходом "бесчеловечным", когда отдельная личность — это всего лишь фрагмент той "живой силы", которая вполне способна раствориться в неразберихе военных сражений.

С 1945-го Чапский жил во Франции, где и были написаны эти книги; в Польше они, по понятным причинам, выходили только в подпольных издательствах и лишь в конце 80-х появилось первое официальное издание этих текстов. Уже тогда Анджей Вайда задумал свой фильм о Катыни, и Чапский перед кончиной в 1993-м еще успел побыть его консультантом (изложению версий гибели польских офицеров посвящена отдельная глава книги *На бесчеловечной земле. Правда о Катыни*). Удивительная судьба польского интеллигента, офицера и патриота неразрывно связала его с Россией и вобрала в себя практически весь бурный XX век. И книга его — бесценное свидетельство очевидца и участника.

Другая, не менее удивительная, судьба выпала на долю **Яна Карского**, легендарного курьера польского Сопротивления в годы Второй мировой войны. Так же как и Чапский, в самом начале войны молодой Ян Козелевский (Карский — его будущий подпольный псевдоним) попал в советский плен, однако ему удалось под видом рядового попасть в группу пленных, которые по договоренности с Германией подлежали обмену (офицеры обмену не подлежали) — и уже в ноябре 1939-го он оказался в оккупированнной немцами Варшаве. Следующие же несколько лет стали для него периодом активнейшей работы в конспиративном подполье — с неоднократными нелегальными поездками в Европу для встреч с представителями эмигрантского правительства в Лондоне.

В ноябре 1944-го в обложке, украшенной белым орлом, на прилавках американских книжных магазинов появилась книга Яна Карского *Я свидетельствую перед миром. История подпольного государства* — документальный текст, ценный и невероятными приключениями (не менее увлекательными, чем остросюжетный fiction), и сенсационными фактами (Карский был непосредственным очевидцем гибели евреев в лагерях массового уничтожения). Польское издание книги вышло лишь через пятьдесят пять лет после написания, в 1999-м, а нынешний русский перевод сделан с французского издания, появившегося в 2010-м (пер. с франц. **Н. Мавлевич**. — Москва: Астрель: CORPUS, 2012. — 448 с.). Нелишним будет напомнить, что за перевод этой книги Наталья Мавлевич была удостоена главной ежегодной премии журнала "Иностранная литература": "Иллюминатор".

Человек и государство, сопротивление и конформизм, подвиги и преступления, цена жизни и смерти — темы, подумать над которыми дают повод две эти польские книги. При этом выводы могут быть

не вполне предсказуемыми. С одной стороны, казалось бы, все просто: бесчеловечные государственные машины, которым противостоят отдельные личности, героически сражающиеся за гуманистические идеалы. С другой же, *подпольное государство*, о котором повествует книга Карского, — это структура не менее жесткая, нежели просто государство: ведь оно требует от своих членов безоговорочного выполнения приказов руководства и тотального самопожертвования. В борьбе за свободу народа приходится идти и на невинные жертвы: зная, что за побег задержанного при очередном переходе границы Карского будут расстреляны мирные заложники, этот побег ему все равно организуют.

Чапский вспоминает, как умирающий под Монте-Кассино молодой солдат тихо говорит: *Сколько же крови требует от нас эта Польша. Этих самых солдат я когда-то встречал в волжских степях и записывал в армию*, — пишет Чапский. — *Они были тогда изнурены рабским трудом и трудной дорогой – не люди, а тени, которых не успел еще расстрелять или сгноить в лагерях НКВД. Лишь радость от возврата к жизни или сама встреча с глазу на глаз со смертью рождают эту концентрацию воли и блеск в глазах.* Можно увидеть в этом некий "гуманистический парадокс": с одной стороны, любая отдельная человеческая жизнь уникальна и бесценна, но с другой — подлинно человеческое измерение каждой отдельной личности придается готовностью отдать эту жизнь во имя некой надчеловеческой цели — например, за свободу Родины. Таковы уроки польского Сопротивления.

Джоби Уоррик
Joby Warrick
[р. 1960]. Американский журналист, сотрудник *Вашингтон пост*. Лауреат Пулитцеровской премии [1996].

В *ИЛ* публикуется впервые.
Перевод романа *Тройной агент* выполнен по изданию [*The Triple Agent*. Doubleday, 2011].

Ласло Краснахоркаи
László Krasznahorkai
[р. 1954]. Венгерский писатель-прозаик, сценарист. Лауреат премии Аттилы Йожефа [1987], премии Кошута [2004] и нескольких международных премий.

Автор романов *Сатанинское танго* [*Sátántangó*, 1985], *Меланхолия сопротивления* [*Az ellenállás melankóliája*, 1989], *И пришел Исайя* [*Megjött Ézsaiás*, 1998], *Война и война* [*Háború és háború*, 1999], *С севера гора, с юга озеро, с запада дорога, с востока река* [*Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó*, 2005], *Последний волк* [*Az utolsó farkas*, 2009] и др.
В *ИЛ* опубликован его рассказ *В сумрачном лесу* [2007, № 12].
Публикуемый текст взят из книги *Сейобо спускалась на землю* [*Seiobo járt odalent*. Magvető, 2008].

Марианна Грубер
Marianne Gruber
Австрийская писательница. Лауреат премий имени Джорджа Оруэлла [1984], имени Отто Штёсселя [1986], премии города Вены за книги для детей и юношества [1992], итальянской премии имени Джузеппе Ачерби [1996] и многих других.

Автор сборников короткой прозы *Протоколы страха* [*Protokolle der Angst*, 1983], *Паучиха и другие мрачнейшие истории* [*Die Spinne und dunkelschwarze Geschichte*, 1995], повести *Смерть зуйка* [*Der Tod des Regenpfeifers*, 1991], романов *Стеклянная пуля* [*Die gläserne Kugel*, 1981], *Промежуточная станция* [*Zwischenstation*, 1986; рус. перев. 1995], *Безветрие* [*Windstille*, 1991], *В замок* [*Ins Schloss*, 2004; рус. перев. 2004], *Воспоминания одного паяца* [*Erinnerungen eines Narren*, 2012] и др.
Рассказ *Sag ihnen, sie müssen überleben* взят из сборника *Забыть о страхе. Мужество в обыденной жизни* [*Vergessen was Angst ist. Mut im Alltag*. Baden-Baden: Signal-Verlag, 1986].

Магдалена Тулли
Magdalena Tulli
Польский прозаик, переводчик с итальянского и французского языков. Лауреат ряда литературных премий.

Автор повести *Сны и камни* [*Sny I kamienie*, 1995; рус. перев. 2007], сборника повестей *Красное* [*W czerwieni*, 1998], романов *Наклонения* [*Tryby*, 2003], *Изъян* [*Skaza*, 2006], *Контролер снов* [*Kontroler snów*, 2007, под псевдонимом Marek Nocny].
В *ИЛ* напечатан ее рассказ *Бегство лис* [2013, № 1].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Итальянские шпильки* [*Włoskie szpilki*, Warszawa: Nisza, 2011].

Дионисио Гарсиа Сапико
[р. 1929]. Скульптор, иконописец.

Автор философского трактата *Мировоззрение. Новая монадология* [4-е издание: 2010]. В *ИЛ* напечатаны главы из его книги *Испанец в России* [2011, № 12].

Наталья Родионовна Малиновская
Филолог-испанист, доцент кафедры зарубежной литературы МГУ. Лауреат премии *Иллюминатор* [1996] и премии журнала *Дружба народов* [1999].

Автор цикла статей о творчестве Ф. Гарсиа Лорки, испанском фольклоре, испанском сюрреализме и испанском барокко. С 1977 г. печатается как автор предисловий, переводчик, составитель и комментатор сборников испанской и латиноамериканской прозы [Ф. Гарсиа Лорка, М. Мачадо, Р. Гомер, де ла Серна, Асорин, Х. Ортега-и-Гассет, А. М. Матуте, С. Вальехо, испанские народные сказки, испанская народная поэзия]. Переводила также испанскую драматургию [Ф. Гарсиа Лорка, Асорин, Бенавенте]. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премий *Единорог и Лев* [2006], *Инолиттл* [2007].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многих книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ* опубликовано ее эссе *Горсть мелочи* [2007, № 12], а также в ее переводах напечатаны стихи Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, У. Шекспира, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили, Р. Геррика, Г. Шнакенберг, Р. Фроста, И. Бродского и др.

Уильям Майкл Россетти
William Michael Rossetti
[1829–1919]. Критик и эссеист, издатель.

Автор эссе и биографий, в том числе *Воспоминания о Перси Биши Шелли* [*Memoir of Percy Bysshe Shelley*, 1887], *Жизнеописания знаменитых поэтов: от Чосера до Лонгфелло* [*Lives of Famous Poets from Chaucer to Longfellow*, 1878], *Данте Габриэль Россетти – художник и писатель* [*Dante Gabriel Rossetti as Designer and Writer*, 1889] и др.

Уильям Холман Хант
William Holman Hunt
[1827–1910]. Английский художник, один из основателей Братства прерафаэлитов.

Автор таких картин, как *Риенци клянется отомстить за смерть своего младшего брата, убитого в схватке между кланами Орсини и Колонна* [*Rienzi Vowing to Obtain Justice for the Death of His Young Brother, Slain in a Skirmish between the Colonna and the Orsini Factions*, 1848–1849], *Клаудио и Изабелла* [*Claudio and Isabella*, 1850], *Светоч мира* [*The Light of the World*, 1851–1856] и др.

Джон Рёскин
John Ruskin
[1819–1900]. Искусствовед, философ, писатель, художник.

Автор трудов по искусствоведению, в том числе *Современные художники* [*Modern Painters*, 1843–1860], *Семь светочей архитектуры* [*Seven Lamps of Architecture*, 1849; рус. перев. 2007], *Прерафаэлитство* [*Pre-Raphaelitism*, 1851], *Камни Венеции* [*The Stones of Venice*, 1851–1853], *Верона и ее реки* [*Verona*

and Its Rivers, 1870], *Лекции об искусстве* [*Lectures on Art*, 1870]. *Искусство Англии* [*English Art*, 1883], *Рассветы Флоренции* [*Mornings in Florence*, 1877] и др., также романа *Король Золотой реки* [*The King of the Golden River*, 1841]. В *ИЛ* опубликованы фрагменты из его книги *Современные художники* [2009, № 1].

Данте Габриэль Россетти
Dante Gabriel Rossetti
[1828–1882]. Поэт, художник и переводчик, основатель Братства прерафаэлитов.

Автор таких произведений, как *Дом жизни* [*House of Life*, 1881], *Воды Стратгона* [*Stratton Waters*, 1854], *Трагедия короля* [*The King's Tragedy*, 1881], *Сестра Елена* [*Sister Helen*, 1870], *Последняя исповедь* [*The Last Confession*, 1848–1869], циклов сонетов, посвященных картинам старых мастеров и современников [*Sonnets for Pictures*, 1850–1870], а также знаменитым английским поэтам [*Five English Poets*, 1880–1881].

Уильям Моррис
William Morris
[1834–1896]. Английский поэт, писатель, художник, издатель; социалист.

Автор сборников стихов и поэм, в том числе *Земной рай* [*The Earthly Paradise*, 1868–1870], *Жизнь и смерть Ясона* [*The Life and Death of Jason*, 1867], *Защита Геневры и другие стихи* [*The Defence of Guenevere and Other Poems*, 1858], романов-фэнтези *Подножия гор* [*The Roots of the Mountains*, 1890], *Лес за пределами мира* [*The Wood Beyond the World*, 1894] и др., романа-утопии *Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия* [*News from Nowhere or an Epoch of Rest*, 1890].

Павел Голобурда
Paweł Gołoburda
[р. 1978]. Польский литературовед, журналист.

В последние годы публиковал в журнале *Лампа* обстоятельные беседы с польскими [К. Конколевский, П. Войцеховский, А. Стасюк, Т. Ружицкий] и украинскими [Ю. Андрухович, Т. Прохасько, Т. Малярчук] писателями и другими деятелями культуры. Переводил рассказы с украинского.

Кшиштоф Конколевский
Krzysztof Kąkolewski
[р. 1930]. Польский прозаик, репортер, публицист.

Автор сборников репортажей *Три злотых за слово* [*Trzy złote za słowo*, 1964], *Как умирают бессмертные* [*Jak umierają nieśmiertelni*, 1972], *Узлы войны* [*Węzły wojny*, 2010] и др., журналистких расследований *Алмаз, найденный в пепле* [*Diament odnaleziony w popiele*, 1995], *Ксендз Ежи в руках палачей* [*Ksiądz Jerzy w rękach oprawców*, 2004], *У них украли четыреста лет* [*Ukradli im czterysta lat*, 2004], *Генералы умирают в мирное время* [*Generałowie giną w czasie pokoju*. Т. I–III, 2004–2006] и др., романов, повестей и рассказов. В *ИЛ* напечатана книга интервью *Как вы теперь поживаете?* [1976, № 8] и подборка рассказов из разных сборников [1993, № 6].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Документальные сказки* [*Baśnie udokumentowane*. Warszawa: Iskry, 1976].

Мо Янь
[р. 1955]. Китайский писатель, почетный доктор филологии Открытого университета Гонконга [2008]. Лауреат Азиатской премии Фукуока по культуре [2006], премии Ньюмана по китайской литературе [2009], премии Мао Дуня [2011], Нобелевской премии [2012] и др.

Автор 11 романов, в том числе *Страна вина* [1992, рус. перев. 2012], *Большая грудь, широкий зад* [1996, рус. перев. 2013], *Сандаловая казнь* [2001], *Жизнь – мучение, смерть – не избавление* [2006], *Лягушки* [2009], *Гаоляново племя* [в том числе новелла *Красный гаолян*, 1987], 20 повестей и более 80 рассказов. Его произведения переведены на многие языки, в том числе английский, французский, итальянский, немецкий, японский, корейский, нидерландский, польский, шведский, норвежский.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Вера Владимировна Калмыкова
Поэт, филолог, кандидат филологических наук. Главный редактор издательства *Русский импульс*. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2011].

Автор поэтической книги *Первый сборник* [2002], книг по истории искусства и истории литературы, в том числе *Венецианская живопись XV–XVI вв.* [Белый город, 2008], *XIX век. Национальные школы* [в соавторстве с В. Темкиным; Белый город, 2008], принимает участие в издании словарей, энциклопедий и других справочных изданий по вопросам теории и истории литературы. Печатается в журналах *Нева*, *Октябрь*, *Юный художник*, в одесском альманахе *Дерибасовская–Ришельевская* и др. Постоянный ведущий рубрики *ИЛ Среди книг с Верой Калмыковой*.

Нина Сергеевна Павлова
Специалист по истории зарубежной литературы, переводчик с немецкого, доктор филологических наук, профессор, член правления международного общества имени Гёте [Веймар, ФРГ], член международного шиллеровского общества [Марбах]. Лауреат премии имени В. Гумбольдта [ФРГ], кавалер Ордена Австрийской республики *Почетный крест 1-й степени за заслуги в области науки и культуры*.

Автор более 200 научных работ, среди них книги *Творчество Эриха Мюзама* [М.: Наука, 1965], *Фридрих Дюрренматт* [М.: Высшая школа, 1967], *Типология немецкого романа, 1900–1945* [М.: Наука, 1982], *Природа реальности в австрийской литературе* [М.: Языки славянской культуры, 2005]. В *ИЛ* публиковались ее статьи и рецензии.

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек*

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

книги [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010].

Переводчики

Оксана Аркадьевна Якименко
Переводчик с венгерского и английского языков, преподаватель СПбГУ

В ее переводе были опубликованы *Малая венгерская порнография* П. Эстерхази, рассказы, эссе и отрывки из романов Л. Дарваши, Л. Парти Надя, Ф. Каринти, М. Месёя, книги *Из истории одного мира* А. Грея, Д. Д. Каваны [псевдоним Дж. Барнса], К. Берч и др. Автор учебных пособий, публикаций о венгерской литературе и кино.
В *ИЛ* публикуется впервые

Марк Абрамович Белорусец
[р. 1943]. Переводчик с немецкого. Лауреат премии Андрея Белого [2008].

В его переводах опубликованы поэтические сборники *Стихотворения* П. Целана [1998], *Попытка чтения* Ю. Шуттинга [2000], воспоминания М. Шпербера *Напрасное предостережение* [2002], а также произведения Г. Айха, Г. Тракля, Р. Музиля, Г. Мюллер, Б. Кольфа, Э. Аксман и др. Составитель [вместе с Т. Баскаковой] и переводчик книги *Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма* [2008]. В *ИЛ* в его переводах напечатаны стихи П. Целана [2005, № 4], эссе *В молчании мы неприятны, а если заговорим — смешны* [2009, № 10] и рассказы из сборника *Низины* [2010, № 1] Г. Мюллер.

Ирина Евгеньевна Адельгейм
Литературовед, доктор филологических наук, переводчик с польского. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2010].

В ее переводе опубликованы произведения Г. Херлинга-Грудзинского, П. Хюлле, М. Тулли, Т. Ружевича, А. Стасюка, О. Токарчук, М. Вилька, Э. Курылюк, М. Лозинского, К. Янды и др.
В *ИЛ* опубликованы в ее переводах автобиографическая повесть К. Кеслёвского *О себе* [1998, № 11—12], стихотворения В. Шимборской *Две обезьяны Брейгеля, Утопия* [2003, № 5], повесть П. Хюлле *Мерседес-бенц. Из писем к Грабалу* [2004, № 1], эссе *Сегодня умирают иначе* [2004, № 9] и фрагменты книги *Дойчланд* А. Стасюка, документальная повесть В. Тохмана *Ты словно камни грызла* [2004, № 10], роман *Последние истории* [2006, №8—10] и фрагмент романа *Бегуны* [2010, № 6] О. Токарчук, фрагмента книги Х. Климко-Добжанецкого *Колыбельная для висельника* [2009, № 7], рассказы К. Орлося [2010, № 5], пьесы Т. Слободзяника *Одноклассники* [2011, № 10], рассказ М. Тулли *Бегство лис* [2013, № 4], а также статьи и рецензии.

Мария Вячеславовна Фаликман
Поэт, переводчик с английского, немецкого и испанского языков, кандидат пси-

В ее переводах выходили книги Г. Претора-Пинни, С. Груэн, Д. Норбу, Б. Нахджавани. Переводы стихов опубликованы в антологиях *В двух измерениях. Современная британская поэзия в русских переводах* [М.: НЛО, 2009] и *Современная американская поэзия* [М.: ОГИ, 2007], в новом

хологических наук, старший научный сотрудник филологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник психологического факультета МГУ. Лауреат конкурсов Британского совета по переводу британской поэзии [2005, 2010].

издании *Песен невинности и песен опыта У. Блейка* [М.: Рудомино, 2011]. В *ИЛ* публиковались ее переводы стихотворения А. Э. Хаусмана [2006, № 6], новеллы Д. Болджера *Улицы Марты* [2007, № 6], рассказа К. Карсон *Выгодная сделка* [2007, № 6], пьес С. Дагдейл *Подобия* [2009, № 1] и *Радость* [2011, № 3], стихотворений У. Блейка [2011, № 3], романа А. Фоулдза *Ускоряющийся лабиринт* [2012, № 2].

Светлана Борисовна Лихачева

Преподаватель, переводчик с английского, французского, испанского языков. Лауреат премии *Зеркало* за лучший перевод фантастики [2003], конкурса Британского Совета по переводу британской поэзии [2005].

В ее переводе изданы письма Дж. Р. Р. Толкина [2004], *Песнь об альбигойском крестовом походе* Г. Тудельского [со старокситанского, 2010], а также произведения Д. Дефо, Дж. Г. Байрона, Т. Гарди, У. Морриса, М. Стюарт и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликовано стихотворение А. Э. Хаусмана [2006, № 6], стихи У. Блейка [2011, № 3].

Алексей Николаевич Круглов

[р. 1959]. Поэт, переводчик с английского и французского языков. Кандидат физико-математических наук. Член Союза писателей России. Лауреат премии *Зеркало* [2007].

В его переводе с английского издавались романы П. Г. Вудхауза, У. Голдинга, Ф. Дика, У. Берроуза, Д. Керуака, П. Ди Филиппо, Х. Кобена, М. Флинна, Ч. Шеффилда, М. Резника и др., стихи У. Блейка, А. Тейта, Ф. Б. Янга, Р. Брука, Р. Грейвза, Д. Герберта, С. В. Бене, У. Торнбери и др. Переводил с французского художественные фильмы для телеканала *Культура*. В *ИЛ* в его переводе опубликованы стихи У. Блейка [2011, № 3].

Валентина Сергеевна Сергеева

Переводчик с английского, французского и польского языков, кандидат филологических наук.

Переводила английские и шотландские народные баллады, произведения А. Теннисона, Р. Л. Стивенсона, В. Скотта и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы стихи У. Блейка [2011, № 3].

Елена Александровна Третьякова

Переводчик с английского.

В ее переводе опубликованы стихи У. Блейка, Э. По, У. Х. Одена, Т. Хьюза, Д. Константайна и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Екатерина Александровна Савельева

Филолог-германист [2005] и филолог-славист [1990], работала преподавателем кафедры немецкого языка СПбГУ. Переводчик с немецкого, английского, сербского и хорватского языков. Лауреат конкурса переводчиков в Пушкинском

Переводила стихи А. Теннисона, Э. Лангессер, Д. Максимович, прозу М. Павича, М. Капора и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Доме в номинации "Немецкая поэзия" [2011]. Лауреат конкурса Британского совета по переводу британской поэзии [2012].

Михаил Михайлович Липкин
[р. 1966]. Переводчик с английского, французского, итальянского, арабского и иврита, преподаватель. Лауреат нескольких конкурсов поэтического перевода.

Автор ряда статей о средневековой еврейской поэзии. Публиковался в журналах *Новый мир*, *Лехайм* и др. В *ИЛ* в его переводе опубликовано стихотворение А. Йожефа [2004, № 5].

Владимир Борисович Окунь
[р.1955]. Переводчик с английского и польского языков.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Леонард Семенович Бухов
[р. 1925]. Переводчик с польского и немецкого языков.

В его переводе публиковались пьесы и рассказы С. Мрожека, пьесы И. Иредыньского, Г. Мюллера; повесть *My Sweet Raskolnikow* Я. Гловацкого. В *ИЛ* опубликованы переводы романа *Начало, или Прекрасная пани Зайденман* А. Щиперского [1992, № 2], пьес *Любовь в Крыму* [1994, № 10], *Прекрасный вид* [2000, № 1] и книги *Дневник возвращения* [2001, № 7] С. Мрожека, пьесы *Племянник Вольтера. Мистификация в стиле Дидро* Х.М. Энценсбергера [1998, № 7], рассказов Д. Дёрри [1997, № 11], *Из книги М. Вальзера "Мысли Месмера"* [2005, № 9] и др.

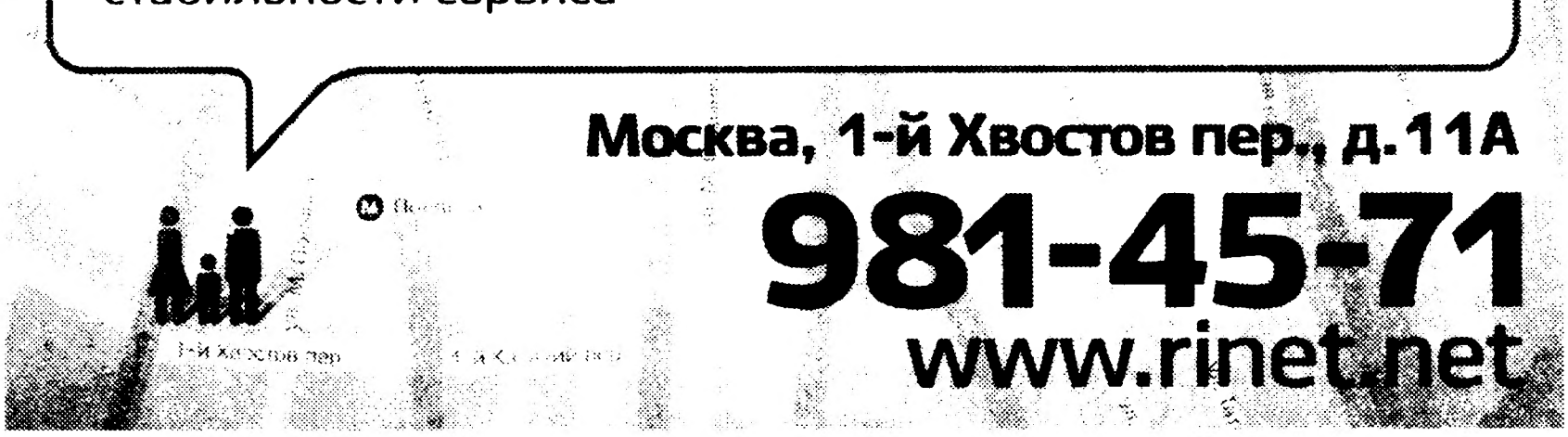
Игорь Александрович Егоров
[р. 1953]. Переводчик с китайского и английского языков.

В его переводе с китайского опубликованы романы Мо Яня *Страна вина* и *Большая грудь, широкий зад*, роман *Последний император* и повесть *Луна на дне колодца* Су Туна, рассказы Су Туна, Юй Хуа, Мао Дуня. В переводе с английского вышли *Кровавый меридиан* К. Маккарти, *Белая богиня* Р. Грейвза, *Благородный дом* Д. Клавелла. В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

Интернет в квартиры и офисы

- Надежная связь и высокая скорость доступа — волоконно-оптический канал 1 Гбит/с в каждый дом
- Квалифицированное и оперативное обслуживание
- 15-летний опыт работы RiNet — гарантия качества и стабильности сервиса



Москва, 1-й Хвостов пер., д.11А

981-45-71

www.rinet.net

В оформлении обложки использован фрагмент английского живописца и иллюстратора Эдварда Коли Бёрн-Джонса [1833–1898] *Сидония фон Борк* [1860].

Иллюстрация для обложки номера любезно предоставлена Галереей Тейт (Лондон).

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Экспресс-хроника" (Страстной бульвар, д. 4);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 18.04.2013
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 2495.
Тираж 5000 экз.

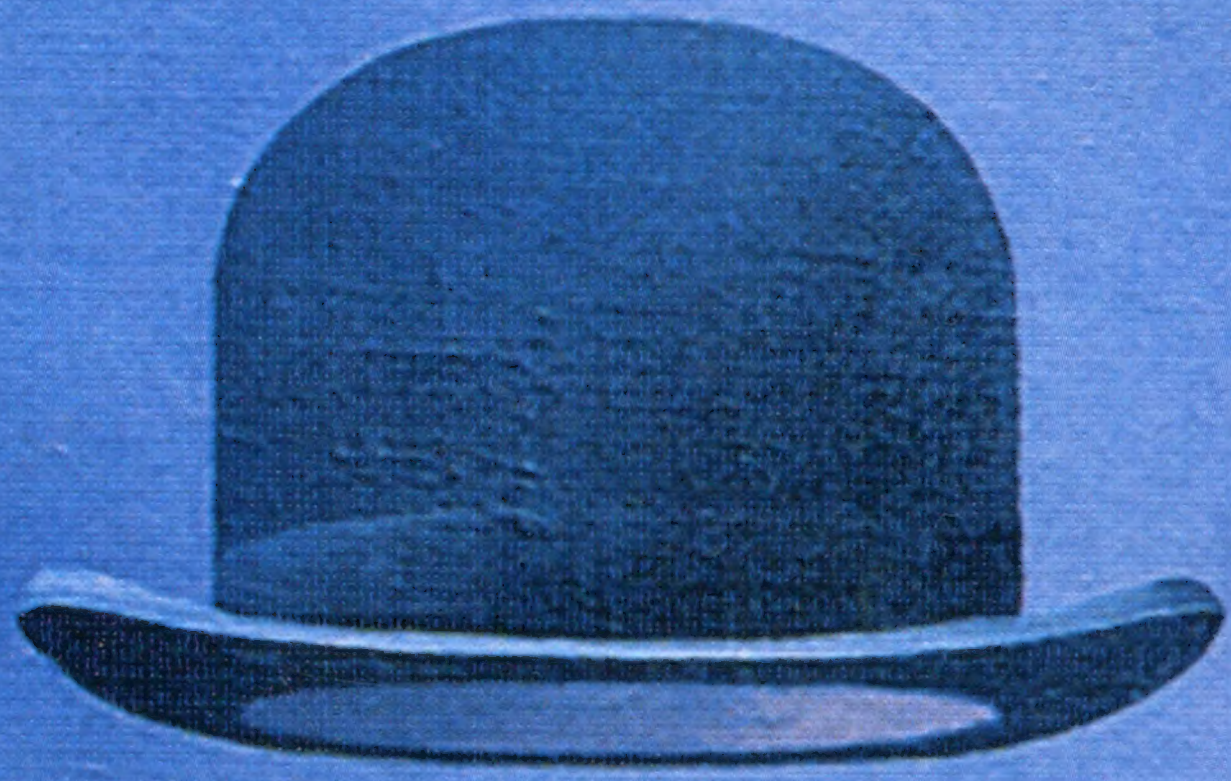
Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
Сайт: www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

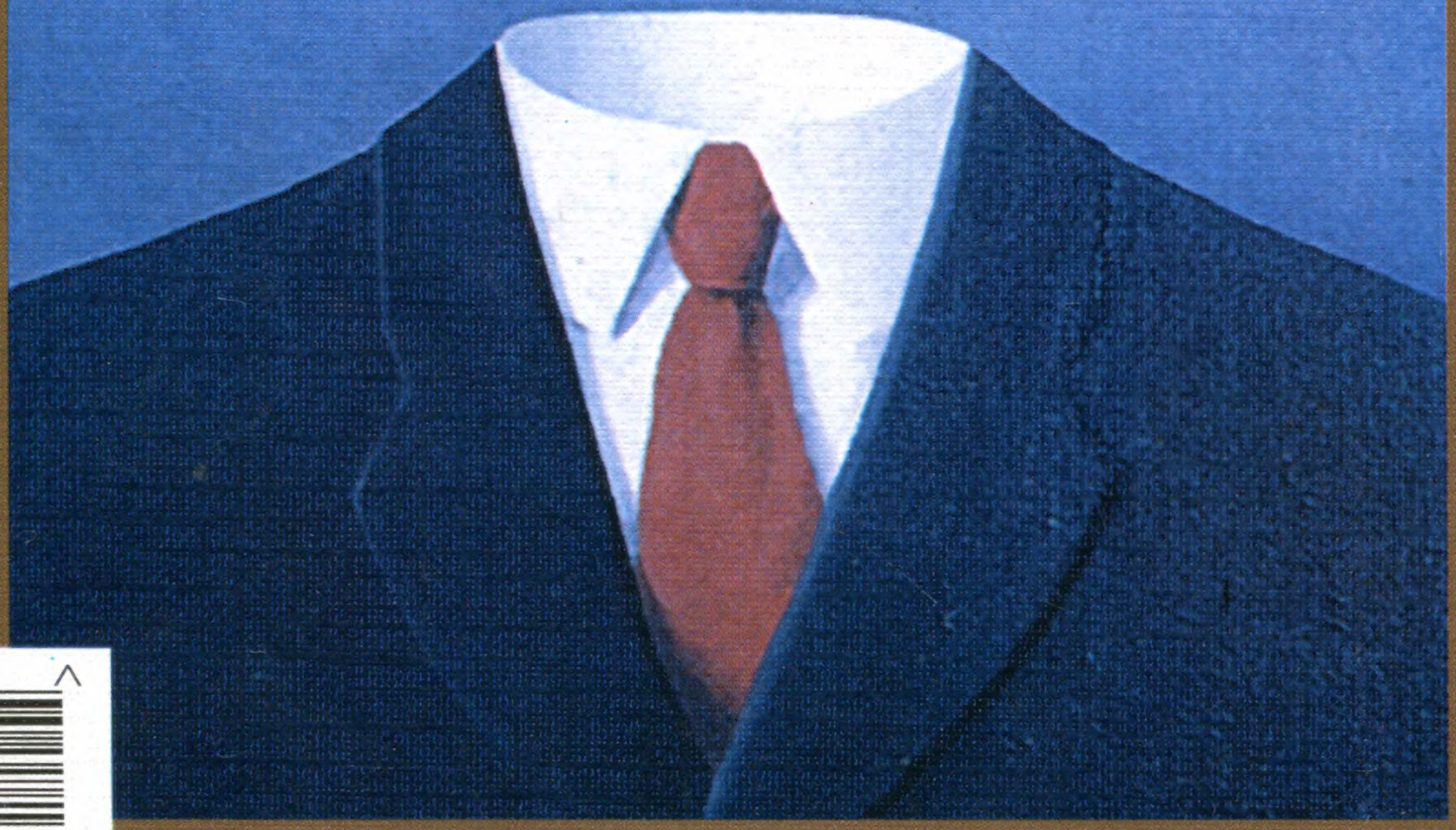
[6] 2013

ПЬЕСА АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЧА “ЧУЛОК В СТО ПЕТЕЛЬ” / СТИХИ АНТОНИИ ПОЦЦИ / КАРЛО ЭМИЛИО ГАДДА В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / СТАТЬИ ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ И ИГОРЯ КЛЕХА / ПЯТЬ ЭССЕ В РУБРИКЕ “В УСТЬЕ ГУДЗОНА С АЛЕКСЕЕМ ЦВЕТКОВЫМ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!



Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2013, №5, 1-288

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 12005

9 770130 654770